

ЖИЗНЬ — ЭТО ДОЛГ, ХОТЯ Б ОНА БЫЛА МГНОВЕНИЕМ



НАТАЛЬЯ
НЕСТЕРОВА

Жребий праведных грешниц
Наследники

Annotation

«Жребий праведных грешниц. Наследники» – масштабное историческое повествование, но в то же время очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждающий рассказ о людях, которые родились в чрезвычайно трудное время в нашей великой стране. Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвутся, но в конечном итоге приобретают такую прочность, которую не смогло разорвать даже время.

- [Наталья Нестерова](#)
 -
 - [От автора](#)
 -
 - [Клара и Нюраня](#)
 - [Василий и Егор](#)
 - [Митяй и Настя](#)
 - [Аннушка](#)
 - [Степан](#)
 - [Клад](#)
 - [Иван Майданцев](#)
 - [Клад \(Продолжение\)](#)
-

Наталья Нестерова

Жребий праведных грешниц. Наследники

© Н. Нестерова, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

От автора

После завершения трилогии «Жребий праведных грешниц» у меня осталось чувство недосказанности. А у читателей, как показали отзывы, – недочитанности. Эпилоги в конце романов возникли не случайно: писатель в них завязывает узлы сюжетных линий, ставит точку в судьбе героев или внятное многоточие. Попытка написать эпилог к последней книге – «Возвращение» – оказалась неудачной. Это было нечто похожее на телеграмму в сорок страниц. «Возвращение» так и вышло – оборванное на полуслове, на вздохе без выдоха.

Обычно, когда заканчиваешь книгу, есть ощущение, будто стоишь на берегу и машешь отплывающему кораблю, прощаешься. Не знаешь, расставаясь, потонет он или будет долго и счастливо плавать. Герои «Жребия» уплывать не хотели, освобождать в моем мозгу место для новых персонажей в новых книгах не желали. И разумные доводы: если о каждом из вас повествовать подробно, ведь вы по ходу дела еще детей нарожаете, то это выльется в десятки романов, мне жизни не хватит их написать, – принимать во внимание не спешили. Мол, в каждой профессии есть свои сложности.

Выход, уж не знаю, насколько удачный, я нашла в написании сборника рассказов. Один герой – один «эпилог». Рассказ – самый требовательный по форме жанр. Он отвергает нестройность фабулы, длинные отступления, растекание мыслей по древу. Рассказы я писать люблю, но в этой книге они, с точки зрения чистоты жанра, неправильные. Как бы продиктованные теми самыми героями, засевшими в моей голове, – потомками и наследниками Анфисы Ивановны и Еремея Николаевича Медведевых. Каждый из героев почему-то хотел, чтобы я рассказала его жизнь в целом, но при этом остановилась на каком-то эпизоде подробно. Эти эпизоды подчас никакой великой роли в их судьбе не сыграли. Но ведь и нам из пережитого западают в память сущие безделицы. А наши воспоминания о людях – своего рода «сборник эпилогов».

В последовательности рассказов отсутствует хронологическая четкость. Тому или иному персонажу в одном рассказе, например, десять лет, в следующем двадцать, а затем три годика. И на вопрос: «Сколько же ему (ей) тогда было?» – есть только один ответ: «Сколько на момент, о котором идет речь».

Я прощаюсь со своими героями. Теперь они – ваши.

*Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!*

А. С. Пушкин

Клара и Нюрания

Список Клариных претензий к матери был бесконечным. Как гудящие электрические провода – высоко на столбах, не оборвать, от одной опоры до другой, без начала, без конца – бесконечно. Но заявление матери на суде: «Да, мой муж Емельян Афанасьевич Пирогов был предателем и пособником фашистов» – не могло сравниться со старыми мелкими обидами. Можно иметь сотню несимпатичных родинок на теле или одно лиловое родимое пятно на все лицо. Родинок не видно под одеждой, а пятно не спрячешь. И все на него пялятся, тыкают пальцем, брезгливо кривятся, отводят глаза, шепчутся за спиной.

Для тринадцатилетней Клары в 1949 году страшней всего было прослыть дочерью предателя, стать изгоем в кругу приятелей и одноклассников. Клара привычно, без тени стыда взвалила вину на мать. Это все она! Сама выкрутилась, а мужа подставила. Она в подполье была? Как же! Видела я то подполье! Люди при немцах с голоду пухли, а мать мешками продукты сбывала. Кларе было прекрасно известно, что продукты уходили голодающим, но Клара рано научилась называть вещи теми именами, которые ей требовались.

Емельян Пирогов, отец Клары, удрал с отступающими немцами в начале февраля 1943 года, где-то от них отбился, раздобыл чужие документы на имя комиссованного по ранению сержанта и уехал на край земли – во Владивосток. Емельян, страшно боявшийся боли, пошел даже на то, что подкупил пьяницу-фельдшера, и тот слегка порезал и зашил ему живот – якобы шрамы после ранения. Профессиональный взгляд, конечно, легко разоблачил бы эту маскировку, но Емельян по врачам ходить не собирался. Он устроился завхозом на рыболовецкое предприятие, женился. Через четыре года после Войны его случайно опознал курянин, приехавший на Дальний Восток на заработки. Емельяна арестовали и этапировали в Курск, где состоялся суд.

Память об оккупации была свежа, боль не утихла, жажда отмщения не угасла. Когда нельзя простить, можно только ненавидеть, с ненавистью невозможно расстаться, даже если мстить уже некому. Повешенные и расстрелянные пособники фашистов заслуживали только одной памяти: собаке собачья смерть.

Понадобились десятки лет, смены поколений и государственного

режима, чтобы в литературе, кинематографе возникла тема психологии предательства. Коллаборационисты поневоле, женщины, жившие с оккупантами, солдаты и офицеры, побывавшие в плену, воевавшие в штрафбатах бойцы превратились в объекты художественного осмысления. После войны ничего подобного не было ни в умах людей, ни в искусстве. Героев настоящих не чествовали и не возвеличивали. Героям предстояло страну поднимать из руин. Что уж говорить о предателях – о холоуях, которые жировали на обедах с барского вражеского стола.

Психология Емельяна Пирогова не заинтересовала бы писателей: она была проста и примитивна как чих. У сложных рефлексирующих натур – вздох, долгий, тяжелый, мучительный. У плебеев – чих. Главной жизненной установкой Емельяна было прибиться к власти, к любой власти. Белогвардейцы, большевики, фашисты – ему нет разницы. Прибившись к власть имущим – стяжать, подворовывать, тащить в дом нужное и ненужное, продукты и барахло – все, что можно захватить. Он пьянел без вина, оглядывая свое богатство: буфеты, забитые посудой, шкафы с хорошей одеждой, полки в кладовке и в погребе, прогнувшиеся от тяжести потящегося съестного.

Его жена Анна, Нюраня, была пренебрежительно равнодушна к семейному достатку. Она не останавливала Емельяна в его крысином накопительстве, как не бьют по рукам ребенка, который тащит в дом всякую ерунду для своей заветной детской коллекции. Емельяна обижало отсутствие у жены восхищения коврами, бархатными шторами с бубенчиками, патефонами, швейными машинками и кузнецовским фарфором. Но Емельян обиду проглатывал, потому что жена тоже была ценным приобретением. Красавица, врач акушер-гинеколог – это вам не простая деревенская баба, выбившаяся в люди, но так и оставшаяся тупоголовой.

В немецкую оккупацию Емельян, прибившийся к немцам, занимавший какой-то пост в комендатуре, а по сути рыскавший в поисках ценностей (большая часть – новым хозяевам, немного – себе), держал Нюраню на коротком поводке. Потому что она притащила жидовку с ребенком. На улице нашла рожавшую, приняла младенца и приволокла их в дом. Емельян, конечно же, избавился бы от опасных квартирантов, но ненаглядная доченька Кларочка прикипела к Ревеке, спешно переименованной в Раю. Жидовка учила Кларочку игре на фортепиано, прежде используемом как подставка для горшков с цветами, азбуке, рисованию – словом, такую гувернантку еще поищи. А главное, с уст обожаемой дочери не сходило: Рая то, Рая се, мы с Раей... Дочь была для

Емельяна маленьким божеством. Ее веление – законом. Этот закон позволял еще и своенравной гордячке Нюране показывать, кто в доме хозяин. Но Емельян не простофиля! Он себя обезопасил: написал заявление немецкому оккупационному командованию. Мол, придя домой, обнаружил, что его жена укрывает незарегистрированную еврейку с ребенком. Вдруг внезапная облава: вот вам заявление! Собирался завтра отдать.

Когда пришли наши, Емельян сгинул, не попрощавшись даже с любимой доченькой. Нюраня раздавала вещи и обнаружила заявление-донос, спрятанное в голенище хромового сапога. Почему-то не порвала, не выбросила. В отличие от дочери, которая постоянно ныла: «где мой папочка, когда придет папочка», Нюраня испытывала громадное облегчение. Точно у нее вырвали из горла кость, которая много времени не давала ни дышать, ни глотать свободно.

Во время суда, пока ее не вызвали, Нюраня то и дело поворачивала голову, смотрела на мужа. Жалкий, несчастный, с бритой головой и со щетиной на дряблых щеках. Трясущийся, похожий на перенесшего тиф или хронически больного злостной малярией. Это ее муж и отец единственного ребенка.

В который раз Нюраня спросила себя: «Стоило?»

Стоило выходить замуж за Емельяна? Вырваться из глуши, из провинциальной больнички в Курской области, где по сорок больных в день, и она, деревенская девушка, без документов, дочь раскулаченных в далекой Сибири, нахватавшаяся отрывочных знаний, ведет прием, потому что фельдшер-акушер Ольга Ивановна рухнула в полном изнеможении. Не столько понимая диагноз, сколько прислушиваясь к интуиции и поддерживая значимость лица, Нюраня со строгим видом вручала порошки (подкрашенный мел, вчера толкла, других лекарств нет) и велела принимать утром, в обед и вечером. А не так, как делают курские дураки! Взял и заглотал разом – чтоб скорей помогло. Важен процесс! Процесс лечения. И ведь помогало! У нее было прозвище Сибирячка, и шла молва: если Сибирячка «даст процесс», то точно поможет. А если про «процесс» не заикнется, то пиши пропало.

Бесконечной веренице больных было невдомек, как ей противно обманывать невежественных людей, как ей хочется учиться и стать настоящим врачом.

Она стала врачом благодаря Емельяну. Он согласился на сделку: она выходит за него замуж, он помогает ей документы выправить и поступить в медицинский институт.

И ведь был их радостный и счастливый полет-бег на тройке по сельским дорогам меж полей, вспухших зелеными, когда Емельян увозил ее из больницы. И Нюране казалось, что она любит Емельяна или обязательно полюбит, постарается.

Выйти замуж за нелюбимого, незнакомого, сосватанного – обычно в крестьянской среде. На то и семейная жизнь, чтобы притереться. За любимого выйти – редкая удача. Родителям надо девушку с выгодой пристроить, или сиротке самой за кого попало выйти. Потому что одинокая девушка хозяйства не осилит, ей только в батрачки наниматься или в приживалки идти.

Нюраня выходила замуж за Емельяна по обычаю, и сделка состоялась. Емельян слово сдержал. Но ведь и она не нарушила: была верной женой. Хоть и не смогла его полюбить, лаской согреть.

У крестьян тяжкий труд от зари до зари, не до сантиментов, хоть бы выпасться. В городе у советской интеллигенции иначе. Тоже труд, но не физический, изматывающий не тело, а сознание – нечто воздушное, от земли оторванное. Там, где хорошо не запахали, лезет сорняк. Там, где нет любви, лезет раздражение и отвращение. В довоенное время Нюраня пряталась за работу. В оккупацию, когда ее сначала не взяли в единственную оставшуюся больницу для местных, потому что муж при гитлеровцах, когда ей каждый день было страшно за Раю и младенца Мишу, – стало невмоготу. Кость в горле – не вздохнуть и не проглотить. Ничего, выдержала, на спицах как сумасшедшая вязала.

И отгоняла от себя вопрос, немыслимый для крестьянской безродной девушки: «Стоило?» Стоило загубить свою женскую судьбу ради профессии? Лечь под это ничтожество?

Нет ответа.

На судебном заседании Нюраню вызвали дважды. Первый раз обвинитель, прокурор. Она рассказала про музейные экспонаты и прочие вещи, которыми Емельян забивал чердак и сарай. Картины она давно вернула в галерею, а вещи раздала нуждающимся.

Второй раз ее вызвал защитник Емельяна. Молоденький адвокат не скрывал, как глубоко противен ему подзащитный. Но формальности должны быть соблюдены – обвиняемому полагается защитник. Адвокат выглядел так, что дай ему волю, своими руками задушил бы Емельяна, фашистского холуя. Профессиональная честь заставила признать наличие смягчающих обстоятельств: во время оккупации в доме Емельяна Пирогова пряталась еврейская женщина с ребенком.

Нюрания кратко подтвердила:

– Это правда.

Что-то в ее лице насторожило прокурора, и он спросил:

– Как вы объясните, что подсудимый, чей гнилой морально-нравственный облик не вызывает сомнений, подвергал себя и свою семью большому риску?

Она повернула голову и посмотрела на мужа. Емельян подался вперед со щенячьим страхом, с последней надеждой, не мог укротить дрожь. В кармане жакета у Нюрании лежал его донос гитлеровцам, найденный в сапоге. Нюрания могла достать бумагу и представить суду. Она собиралась так поступить, а сейчас медлила.

– Затрудняюсь объяснить, – сказала Нюрания после паузы.

Ее ответ прозвучал как «не знаю». Но на самом деле ей вдруг стало противно добивать Емельяна, как топтать полудохлую змею. И еще противнее было раскрывать перед членами суда и присутствующими свои семейные обстоятельства.

Нюрание, как и остальным свидетелям, не были известны факты личного участия Емельяна в карательных операциях и массовых казнях. Но это его, чекиста, перешедшего на сторону врага, мародёра и фашистского лизоблюда, не спасло от расстрела.

– Мне стыдно на улицу выйти! – кричала в лицо матери Клара. – Ты клеймо на меня поставила! Ты меня опозорила!

– Именно я? – спрашивала Нюрания, глядя на дочь с усталой обреченностью. – Не отец, который нарушил присягу, предал Родину, который языком слизывал грязь с сапог фашистов?

– Папа был хороший! – топнула ногой Клара. – Я его обожала! Папа меня любил...

Она не продолжила, но смысл был понятен: папа любил, а мама не любит. Нюранию это невысказанное должно было ранить, обидеть, но вызвало лишь досаду – главное ее чувство по отношению к дочери. Досада меняла градус – больше, меньше – но никогда не исчезала.

– Если он был такой хороший, – усмехнулась Нюрания, – любил тебя, а ты его обожала, что ж не навестила его в тюрьме, не простилась? Стыдно было? Замараться не хотела?

– Я тебя ненавижу! – выкрикнула Клара и выскочила из комнаты.

При разговоре присутствовала Таня Миленская. Она же Ревека-Рая. Стараниями Нюрании во время оккупации Ревека получила новое русское имя, документы и от умершей настоящей Тани Миленской младенца

Иннокентия, которого выкормила своим молоком и не отделяла от родного сына Миши. Таня была готова вмешаться в любой момент: стать на линию огня, призвать мать и дочь успокоиться. Так она часто делала при их ссорах. Сегодня не успела.

– Анна Еремеевна, не расстраивайтесь! У Клары переходный возраст, сложный период.

– Он у нее начался с первого вздоха. Если бы я не знала точно, что сама ее родила, то думала бы, что эту девочку мне подсунули. Когда-нибудь хирурги научатся пересаживать печень, почки, сердце. Если бы они умели делать это сейчас и Кларе понадобилась трансплантация, я бы отдала ей любой орган, всю кровь по капле – жизнь отдала, ни секунды не сожалея. Но...

«Но любить я ее не могу», – мысленно договорила Таня. Ей было непонятно, как можно не любить собственного ребенка. Сестру, брата, свекровь, начальника, даже мужа – бывает, случается. Но материнство – это как дыхание. Мы дышим независимо от нашей воли, мы не замечаем дыхания, а если перестанем дышать – умрем. С другой стороны, заставить любить или не любить невозможно, а терзаться отсутствием любви – очень реально.

Роль матери Клары, а также наперсницы и гувернантки, выполнявшей школьные домашние задания, парламентария-примирителя в ссорах досталась Тане. Она с сыновьями переехала к Пироговым, когда за год до Победы умерла от тяжелой пневмонии мать настоящей Тани Миленькой.

– Анне Еремеевне тоже трудно, – увещевала Таня девочку, – на нее косятся коллеги, которые не знают, что твоя мама во время оккупации была в подполье. А пациентки отказываются подпускать к себе, потому что она жена предателя и, мол, может вредительствовать. Представь, каково врачу переживать подобное!

– Ничего с ней не станется, – отмахивалась Клара, для которой личные обиды сравнения не имели с бедами кого-то другого. – Она же *сибирячка*.

Последнее слово Клара произнесла с таким же презрением, с каким сказала бы: бездушная каменная баба.

– Кларочка удивительно энергична, – говорила Таня Нюране, – ей нужно постоянно находиться в движении. Такое впечатление, что даже во сне она продолжает бег и действие.

– Как акула.

– Что? – не поняла Таня.

– Акула, хищник морской, находится в постоянном движении, с приоткрытым зубастым ртом, который и во время сна захватывает добычу.

– Согласитесь, что в Кларе живет смелый дух авантюризма...

– Таких авантюристов полные тюрьмы, – снова перебила Нюраня. – У этих отбросов общества страсть к приключениям вытеснила элементарную мораль: нельзя причинять людям боль, грабить, отбирать честно нажитое. По сути, это дикие нецивилизованные люди. Потому что культура и цивилизация – это не когда многое позволено, а когда многое недопустимо.

То, что Клара ворует, обнаружилось случайно. Она тырила мелочь из карманов в школьном гардеробе, могла стащить у одноклассников ластик, линейку, открытку и прочие приглянувшиеся ей мелочи. Таня проводила с ней нравоучительные беседы: брать чужое нехорошо, стыдно и отвратительно. Клара делала вид, что внимлет, но в паузе спросила: «Дашь мне поносить свою гипюровую блузку? Только укоротить ее надо».

Нюраня, узнав о кражах, рассвирепела, схватилась за ремень.

– Не ударишь! – смело выступила Клара. – Права не имеешь.

Клара плохо училась, книг читать не любила, но обладала звериным чутьем на тайные боли-недостатки людей. Поэтому верховодила в любой компании. Мать – каменная баба, сибирячка – терзается, что ей, дочери, чего-то недодала, недовоспитывала, недолюбливает. Когда знаешь чужое «недо...», твое право главней.

У Нюрани опустились руки. Хотя она понимала: эта девочка боится только боли и остановить ее может только страх. Доставить дочери боль Нюраня действительно не имела права, оставался страх.

– Не стану тебя бить, – сказала мать, – но еще раз своруешь, я тебя убью. Говорю серьезно, ты меня знаешь. Убью и сяду в тюрьму. Это будет мой материнский подвиг – не ты за решеткой, а я. Все поняла?

Другую девочку, пойманную на воровстве, одноклассники подвергли бы бойкоту, устроили темную и навечно записали бы в изгои. Но проныра Клара обернула ситуацию в свою пользу. У нее было несколько золотых украшений, подаренных еще отцом. Клара продала цепочку с кулончиком и сережки с рубинами. Накупила конфет, шоколада, ручек, карандашей, атласных лент и губной помады для девчонок, значков, складных ножичков – для мальчишек. Пришла в класс и щедро одарила всех, у кого стащила вещи гораздо менее ценные. Мол, это была такая смешная игра, получите приз, распишитесь. Те, кого в свое время обошла ее грабительская рука, остались разочарованы, не «поиграв», не получив призов. Авторитет Клары был восстановлен и даже упрочился.

Она не была красива, и назвать ее симпатичной можно было с

большим преувеличением. В отца пошла: блиноподобное лицо, маленькие, широко расставленные глазки, короткие реснички, едва заметные брови Клара подводила с пятого класса, нос утонул в щеках, под ним губы куриной гузкой. Фигурой она тоже не в статную мать, а в шкафообразного Емельяна. Плечи такой же ширины, что и бедра, между ними отсутствует намек на талию, ноги короткие и с заметной кривизной от колен. Но Клара легко оттирала первых школьных красавиц и пользовалась популярностью, которая тем и не снилась. Клара была щедрая, веселая, активная, заводная, с ней было не скучно, с ней всегда праздник – смех, музыка, танцы, проделки, авантюры и приключения. Недостатки внешности отходили на задний план, не замечались. А вот придумать некую проказу, которая восхитит Клару, или рассмешить ее до икоты – это мощно! Друзья тянулись к Кларе, попасть в ее компанию – как выиграть в соревнованиях на «своего парня» или «классную девчонку».

Кларе было все нипочем, для нее не существовало преград, сомнений или запретов. Девчонки шушукуются про «то отвратительно ужасное, что у мальчиков между ног». Элементарно, никаких проблем.

Таня пришла домой и обнаружила сцену: ее пятилетние сыновья Мишенька и Кешенька стоят на столе со спущенными штанишками, перед ними несколько девочек, Клара дает пояснение: «Под писюном яйца. Мишка, подними писюн...»

– Что здесь происходит? – ахнула Таня.

Подружки Клары от страха присели и были готовы юркнуть под стол. Сама Клара нисколько не смутилась:

– Мы изучаем анатомию.

– Я замерз от атомии, – пожаловался Кеша.

– Ты обещала кафетки, – потребовал от Клары Миша. – Давай!

Учебу Клара ненавидела. Единственное место, где она чувствовала себя неудобно, где теряла свой лидерский задор и выглядела дура дурой, была школьная доска, отвечая у которой приходилось экать, мекать, ловить подсказки или писать мелом на доске примеры, решить которые она не смогла бы и под угрозой расстрела. Но к седьмому классу Клара освоила иезуитские приемчики издевательства над учителями.

Например, она переспрашивала:

– Страны Африки?

– Да.

– Мария Сергеевна, вы нам точно Африку, а не Азию задавали?

– Точно. Но если ты готова перечислить азиатские страны,

пожалуйста!

– Нет, Африка так Африка. Черный континент. Мария Сергеевна, а ведь это как-то нехорошо по цвету кожи людей называть континент черным? Прямо-таки расизм.

Класс наслаждался представлением, веселился, гудел как улей от сдерживаемого смеха.

– Пирогова! Или ты отвечаешь урок, или садись – два!

– Почему сразу «два»? Я и слова сказать не успела! Вы меня запутали! Мне про Африку или про Азию?

Класс уже хохотал в голос.

На уроках математики у Клары мел не писал, а только царапал по доске, она не виновата, что брак в школу привозят. В примерах она специально делала ошибки.

– Пирогова! Я сказала: «два икс»!

– А я что?

– А ты написала «три икс», исправь.

– Где?

Представление начиналось...

Кларе стали подражать другие двоечники и троечники, уроки превращались в веселый цирк. Учителя сочли за благо не вызывать Пирогову к доске вообще. Не потому, что не могли справиться с этой своенравной девочкой, а потому, что время, потраченное на укрощение строптивой, воровалось у тех, кого можно и нужно было научить по программе. Клара добила того, чего хотела – к доске ее не вызывали, домашние задания за нее делала Таня, или Клара на перемене списывала у подружек, они в очередь выстраивались, как и мальчишки, которые на контрольных и самостоятельных работах строчили ей шпаргалки. Учителя закрывали на это глаза, но за диктанты по русскому языку (подружек не привлечешь) Клара получала исключительно колы и двойки.

Она хотела бросить школу после восьмого класса, но мать сказала:

– Через мой труп! Среднее образование ты получишь, даже если придется заковать тебя в цепи!

Тогда Клара решила бежать из дома.

Таня обнаружила тайник, в который Клара прятала вещи и продукты, по обрывкам разговоров поняла, что Клара сколачивает команду. Таня поделилась своими подозрениями с Нюраней.

Мать за руку привела Клару к себе в больницу, показала пятнадцатилетнюю девочку, беглянку. Лицо девочки было покрыто вздувшимися фиолетовыми синяками, порванные и зашитые губы заклеены

пластырем.

– Могу отвести ее в смотровую и продемонстрировать тебе, как выглядят наружные половые органы после коллективного изнасилования, – сказала мать.

Клара в испуге помотала головой и попятилась из палаты.

После окончания школы Клара уехала к тете Марфе в Ленинград. Она там была один раз на каникулах, с матерью, которая за много лет впервые взяла отпуск. Ленинград произвел огромное впечатление. Жить в занюханном Курске, когда есть Невский проспект? Тетя Марфа – прелесть. Такая же великанша, как мать, но такая же добрая, как Таня. А квартира у них! А дача! Надо идиоткой быть, чтобы не воспользоваться.

Марфа приняла Клару на жительство с сердечной готовностью. Впрочем, Марфа ко всем потомкам Турок-Медведевых относилась ласково, точно в благодарность за сам факт их существования.

Камышин, муж Марфы, говорил:

– Эта похожая на спичечный коробок девица нам еще наискрит.

Но говорил он без хмурой раздражительности, а с интересом, который вызывает забавный персонаж. Цитировал писателя Платонова, сказавшего, что в каждом поколении есть семь процентов людей, которым что в скит, что в революцию. Применительно к Кларе – ей в коммерцию. Родилась бы до революции, сколотила бы состояние благодаря умению пускать пыль в глаза и врать на чистом глазу.

Этот вывод он сделал, однажды похвалив девушку:

– У тебя шов на чулках никогда не перекручен, всегда идеально ровный.

– Потому что нарисованный.

– То есть?

Капроновые чулки со швом были страшным дефицитом: чтобы их имитировать, Клара черным карандашом рисовала на коже длинную черную стрелку. Что и продемонстрировала Александру Павловичу, задрав юбку.

В квартире Камышиных постоянно кто-то гостил, не успели уехать одни, наслоились другие. Однако Александр Павлович имел отдельную комнату, называемую кабинетом и служившую им с женой спальней. Когда Александр Павлович, уставший после работы, отужинавший или в выходной день утомившийся от гомона, уходил в кабинет, тетя Марфа объявляла режим «возможной тишины». Муж был для нее абсолютным

кумиром, каждое веление которого было законом, каждое желание, даже не высказанное, исполнялось со счастливой готовностью.

И при этом тетя Марфа не лебезила перед мужем, не заискивала, могла покритиковать, настоять на своем. Но то, что касалось быта Александра Павловича, было свято. Клара никогда не жила в нормальной семье, не видела отношений супругов, в которых роли расписаны и исполняются с видимым удовольствием и удовлетворением.

Клара мотала на ус, откладывая в память то, что казалось ей полезным, отмечая то, что представлялось глупостью, баловством мужика. Клара приехала в город на Неве за женихом. Не в институт же ей поступать! Школы хватило.

Клара устроилась продавщицей в гастроном, после первой зарплаты пришла домой, обвешанная кулками – с гостинцами. В Кларе напрочь отсутствовала жадность и, увы, никуда не делась вороватость: она приносила с работы в кармане или за пазухой то кусок колбасы, то сыра, то халвы.

– Тебя поймают и посадят! – пугалась Марфа.

– Не посадят, – отмахивалась Клара, – все так делают, а заведующая ящиками сливочное масло домой увозит.

– Ведь нам не нужно, – продолжала уговаривать Марфа, – у нас всего хватает.

– Не могу удержаться, – честно отвечала Клара.

Марфа сомневалась в словах мужа, сказавшего, что из племянницы в иных условиях получилась бы успешная коммерсантка. Клара не умела копить деньги, в кармане у нее всегда было пусто, она постоянно стреляла «до зарплаты» у сослуживиц и подруг. Для Марфы денежный долг был равносителен камню на шее, а Клара легко забывала о долгах. Когда о них настойчиво напоминали и когда их накапливалось столько, что зарплатой не покрыть, шла на поклон к тете Марфе.

– Сколько-сколько ты должна? – таращила глаза Марфа. – Триста рублей? Это же большие деньги! У тебя аванс двести, получка двести пятьдесят. На что потратила? Как ты умудрилась?

– Как-то незаметно.

Марфа давала деньги племяннице на покрытие долгов и уговаривала больше не занимать. Клара легко соглашалась.

– Хотите, я вам из магазина ящик кильки в томатном соусе притащу? – предлагала Клара. – Или печени трески? Я с грузчиками вась-вась.

– Упаси Господи! – пугалась Марфа. – Клара, деточка, надо жить честно!

– Ага, я знаю.

Достойного жениха Клара искала по военным училищам, благо их в Ленинграде было предостаточно и там устраивали танцы. Претендентов имелось хоть отбавляй, Клара перебирала их, пока не познакомилась с Виталиком – курсантом артиллерийско-технического училища зенитной артиллерии. Сокращенно название училища звучало как заграничный экзотический курорт – ЛАТУЗА. Выбору Клары Камышины подивились, но Виталик им понравился с первой встречи. Длинный худой парень, деликатный, застенчивый, воспитанный – настоящий петербуржец. Мать Виталика умерла в Блокаду, отец погиб на фронте. Друзья родителей устроили мальчика в Суворовское училище, после которого путь лежал только в военное училище. Хотя более штатского человека нельзя было представить. Как этот парень с тихим голосом, с добрыми глазами и смущенной улыбкой станет отдавать приказы, распекать солдат, покомандирски метать громы и молнии? Виталик часто улыбался, и самой заметной деталью его лица были крупные длинные зубы. Про такие в Сибири говорили: щуку съели, а зубы остались. Но хищного впечатления они не производили, скорее, наводили на мысль о милом хрупком бельчонке.

Марфа и Александр Павлович удивились выбору Клары, потому что им представлялось, что она ухватится за какого-нибудь ушлого богатыря, видного рубаху-парня – чтобы можно было им хвастаться, под узду водить, как коня-чемпиона, и ловить восхищенные, завистливые взгляды. Но Клара влюбилась в Виталика, причем влюбилась по-настоящему, как заболела. Она жила от свидания до свидания, говорила только про Виталика, прожужжала всем уши. За завтраком пересказывала сны – снился ей якобы исключительно Виталик. Скорее всего, эти сны она придумывала, чтобы иметь повод еще и еще раз повести речь о своем избраннике.

– Он-то тебя любит? – спрашивала Марфа.

– Естественно! – удивлялась вопросу Клара.

Марфе так не казалось. Виталик смотрел на Клару не с обожанием, а с деликатным смущением, он явно не устоял, не выдержал напора Клары, которая и в обычном состоянии была таран, а влюбленная – просто смерч.

Но меркантильные планы Клары никуда не делись. Она собиралась в будущем стать ни много ни мало – генеральшей.

Загибала пальцы:

– После училища лейтенант – два года, старший лейтенант – три года, военная академия, капитан – четыре года, майор – четыре года,

подполковник, полковник – всего пять лет, далее – генерал... Мне сейчас восемнадцать, в сорок один я стану генеральшей. Как долго еще ждать!

Нетерпение Клары поскорее заключить брак с Виталиком даже смело ее мечту о пышной свадьбе, расписались они тихо и буднично. На летние каникулы Клара повезла мужа в Курск.

– Понравился тебе Виталик? – спрашивала Марфа по телефону Нюраню.

– Да, милый парень. Признаться, я удивлена, но и рада тому, что дочь отхватила интеллигентного мальчика. Если бы она вышла за такого же прощелыгу, как она сама, то от этой семейки пришлось бы держаться подальше. А сейчас есть вероятность, что Виталик, имея отвращение ко всякого рода прохиндейству, сумеет удержать будущую генеральшу в рамках приличия.

«Удержать ее не сумеет и черт», – подумала Марфа, но вслух сказала:

– Дай-то Господи!

В 1955 году Клара родила дочь Татьяну. Роды были очень тяжелыми, и виновата в этом была, конечно, мать Клары. Она десять раз предлагала дочери: приезжай рожать в Курск, я не могу вырваться в Ленинград, очень много работы, но даже если приеду, никто меня не допустит командовать в чужом роддоме. Для кого-то и нет разницы, что записано в свидетельстве о рождении ребенка, Курск или Ленинград. Для Клары – очень большая разница.

Во время схваток она орала: «Мама! Мамочка!» Через день после родов соседкам по палате рассказывала, что мать могла бы сделать так, чтобы без всяких болей, и ребенок выскочил бы как намащенный. Но мать не захотела приехать.

Три месяца Клара кормила ребенка грудью и страшно тосковала без мужа. Виталик окончил училище, получил назначение в Карелию и уехал.

Терпение Клары лопнуло. Она перевязала грудь, оформила получение питания ребенку на детской молочной кухне и огорошила Марфу:

– Тетечка Марфочка, любименькая! Я сметаюсь быстренько к Виталику? Туда и обратно, ладно?

– Почему с ребенком-то не хочешь ехать?

– Там нет условий. Общежитие, со всех щелей дует, туалет на улице. Пожалуйста!

– Поезжай, конечно.

Так Танюшка и осталась у Марфы. У Клары вечно были

«обстоятельства»: нехватка в магазине и угроза тюрьмы, переезд на новую квартиру или перевод в другую воинскую часть. Наступало лето, и девочке лучше было провести его на даче. Как и все дети, Татьяна болела, и не срывая же ее с места после ветрянки или во время простуды! Она пошла в школу, и в середине учебного года переводить в другую школу неразумно, да и образование в Ленинграде значительно лучше, чем в провинции.

Кларины «обстоятельства» прекрасно совпадали с желаниями Марфы, которая всегда мечтала о дочери и в пятьдесят восемь лет была крепка здоровьем. С Камышинными почти одиннадцать лет жила младшая дочь Параси и Степана Медведевых Аннушка, которую Марфа привезла из эвакуации шестилетней. На момент рождения Татьянки Аннушка уже полгода отсутствовала. Аннушка была сложным ребенком, горячо любимым и очень закрытым.

Татьянка – совсем иная статья. В Сибири бабушки, которым приходилось «водиться», то есть растить внуков с пеленок, говорили: «Сама только шож не родила». Татьяна была подарком судьбы Марфе. Что судьба расщедрится еще на два подобных подарка, Марфа, конечно, не подозревала.

Виталий, в отличие от жены, стыдился, что дочь воспитывается на стороне, и несколько раз требовал от Клары, чтобы дочь жила с ними. Татьянку увозили, но через несколько месяцев возвращали. Клара повторила свою мать в неумении и нежелании воспитывать ребенка. Но если Нюраня была никудашной молчаливой матерью, то Клара – говорливой и крикливой. Она шпыняла дочь на каждом шагу, Татьяна раздражалась фактом своего присутствия. Видя все это, Виталий сдавался: Татьяна возвращалась в Ленинград.

Нюраня, плохая мать, неожиданно стала прекрасной бабушкой. Она теперь не отказывалась от отпусков и на курсы повышения квалификации стремилась попасть в Ленинград. Писала письма внучке крупными печатными буквами, присылала посылки, часто звонила по телефону. Нюраня говорила, что пять минут детского щебета внучки дает ей заряд хорошего настроения на неделю. Нюраня пылко полюбила внучку, когда Татьяна была еще совсем крохотной, и предположить было нельзя, что девочка, перемахнув через материнскую кровь, внешне окажется очень похожей на бабушку.

Марфа, которая нежданно и практически насильно обрела женское счастье: заботу, нежность, трепетное покровительство и пылкую

привязанность Камышина, переживала из-за неустроенной судьбы Нюрани.

– Тебе лет-то! Сорок семь, – убеждала она Нюраню, – как мне было, когда за Александра Павловича вышла. Я уж на себе крест давно поставила, старухой себя считала, а как обернулось-то! Благостью моей большой душевной. Нюраня, замуж тебе надо!

– Нет, спасибо! Замужем я уже была.

– Первый раз не считается! Думаешь, мне за Петром сладко было? Он мне такую... как называется, чтоб болезнь не подхватить?

– Прививка.

– Вот! С головы до ног я была одна сплошная прививка. Нюраня, ты ж видная женщина, красивая, умная, с положением, неужто на тебя не заглядываются?

– Заглядываются. Но мужиков моего поколения в войну сильно выкосило. Оставшиеся порядочные давно пристроены, непорядочные мне даром не нужны. Выполнять сомнительную роль любовницы или разбивать семью – извините, не по мне!

– Но есть же вдовцы, – стояла на своем Марфа. – Давай я поговорю с Александром Павловичем? Вдруг у него на заводе есть подходящий вдовец.

– Давай, – соглашалась Нюраня. – Пусть только Александр Павлович принесет мне Листок по учету кадров.

– Какой-какой листок?

– Такая бумага, которую заполняют при поступлении на работу. Фамилия, имя, отчество, когда, где родился, проживал ли на оккупированных территориях и так далее. К Листку прикладываются фотография и автобиография, написанная в произвольной форме. Завтра я схожу сфотографируюсь и напишу автобиографию. С пакетом документов Александру Павловичу ведь будет проще искать мне жениха?

– Ты шутишь! – доходило до Марфы.

– Конечно, шучу. Марфа, у меня все в порядке! У меня есть семья: Таня, Миша, Кеша, и я замужем за работой.

– Максимку Майданцева забыть не можешь? – предположила Марфа.

– И не стараюсь. Но уже очень давно тоска и печаль меня не гложут. Светлое воспоминание – и только. Недостижимое счастье. Летчиков много, а Юрий Гагарин один.

– Ты в Гагарина влюблена?

– Марфа, издеваешься?

– Шучу, не одной тебе насмехаться. Нюраня, после первого космонавта ведь и другие полетят!

– И на Марсе будут яблони цвести. Хватит меня сватать. Старого пса к

цепи не приучишь. Ты мне про другое скажи. Вот прожили здесь три дня Клара и Виталий. Сколько же от моей дочери шума, гама, бестолковщины! У меня голова болела, пока они не укатили в крымский санаторий. А зятю Кларино мельтешение – хоть бы хны.

– Привык.

– Сомневаюсь, что можно привыкнуть к жизни на пороховой бочке. Тут что-то другое. Я вспомнила своего папу. Как уж его мама клеймила за нелюбовь к крестьянскому труду!

– А с него что с гуся вода, сидит досточки вырезает.

– Верно. Мама очень любила отца, это было заметно, Клара обожает мужа. Почему?

– Разве можно ответить, почему людей друг к дружке тянет?

– Папу не больно-то к маме тянуло, да и у Виталика я что-то не заметила пылкой страсти. Нельзя про любовь ответить «почему?» до свадьбы, в первые годы замужества. Потом наступает отрезвление, и подобные вопросы становятся уместными. Знаешь, что я думаю? Они не могли их съесть!

– Кто кого? – не поняла Марфа.

– Мама – папу, Клара – Виталия. Жуют, жуют, а проглотить не получается, выплюнуть обидно. Папу нельзя было съесть, потому что он был художник, творец, и все его мысли, чаяния были сосредоточены на его произведениях. Согласна? Но у Виталика-то какой секрет? Может, он марки собирает, или бабочек коллекционировать мечтает, или чеканкой увлекается, стихи пишет, рыбачит? Он ведь вполне образованный, нормальный, не тупой.

– Не тупой, – согласилась Марфа и надолго задумалась.

– Слушай, а может, он гуляет, по-тихому с любовницами встречается? – предположила Нюраня.

– Не, Клара бы пронюхала, от такой не погуляешь, да и в военном городке все на виду. Он добрый.

– Ну и что?

– Такой добрый, что позволяет себя жевать, проглотить его не получится, потому что доброта его очень твердая, но не каменная... мячики такие у детей бывают – из тугой-тугой резины, ее даже нож не берет.

– Расфилософствовались мы с тобой.

– Насплетничались, – уточнила Марфа.

– Интеллигентные женщины не повторяют сплетен, – хитро подмигнула Нюраня. – Они их сочиняют.

Татьянке было пять лет, когда родился ее братик Эдик – Эдюлечка, а у Клары вдруг материнские чувства проснулись. «Проснулись» – слабо сказано, точнее – взорвались, вылетели наружу, как струя горячего пара из пробудившегося гейзера. Клара слегка помешалась, отдавшись новому чувству: осыпала младенца поцелуями при каждом пеленании от макушки до пяток. Кормила грудью почти до года, еще и прикармливала с полугода: кашами, супами, мясным фаршем. У Эдюлечки, на радость маме, был прекрасный аппетит, а когда он все-таки отказывался от непрерывного приема пищи, Клара давала ему пососать соленый огурец – для возвращения аппетита.

Нюраня увидела внука, когда ему было около года, и он только пробовал ходить самостоятельно. Нюраня пришла в ужас: патологически толстый ребенок. Щеки лежат на плечах, живот огромный, выкатившийся, пухлые ручки к туловищу не прижимаются, ножки в перетяжках, на них вот-вот кожа лопнет.

– Ты что творишь! – напустилась Нюраня на дочь. – Ты зачем его раскормила?

– Тебя не спрашивали! – огрызнулась Клара. – Эдюлечка, зайчик! – сюсюкала она. – Съешь еще ложечку! Не хочет мой сладкий. А мама ему сейчас огурчика солененького даст... Кто у нас головкой мотает? А кто хочет кусочек колбаски?

– Клара, маленьким детям вредно есть соленое и копченое! Он умял порцию взрослого человека, а ты ему еще толкаешь огурец и колбасу!

– Чтобы пирожков поел.

– Ты ненормальная! Сама превратилась в бочку, легче перепрыгнуть, чем обойти, у Виталика пузо наметилось. Но вы взрослые люди. Преступно уродовать ребенка! Ожирение приведет к серьезным проблемам! Ты вырастишь инвалида!

– Вот всегда так с тобой! – бросила на стол ложку Клара. – Обязательно гадостей наговоришь, настроение испортишь! Как увижусь с тобой, так точно нахлебаюсь отравы. И Татьяна не поедет с тобой в Курск на каникулы! Я не разрешаю! Или у тети Марфы на даче пусть остается, или я с собой ее забираю!

Клара – мать. Ее слово – закон. Стой перед ней и кусай бессильно губы. И так одиннадцать прожитых Эдюлечкой лет, пока, как в поговорке, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Кларе понадобилась срочная операция по удалению желчного пузыря. Нюраня взяла отпуск, приехала к ним в военный городок, помогать по

хозяйству и ухаживать за больной. Операция прошла неудачно, возникли осложнения, Клару не выписывали из больницы.

Несмотря на волнение из-за здоровья Клары, двадцать дней, которые прожила у них Нюраня, были для Виталика и Эдика неожиданно приятными. Отец и сын обнаружили, что теща-бабушка вовсе не чудовище, а веселый и умный человек, требовательная и одновременно добрая, интересная собеседница, смелая в суждениях, гордая и самодостаточная. Она вызывала восхищение, потому что раньше им никогда не приходилось близко общаться с личностью подобной цельности и величины. Они в нее влюбились: Виталик отчасти с неуместным мужским подтекстом, Эдик – с мальчишечьим восхищением «мировой бабушкой».

От Клары они свои восхищение и любовь скрывали.

Слабая, дважды прооперированная, Клара ревниво спрашивала во время посещений в больнице:

– Вы хорошо питаетесь? Мы семья гурманов, – говорила она матери. – Ты их нормально кормишь? Я-то готовлю вкусно, а ты никогда не умела.

Нюраню не трогали ни шпильки дочери, ни ее болезненный вид:

– Вы не гурманы, а обжоры. Как водка, табак могут стать зависимостью, так и чрезмерная еда. Тебе, кстати, пропишут диету при выписке. Не будешь соблюдать – новых операций не избежать. Оставят желудок размером со столовую ложку, и будешь, гурманка, сидеть на манной каше и овсянке всю оставшуюся жизнь.

Клара в семье была царь, бог и воинский начальник, а теща-бабушка чихала на ее власть, играючи доказывала абсурдность тех или иных поступков, суждений своей дочери. Виталик и Эдик никогда не осмеливались перечить «начальству», а бабушка Нюра, Анна Еремеевна, не прогибаясь, насмешничая над дочерью, никогда не упрекнула зятя и внука в холопской покорности.

Нюране было легко с Виталиком и Эдиком, хотя она скучала без работы.

Виталика она так и не разгадала. Он был хороший и... никакой. Точно боженька, создав праведную душу, забыл вложить в нее хоть крупицу какого-нибудь таланта. Но ведь праведная душа – это тоже большой подарок, далеко не каждому отпущена. Взгляды, которые зять на нее бросал, голодно-мужские, восхищенно-мужские, Нюраню не пугали и не коробили. По специальности она имела дело с женщинами, но насмотрелась на мужиков – супругов рожениц, которые, бывало, в тяжелые роды падали перед ней на колени, рыдали, а через два года, встретив на улице, не узнавали и не здоровались. Мужики под Нюраню нередко

подбивали клинья. Но поскольку в гранит забить клин очень сложно, ловеласы довольно скоро собирали инструмент и отправлялись на поиски более податливого материала. Нюраня была убеждена, что приступы мужского восхищения нужно отнести к временному помрачению и во внимание не брать. Она не ставила сознательно крест на своей женской судьбе. Просто ей не встретился человек, который заронил бы в сердце хоть уголек от того пожара, что когда-то запалил Максимка.

Внук Эдик. Не Эдуард и станет ли Эдуардом – неизвестно. «Зови его Эдюлечкой, – требует Клара, – или ты не бабушка!» Пожалуй, она права – Эдюлечка. Очень толстый мальчик. Брюки между жирными, трущимися друг о друга ляжками протираются за неделю. Брюки шьются специального кроя – с треугольными вставками в штанинах, протерлось на внутренней стороне бедер – из припасенной материи новые треугольники втачиваются. От ключиц до локтя – там, где у мальчишек жилистые мышцы, – на пухлой ватной дряблости розовые овражки треснувшей кожи. Такие бывают у беременных на животе при стремительном росте плода. У Эдика – от неукротимого прибавляющегося жирового слоя. Его дразнили, сколько себя помнит, и дразнят сейчас – жиртрест, сало, колбаса, пончик-батончик, толстый-жирный-поезд-пассажирный...

Это был ее внук, ее кровь, потомок. Милый мальчик, который очень любит кушать, заедает свои позоры – внутренний (трусость) и внешний (жиртрест). Нюраня никогда не испытывала жалости к людям, которые подспудно противились изменению своей неудачной судьбы. Если ты хочешь развернуться на сто восемьдесят градусов, я тебе помогу. А если просто трындишь о своих несчастьях и обидах, на самом деле лелеешь их, как нищий лелеет культю, приносящую доход, то я тебе не ассистентка, не слушательница и не помощница. Но Эдик не взрослый человек – одиннадцатилетний пацан. При мамочке-«гурманке» и папочке-добрячке ее внук вполне реально вступит во взрослую жизнь с комплексом заболеваний и рефлексией затравленного трусишки.

* * *

Нюраня хорошо знала мальчиков, умела с ними общаться, ведь долго жила с Мишей и Кешей, пока те вместе с матерью не уехали в Америку.

Юрия Ганича, мужа Тани-Ревеки, после Войны занесло в США, где он неплохо устроился – пианистом в Бостонском симфоническом оркестре.

Более десяти лет не оставлял попыток отыскать жену или хотя бы какие-то сведения о ней, слал десятки писем в Советский Союз, ответов либо не получал, либо приходили отписки. Потом через международную коллегия адвокатов нанял юриста, который отправился в Курск и без труда нашел Таню Миленскую, в прошлом Ревеку Ганич.

Это было потрясение – визит юриста. Но еще большее потрясение случилось, когда через год в Курск приехал сам Юра. Встреча была, как выразилась Нюря, «водопроводной». Плакали все: Таня неудержимо, Юра с нервной икотой, не сдержали слез мальчишки и Нюря. Ее поразило, что перед поездкой в СССР Юра развелся со своей американской женой. Правда, детей у них не было. Юра развелся только потому, что Рева не замужем! При этом Юра понятия не имел, как она его встретит, возможны ли вообще отношения между ними – людьми, на долю которых выпало много тяжелых, но разных испытаний, чья жизнь наконец устроена, а сыновья, родной и приемный, как писала в своих осторожных письмах Таня-Рева, даже думать не хотят о переезде в капиталистическую Америку. Они без пяти минут комсомольцы и свою Родину не продадут.

Юра прожил у них больше месяца, потерял работу и контракты на сольные концерты, которых долго добивался. Все – ради того, чтобы увезти Реву и детей в Америку, страну потрясающих возможностей. Вариант остаться в СССР решительно отвергал. До тех пор, пока не встречался глазами с Ревой – вновь обретенной любовью. Она тоже была готова ехать с ним хоть на край света. Но только вместе с мальчиками, без которых на миллиметр с места не сойдет.

Нюря, как всегда, много работала, и «капиталистическая пропаганда» прошла мимо ее ушей. Таня-Рева светилась от счастья, мальчишки заобожали «американского папу». Нюрю трижды вызывали в областное управление КГБ, и она писала объяснительные записки – отчеты о поведении американского гражданина Юрия Ганича, проживающего в данный момент в ее доме. Который никакими секретами не интересовался, о военных предприятиях не расспрашивал и прогулок дальше центра города не совершал. При последнем визите в КГБ Нюря намекнули, что хотели бы видеть в ней «честную коммунистку, которая станет рассказывать о положении дел в роддоме». Нюря в ответ покрутила пальцами в воздухе – очень хотелось скрутить фигу. Сдержалась. Она была стреляный воробей, который без нужды не дразнит ловцов птиц. Вежливо отказалась, но не без ехидства: разве вам не хватает сексов в нашем учреждении? Ей безо всяких намеков сказали, что ее безответственное поведение повредит в решении вопроса о воссоединении и выезде семьи

американского пианиста.

– Мое безответственное поведение, – ответила Нюраня, – повредит жене вашего сотрудника Кравцова... или Кравченко? Не помню. Я тут с вами лясы точу, а у женщины узкий таз и неправильное положение плода. Возможно, уже началась родовая деятельность. Давайте еще поговорим о моем долге коммунистки. Но спасти женщину и ребенка вы отправитесь лично, во главе отдела или всего управления. Я уже ничего не смогу сделать.

Это был блеф. Кравцова или Кравченко лежала в родовой палате, и до родов ей оставалось еще дней десять. Однако блеф – это оружие опытных игроков. Не только шулеров, ищущих личной выгоды, обманщиков, набивающих свои карманы, но и честных тружеников, которые должны расчищать себе поле деятельности.

Юрий добился от сыновей обещания, что они посмотрят на Америку и там уж решат, просто съездят. Нюраня понимала, что с их отъездом она лишится семьи, что ее шумный дом, куда она, усталая, приходит вечером и получает веселый и радостный прием, превратится в могильный склеп. Но Таня, то бишь Ревека, сыновья Миша и Кеша, которых умница Юра принял едино, – это хорошая и правильная семья. Крепкая семья – большая сила, она может существовать на любой почве, в любых географических условиях – в Сибири, в Африке, на Луне, у черта за пазухой. Важней семьи ничего нет, хотя некоторые неудачники находят смысл жизни в работе, а гении – в творчестве.

Оформление отъезда продлилось больше года – нервной бюрократической волокиты. И помогло Нюране постепенно смириться с потерей. Потом они уехали. «Посмотреть на время» обернулось в «навсегда». Ревека писала регулярно. Ее письма были полны шуток о «загнивающем капитализме» и подспудных намеков о благоденствии. Дом, превратившийся, как и ожидала Нюраня, в холодный склеп, она продала вместе с участком. Купила однокомнатную квартиру в девятиэтажном кооперативе. Больших площадей ей не требовалось – убирать проще, а гостей у нее не бывает.

* * *

– Я должна уехать, – сказала Нюраня Виталику, – мой отпуск закончился. Клара выйдет из больницы через неделю, будет слаба, но постепенно оправится. Я хотела бы взять с собой Эдика. До окончания

учебного года еще месяц, в школе можно договориться. Внук проведет у меня лето. погоди! – остановила она зятя, подняв ладонь. – Не нужно мне говорить о том, как к этому отнесется Клара. Ты глава семьи, твои слово и решение последние и окончательные. Я им подчинюсь, оставив за собой право уважать или не уважать тебя.

– На юге, в Курске, – пробормотал Виталик, – много фруктов и других овощей...

– Очень много, – заверила Нюраня, – и Курск находится в СССР, а не на другой планете.

Доверительный разговор с внуком состоялся в поезде, на вторые сутки, когда Эдик уже остыл от восторга – школу на месяц раньше покинуть, с бабушкой Нюраней ехать в Курск!

Они сидели у окна, играли в подсчитывание на мелькающем пейзаже людей, коров и автомобилей – кто первым заметил. У Нюрани были пять автомобилей, десять человек и три коровы. У Эдика, обладавшего способностью мгновенно пересчитать стадо, были сорок семь коров, двенадцать человек, пятнадцать автомобилей, из которых две легковушки, остальные грузовики. В придачу три козы с серым козлом, пасущиеся на склоне железнодорожной насыпи.

– Сдаюсь! – откинулась на стенку Нюраня. – Ты выиграл.

– погоди! Еще шлагбаум, три автомобиля, телега...

– Эдик!

– Ну, чего? – Он ерзал в азартном желании победить. Он побеждал очень редко.

– Эдик, я тебя очень люблю!

Толстый мальчик застыл, оторвал взгляд от окна и уставился в столик. С верхних полок свесились головы попутчиц – двух деревенского вида девиц, которые ехали в столицы за большим счастьем.

– Внучек! – продолжила Нюраня. – Я любила бы тебя всякого. Родись ты без ручек или ножек... Ох, как тяжело принимать ущербных младенцев! Я тебя люблю не за тебя, какой ты человек, а потому, что ты моя кровь, как люблю твою маму...

– Ты – маму? – хмыкнул Эдик.

– Конечно! Она же мой единственный ребенок. Я попрошу этих барышень, которые свесили головы со вторых полок, убрать их обратно! – другим тоном, приказным, сказала бабушка.

И девицы исчезли.

Бабушка снова обратилась к нему:

– В медицине рано поставленный диагноз бывает ошибочным и влечет за собой ненужную терапию, то есть лечение. Поздно поставленный диагноз – чаще всего роковой, по сути подсказка для патологоанатома – это те врачи, что исследуют мертвое тело, устанавливают причину смерти. Найти точку между «рано» и «поздно», момент истины – это как схватить жар-птицу за хвост. – Она говорила заумно, для ребенка непонятно. Потому что волновалась. Нюраня редко волновалась. – Эдик, внучек! Подними голову, посмотри на меня. Не стесняйся спросить, зачем я тебе все это рассказываю.

Голову он не вскинул, но глаза поднял:

– Зачем?

– Потому что ты еще очень мал для решений. Было бы тебе хотя бы тринадцать или четырнадцать. Нужно решить...

– Что?

– Остаешься жирным туловом с колбасными конечностями или превращаешься в настоящего сибиряка. У тебя по конституции скелета все задатки.

– В сибиряка – это как?

– Это в могучего мужика, сильного, гордого и спокойно-смелого.

– Какое я имею отношение?

– Прямое. Ты сибиряк по крови. Сложись история по-иному, моя мама, Анфиса Ивановна Медведева, по роду из Турок, сейчас отправляла бы тебя в ночное на луга у Иртыша. Знаешь, что это?

– Нет.

– Ночью коней пасти. Лето. Днем жара, ночью прохлады. Великая река. Огромный луг. Кони всхрапывают, им ноги передние связали, чтобы не убежали далеко. Вокруг луга лес – темный, высокий, от ветерка перешептывается. В лесу сейчас собралась нечисть: лешие, ведьмы – колдуны и колдуньи с ними товарами обмениваются. Колдунам травы заветные от разных хворей ведьмы приносят, а они в ответ жуткое: ноготь мертворожденного дитяти... Эдик! Все это сказки. Никаких колдунов у нас не было. Но ведь так нервы щекочет! Горит костер, мальчишки картошку пекут. Нас, девочек, не пускали. Нам приданое готовить – вышивать крестиком. Завидно девчонкам, Эдуард! Из перекормленной телесной массы, которую ты из себя представляешь, из прибитого самомнения еще не поздно выскочить. Это момент истины, между диагнозами. Решение принимаешь ты, но помни, что я тебя буду любить при любом решении. Выскочить будет трудно, но ничто стоящее легко не дается.

– Пацан, соглашайся! – свесилась с левой верхней полки косматая

девичья голова. – Я не поняла, про что, но убедительно, как «ТАСС уполномочен заявить...».

– Я бы, сдохнуть, согласилась, – с правой полки вынырнула вторая девушка. – Мне бы такую бабушку!

Нюраня улыбнулась, когда Эдик поднял голову, распрямил жирные плечи и с достоинством сказал:

– Вас, девушки, никто не просил вмешиваться!

Ему было очень трудно первый месяц. Отчаянно, постоянно хотелось есть. Он привык получать на завтрак каши, в которых крупинки гречки или риса плавали в растопленном сливочном масле, плюс бутерброды с колбасой и с сыром. А теперь на завтрак горстка творога и чайная ложка меда. До двенадцати часов, когда можно съесть вареную рыбу и немного салата из капусты с ранней редиской, ни крошки в рот. На обед – жидкий овощной супчик сварить. Он сам варил себе сиротскую еду – бабушке было некогда, она только ужин готовила – кусок нежирного мяса и опять-таки овощи. Он и хотел бы наесться до отвала, да нечего было – в кухонных шкафах и холодильнике пусто, разве что морковку погрызть. Три занятия физкультурой – пробежки вокруг квартала утром и вечером плюс приседания, отжимания, подтягивания перед обедом. Когда он бегает, над ним окрестные девчонки смеются. Есть чему – синий спортивный костюм обтягивает тело, и видно, как трясутся-колышутся его жиры.

– Стыдно, говоришь? – переспрашивает бабушка Нюраня. – Стыдно – это хорошо. Стыд лечится, а бесстыдство неизлечимо. Покажи им язык или дулю.

– Что?

– Здесь популярную композицию из пальцев называют не фигой, а дулей. Отжаться от пола получается? Или подтянуться на перекладине?

– Пока нет, но уже двадцать приседаний без передышки.

– Прогресс налицо.

У бабушки была большая медицинская библиотека. Какие книги он рассматривал? Не про кожные болезни, понятно, а про женские дела.

Пришла раньше обычного, заглянула ему через плечо, спокойно сказала:

– Это классические роды, хорошая картинка появления головки и постановки рук акушерки. Мне было... лет четырнадцать? почти как тебе... когда впервые на родах ассистировала. Марфа тяжело рожала Митяя.

– Бабушка Марфа дядю Митю?

– Именно. Мы ее ноги привязывали в растопырку... Пойдем мясо жарить, я тебе расскажу. Прибился к нам доктор Василий Кузьмич, мой первый учитель и крестный от медицины...

Какая другая бабушка станет малолетнему внуку рассказывать про этапы родовой деятельности и про муки бабушки Марфы (вот бы никогда не подумал!), которая чуть не померла, рожая дядю Митю, а потом про то, как ее женские внутренности и наружности при свете керосиновых ламп зашивали? У него была мировая бабушка!

Через месяц ноющий голод отступил, и он сбросил два килограмма. Бабушка отвела его в секцию бокса. У бабушки полгорода в знакомых – тетеньки, которые у нее рожали, потом привели к ней своих дочерей и невесток, внушек.

Тренер Сергей Юрьевич при виде рыхлого Эдика забежал глазами, заэкал:

– Анна Еремеевна, я вам, э-э-э, конечно, по гроб жизни, э-э-э, но детская секция уехала в летний пионерлагерь, я, э-э-э, тренирую юношей...

– Сергей Юрьевич! Это мой внук! Мы уже сбросили пару килограммов и подкачали икроножные мышцы. Процесс пошел, но далее знания у меня отсутствуют. Согласитесь, нелепо мне осваивать спортивную науку, когда есть вы. Надо вылепить из него соответствующее возрасту гармоничное спортивное тело. Научить его не бояться удара, не бояться драки или, точнее, вести бой. Вы работаете в две смены? Отлично! Эдуард будет приходить к вам утром, на обед возвращаться домой. В котором часу вечерняя тренировка?

– В пять, э-э-э...

– В пять он снова будет в зале. Я понимаю, что Эдуарду потребуется специальная программа занятий, я готова ее оплатить.

– Да разве в деньгах дело? – перестал экать Сергей Юрьевич. – Разве я с вас возьму? Но у нас тут не детский сад! У него ж наверняка одышка! Три раза подпрыгнул – и одышка, пять раз скакнул – и сердце лопнуло!

– Не сгущайте красок! Одышка естественно. Эдик научился контролировать частоту пульса, он его прекрасно чувствует и знает, когда надо сменить ритм. Осведомлен о работе сердечно-сосудистой системы. У моего внука есть цель. Ему нужно помочь. Я именно к вам пришла за помощью как к специалисту! Не привела бы я единственного внука на погибель! Если вы отказываетесь, если вы не способны... Извините за беспокойство! Пойду к тренеру по плаванию. Хотя в бассейне воспитать бойцовские качества проблематично.

– Не надо в бассейн, – смирился тренер. – Ради вас, Анна Еремеевна...

Пацан, – повернулся он к Эдику, – ты готов?

– Да!

В телефонных разговорах с родителями Эдик не рассказывал о своих тренировках, о преображении, которое с ним происходит. Отделялся общими фразами: у меня все нормально, питаюсь хорошо, фруктов ем от пуза, до начала учебного года домой не вернусь, и не просите.

В конце августа за ним приехал отец.

Виталик не узнал сына – это был другой мальчик. Похудевший, вытянувшийся, еще полноватый, но не обрюзглый. Изменения, конечно, на пользу. Но как относиться к иным переменам, Виталий не знал. Сын не просто повзрослел: из толстого неловкого мальчишки он превратился почти в подростка, который держится просто и уверенно, смотрит прямо, разговаривает, не спотыкаясь от стеснительности на каждом слове. Из-за контраста с прошлым и настоящим казалось, что в манерах сына появились и нахальство, и бравада, и самоуверенность, граничащая с вызовом.

– Что ты все косишься на него? – спросила теща. – Как наша «гурманка» отнесется к тому, что сыночек сбросил лишние килограммы, понятно. Впадет в истерику, и вой будет стоять – уши зажимай. Но ты-то сам? Что про сына своего думаешь?

– Он похож на спортсмена.

– До настоящего спортсмена ему, пожалуй, еще далеко.

– Я не про достижения. У нас был один офицер, после института, два года служил. Маленький, корявенький – ничего особенного. Съездил в отпуск, вернулся – не узнать. Грудь колесом, ходит-светится. Спрашиваем: женился, девушку завел, наследство получил? На все ответ – «нет» и хитрая улыбочка. Потом узнали – он в отпуске участвовал в открытом московском международном марафоне, обошел всех чемпионов и занял первое место.

– Я не поняла: это сравнение – в пользу Эдику или в укор?

– Сам не знаю. Непривычно: вдруг вместо маленького слабого сына самодовольный парнишка.

– Ты определись, потому что без твоей поддержки Эдику трудно будет противостоять Кларину натиску. Она ведь обязательно попытается снова превратить его в покорный жиртрест. Виталий! Все очень просто, отбрось интеллигентские рефлексии. Скажи себе: «Я уважаю своего сына!» А еще лучше – скажи ему это лично.

На обратном пути отец и сын на несколько дней остановились в

Ленинграде.

Бабушка Марфа всплеснула руками:

– Эдюлечка! Ты ли это?

– Я, но уже не Эдюлечка. Эдуард, можно просто Эдик.

Еще до встречи с бабушкой Марфой он увиделся с сестрой Татьянкой, Соней и Маней. Раньше, когда девочки называли его Эдюлечка (или Пупсик), он слышал в их голосах насмешку, очень обидную.

– Ну, ты даешь! – восхитилась Татьяна.

– Это уже не Эдюлечка, – покивала Соня.

– Эдуард в чистом виде, – подтвердила Маня.

– Попрошу не принижать моего родного брата! – сказала Таня. – Эдуардище!

Бабушка Марфа тоже не скупилась на похвалы:

– Какой рослый! Стройный! Не узнать! Тебе ж только в ноябре двенадцать, а все шестнадцать можно дать.

– Прямо как сибиряк? – смеялся польщенный Эдик.

Он очень хотел услышать это определение. Наивысшее. В ленинградской семье, в ядре их рода, у бабушки Марфы так называли только достойных пацанов. Потом, после восемнадцати, после совершеннолетия можно было получить особо ценное: «могутный мужик». Могутный – это хорошая физическая выправка плюс правильный характер.

– Чисто сибирский парень, – подтвердила бабушка Марфа.

Он чуть не заплакал от радости. И захотелось выплеснуть, что знает, как она, бабушка Марфа, рожала дядю Митю. Удержался. Не стерпел бы – навеки «могутного» не заработал, приведя бабушку Марфу в ужас. Потому что замечательная бабушка Марфа – это не мировая во всех отношениях бабушка Нюраня, которая внушила строго-настрого, что врачебная тайна – святее всех тайн.

Он бабушке Нюране как-то сказал, что тоже хочет стать врачом.

Она хитро сощурилась и заговорщицки зашептала, как сказительница из радиопостановки:

– Всем Туркам в Сибири приписывали силу лекарскую, волшебного предсказания. Твои прапрабабка, прабабка, мать моя Анфиса Ивановна, да и я, грешным делом, – еще тише забормотала, – могли взять больного за руку или провести ладонью по телу... И... И чувствовали ответ: жив ли будет, умрет ли... Положи свою ручку на мою ладонь. Что чувствуешь?

Он ничего кроме теплоты не чувствовал. Бабушкина ладонь, большая, костистая, белесая, с тонкой, прозрачной от частого мытья кожей, со вспухшими кореньями синеньких вен ничего ему не говорила.

– Ну? – поторопила бабушка.
– Подожди, я слушаю!
– Прыщ, – подсказала бабушка Нюряня, – фурункул или даже карбункул, где у меня вскочил?

Он тужился, хмурил брови, поджимал губы.

– Дурашка! – расхохоталась бабушка, вырвала руку и щелкнула его по лбу.

– У тебя нет прыщей и карбункулов!

– Конечно, нет! И нет никаких фантастических предчувствий, интуиций без знаний и опыта, без многих лет упорной учебы. И врачом тебе становиться не обязательно! Ты будешь жить и выбирать. Стать физиком, как дядя Василий, биологом, как дядя Егор, режиссером, как дядя Степан, художником, как дядя Митя, военным, как твой отец. Кем угодно! Спасибо нашей великой советской власти! Без нее я бы доила коров и падала от изнеможения, когда осенние дожди заливают конопляное поле, а надо собрать урожай. Выбор – это свобода!

– Я выберу медицину, – стоял на своем Эдик. – И буду лечить детей.

– Толстых? От ожирения? – подсказала бабушка.

– От нарушения обмена веществ, – вернул ей внук выражение, которое она употребляла, когда в начале курских каникул водила его по разным врачам-специалистам.

Эдик с отцом нечаянно подслушали, как бабушка Марфа восхищалась преображением Эдика в разговоре с мужем:

– Нюряня, наша умница! Како сотворила со внуком!

– Если бы мальчик сам не хотел измениться, – ответил Александр Павлович, – был рохлей, в отца, то «наша Нюряня» ничего бы не добилась. А пацан стоящий.

Отец Эдика, услышав нелюбезную характеристику, покраснел, стушевался.

Эдик повернулся к нему:

– Папа, это неправда! Ты не рохля. Я уверен, что если бы ты воевал, то совершил бы много подвигов. Ты говорил, что играл раньше в футбол и хоккей. Потренируешь меня, чтобы не выходить на поле совсем уж неумехой? И еще хочу продолжить занятия боксом, но секция только для солдат и военнослужащих. Договорись, чтобы для мальчишек организовали? Многие ребята захотят, мне кажется.

У Эдика, как и у Виталия, была слегка выступающая верхняя челюсть с крупными зубами. Они стеснялись их демонстрировать и поэтому давили

улыбку, не позволяя губам растягиваться. Теперь же сын улыбался отцу открыто и свободно – еще одно приобретение курских каникул, бабушкино влияние.

– Есть такое выражение, – говорила бабушка Нюраня внуку, – «показать зубы». Тебе и Виталию повезло: не надо пыжиться, стоит только раздвинуть губы. И враг попятится, а свой человек порадует: уж этот зубастый всегда меня защитит.

Как и следовало ожидать, увидев на перроне рядом с мужем незнакомого длинного мальчика, через несколько секунд опознав в нем сына, Клара заголосила:

– Что она с тобой сделала! Змея! Исхудал мой зайчик! Ой, не мать у меня, а гадюка! Ехидна, подавись ты теми деньгами, что на нем сэкономила! Уморила моего Эдюлечку...

Эдик гордился собой, пребывал в эйфории, когда ленинградские родственники выказывали восхищение, смешанное с добрым удивлением. Четыре месяца ему было трудно, тяжело, временами накатывало отчаяние, хотелось все бросить, завалиться в Домовую кухню на первом этаже дома, в котором жила бабушка. Из Домовой кухни пахло так аппетитно, что живот урчал, как голодный волк. Там, внизу, на первом этаже, можно было натрескаться борща, пирогов... У него были деньги, мама перед отъездом ему сунула: «Если она станет тебя голодом морить, купи себе провизии». Он выстоял, он перелепил себя, что было вовсе не так же легко, как пластилинового солдатику скатать в комок и вылепить нового.

Он имел право гордиться собой! А мама, обнимая его, плакала с отчаянием, громко понося бабушку, привлекая внимание проходящих пассажиров, которые рассматривали Эдика, отыскивая в нем уродства. Маме он был нужен прежний – толстый, вечно больной, сопливый, с компрессами на шее, из окна наблюдающий, как мальчишки гоняют во дворе мяч или шайбу.

Эдик беспомощно и раздраженно, с просьбой о помощи посмотрел на отца.

Виталик с силой отлепил жену от сына, прижал к себе:

– Здравствуй, Клара! У нас все хорошо!

– Как хорошо? Сынок доходяга...

– Прекрати! – наклонился к ее уху Виталик. – Прекрати устраивать представление!

Что-то в тоне мужа и во взглядах сына заставило ее умолкнуть. Что именно, Клара не поняла. Она страдала искренне, актерствовала лишь

чуточку, она знала, что от матери нельзя ждать ничего хорошего, но чтобы внука в узника концлагеря превратить!..

Клара называла себя несчастной женщиной, но жить несчастной она не умела. Несчастные женщины – это историческая роль русских баб, отходить от которой зазорно. Костюм джерси, хрустальная посуда, новый ковер, мебельная полированная стенка в процессе добычи и в триумфе приобретения обеспечивали ей радостный подъем духа. А также: плетение интриг, распространение сплетен, кружение голов среднему и старшему офицерскому составу. Она искрила на праздничных застольях и в офицерском клубе, всем было известно, что замполит по ней с ума сходит, а зам по тылу скандалит с женой, помешавшейся на ревности к толстой продавщице из военторга. Никто не мог уличить Клару в изменах мужу, их и не было, Кларе требовалось только платоническое обожание. Она не была красавицей в молодости и с годами не похорошела. Пухлые щеки обвисли, стекли с лица брылами, уголки рта опустились. Выражение лица стало злым и суровым. Когда Клара стояла за прилавком, мало кто осмеливался указать ей на недовес масла или что в брошенном на весы куске мяса одни жилы и кости. Тем удивительнее было преображение Клары, когда она открывала рот, хотела увлечь, обворожить, вскружить голову. Чаровница – это не смазливое лицо, а женский талант.

Она не стала генеральшей – Виталик со скрипом дослужился до подполковника. В собственной семье она не находила поддержки в обличении своего главного врага – матери. Два любимых и любящих ее человека – муж и сын – решительно не желали, чтобы Клара «открыла им глаза на эту змею». Стоило ей привести доводы, Виталик закрывался газетой или выходил из комнаты. Эдик пуще того: запретил ей слово дурное о бабушке сказать, в противном случае – бойкот. Она поначалу думала: глупые угрозы. Но сын с ней первый раз две недели не разговаривал, второй раз – месяц. Видеть презрение и равнодушие в обожаемом Эдюлечке (он только ей позволял себя так называть) было трудней, чем заткнуться и, поджав губы, молча качать головой: «Вы-то ее, дураки, не знаете!»

Настя Медведева, невестка Марфы и дочь Камышина, говорила, что Клара – как молодое вино, брага. Если принять немного, то хмель радостный, веселый, хохочешь-заливаешься над мизинчиком, который тебе показали. Но если перебрать, похмелье тяжелое – с головной болью, проклятиями и самобичеваниями. Клара умеет развеселить, завести,

закружить, но Клара в больших дозах, с ее страстными монологами о якобы зловредной матери – настоящая отравка.

Марфа, которой больше всех доставалось накопленных залпов про мать-змею, пропускала их через себя, точно воду через сито. Такое у девочки (сорокалетней) «отличие особенности», ей выговориться надо.

Камышина удивляло единодушное убеждение Марфы и Нюрани, что первопричина всех несчастий Клары – мать, то бишь сама Нюрания.

– В чем эта тараторка несчастна? – спрашивал Александр Павлович жену. – По словам Клары, только потолки в доме коврами не завешены. Обломились от тяжести полки в серванте, хрусталь вдребезги – через год восстановила. Такого покладистого мужа, как Виталик, ни в одну лотерею не заполучить. Генеральшей не стала? От этого наша армия только выиграла. Теперь что касается вины Нюрани. Вот представь: хорошая мать растит дочь, которая с пеленок шалава шалавой. Мать старалась как лучше, а девка все равно на панель улизнула. Потом является, в подоле принесла и дурными болезнями заразилась. И мать винит: ты плохая, потому что меня не остановила.

– Горе, – покачала головой Марфа.

– Но вина матери только в том, что в колыбели свое отродье не задавила!

– У детей достоинства – собственные, а недостатки – родительские, – вздохнула Марфа.

– Столько лет вас, сибирячек, наблюдаю, а поражаться не перестаю.

Нюрания вины своей не отрицала, но не считала ошибки, допущенные в молодости, поводом и основанием попустительствовать самодурке Кларе. Дай дочери волю – скрутит всех в веревки, в канаты, будет концы держать в кулаке и хлестать направо и налево. В точности как делала ее мать, бабушка Клары, покойная Анфиса Ивановна. Если Клару, например под наркозом, спросить об устройстве мира, то дочь скажет, что Солнце, а по орбитам планеты – это все ерунда. В центре Вселенной она, Клара, остальные люди крутятся вокруг нее, обязаны крутиться. Именно такое положение дел казалось Кларе единственно справедливым, какую бы она ни строила из себя несчастную жертву обстоятельств. Только Клара не Солнце, дарящее тепло и свет, а черная дыра, в которую легко провалиться, и тогда у тебя не останется собственных забот, проблем и радостей, останутся только Кларины.

Пусть дочка плюет на нее желчью – мимо цели, да и утереться привычно. Зато есть внучка Татьяна – родная душа. И очень внешне на нее похожая – все говорят. Перелетела через кровь Емельяна, Виталика –

выглядит точно Нюраня в молодости. И есть внук Эдик – сложный мальчик, но Клариной, пироговской, пронырливости, стяжательства, пыли-в-глаза-пускательства в Эдуарде точно нет. Хочет врачом стать. Неужели дар и талант их рода, всегда женский, воплотится в ее внуке? И во внучке, которая тоже мечтает лечить людей? Ее потомки унаследуют ее главную страсть?

Василий и Егор

Окончив университет экстерном, через два года, в 1948 году, Василий защитил кандидатскую диссертацию, еще через три года – докторскую. Он жил в подмосковной Дубне, работал в страшно секретном атомном институте.

Его успехи в науке, да и в личной жизни, случались благодаря редкому качеству – не поддаваться инерции мышления и поведения. Эта способность потому и редка, что противоречит природе человека, склонной вырабатывать штампы как самые простые и логичные способы жизнедеятельности. Если в общественной бане, после ремонта например, поменять местами мужское и женское отделения, повесить большие вывески и броское объявление, то конфузы все равно неизбежны. Большинство мужчин и женщин по привычке будут идти в старые помещения. Василий к большинству не относился.

У него была женщина, которую он любил, и вдруг свалилась на голову другая, забытая, – женщина с двумя его сыновьями-младенцами. Как честный благородный человек он был обязан жениться на Галине, малознакомой медсестре из госпиталя, матери его детей. И, соответственно, расстаться с Марьяной – без сомнений, его судьбой, его половиной, его берегиней. Всю оставшуюся жизнь они провели бы в тоске-печали по несбывшемуся счастью. Душещипательно, как в романе слезоточивом. Василий книжных правил не признавал. Он хотел найти выход и нашел. Клещами вырвал из Марьяны клятву – она его не бросит, она его жена по чести, совести и любви. Расписался с Галей, усыновил близнецов, пристроил их в хорошую московскую квартиру к Пелагее Ивановне, вдове протезного мастера. Сыновья и дочь Пелагеи Ивановны погибли на Войне, а сама она вступила в ту возрастную русскую женскую пору, когда без внуков – как без смысла жизни. А тут вам сразу два – получите!

Курчатовская команда приступила к созданию атомной бомбы, когда еще шла Война. В руководстве страны мало кто понимал значение нового оружия. Среди простого населения – никто. До бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и не догадывались, какая мощь содержится в атомных зарядах. Секретность была строжайшая. Но Василия распределили в Дубну. Ведь он Фролов, а не Медведев, и его отца не расстреляли в тридцать седьмом году – биография чистенькая, а студенческие научные работы

впечатляющие.

Когда в Дубне началось строительство научных корпусов, возвели и несколько жилых домов для ученых и технических работников, Василий получил однокомнатную квартиру. Перевез к себе Марьяну. Брата Егорку – к Пелагее Ивановне.

Егорка, старшеклассник, уже не щеголял своими партизанскими орденами, не сквернословил и не нарывался на стычки с окрестной шпаной.

Ему не хватало отца, Василий это прекрасно понимал, но не мог да и не желал заменить брату отца, а также мать, многочисленных сибирских родственников с их суровой нежностью и, главное, сердечным надзором-вниманием. В стране поголовная безотцовщина, Егорка не исключение, пусть сам справляется со своими подростковыми демонами, а заодно присмотрит за племянниками.

– Тут два моих короеда, – сказал он брату. – Галя и Пелагея Ивановна, тюти-матюти, испортят пацанов как пить дать. Ты контролируй процесс, чтобы не превратили их в писклявых барышень.

– А ты новую атомную бомбу будешь строить? – ухмыльнулся Егор.

По тому, как дернулся брат, Егор понял, что попал в цель.

Василий захватил брата за вихор на макушке, притянул его ухо к своим губам:

– Я тебе ничего подобного никогда не говорил! А если ты еще раз вздумаешь фантазировать на данную тему, то я вырву у тебя язык!

Галя своего законного мужа не понимала, была на него обижена и считала эгоистом. Отчасти это было верно: Василий никогда не спрашивал родных, что им нужно, он вынуждал их делать то, что было нужно ему. Его воля – точно гипноз, под действием которого ты подчиняешься безропотно и даже с волнительной готовностью солдата, до которого снизошел своими приказами главнокомандующий. Очнувшись, понимаешь, что тебя развернули и заставили шагать туда, куда ты не хотел, не планировал, не желал и не собирался идти. А еще спустя какое-то время вдруг обнаруживаешь, что прибыл в точку наилучшего расположения. Главнокомандующему дела нет до личных проблем солдат (Галины женские обиды, Егоркина подростковая тоска, терзания Марьяны из-за двусмысленного положения) – он их не видит, а попробуй рассказывать о них – пожмет плечами: «Не морочьте мне голову! Это все ерунда, настроение, психология!»

Галя устроилась на легкую медсестринскую должность в отделение

физиотерапии городской больницы – не то что в хирургическом тяжелых прооперированных выхаживать. Содержимое мастерской Гаврилы Гавриловича постепенно распродавалось, Василий ежемесячно переводил половину зарплаты – они не испытывали нужды и даже иногда покупали продукты и вещи в кооперативных магазинах.

По мере того как сыновья росли, превращались из плаксивых пупсов в забавных карапузов, в смысленных мальчуганов, росли отцовские чувства и привязанность Василия. Вначале, в редкие приезды в Москву он смотрел на них с нескрываемой досадой. Потом стал улыбаться, наблюдая за возней близнецов, потом смеяться, недолго участвуя в их потешных играх, поймал себя на безотчетном восхищении, умилении и гордости. Это как сухое семечко, попавшее тебе в ботинок, досадливое, колющее, вытащить и бросить на землю. И с изумлением наблюдать, как из семечка с поразительной скоростью вырастает крепкое деревце. Второй процесс вхождения в отцовство, когда у них с Марьяной родилась дочь Вероника, шел гораздо быстрее. Поэтому Галине казалось, что Василий любит дочь больше, чем ее сыновей. Марьяна, в свою очередь, считала, что Василий, испытывая вину перед Володей и Костей, не имея возможности видаться с ними так часто, как с Вероникой, душевно привязан к сыновьям сильнее, чем к дочери.

И только Марфа видела, что Вася к детям относится одинаково, делит на них поровну ту, по правде сказать, небольшую часть своего умственного внимания, которая остается от его научных интересов.

К Марфе, ставшей центром разросшегося рода, Василий приезжал с Марьяной и тремя детьми, которые обожали свою ленинградскую бабушку. Марьяна подружилась с Настей, они активно переписывались, а не от случая к случаю, как остальные родственники. Марьяна всегда брала в Ленинград Володю и Костю, если отправлялась без мужа. Галя приезжала только с сыновьями.

Как-то Марфа посочувствовала Василию:

– Тяжело тебе приходится – на две семьи-то жить.

– Ничего подобного, – возразил Василий, – я ловко устроился. Знаете, сколько мужиков мне завидует!

– Ну-ну, – вздохнула Марфа.

Гордость – фамильная черта всех Медведевых, но Василий был чемпионом среди гордецов. Хорохорится, ни за что не признается, как ему противно невольное двоежёнство. Так же точно он не любил упоминаний о его инвалидности, ходил на протезе ровно, не скажешь, что у него под

брючиной деревянная нога.

Василий не афишировал свои необычные семейные обстоятельства, но и не делал из них тайны. Кому было положено по должности, всё прекрасно знали. Для сослуживцев и соседей Фроловы были обычной семьей: ученый из института, его жена школьная учительница, дочка ходит в детский садик. В другой точке Советского Союза, в другом коллективе Василия скоренько прижали бы к ногтю, а в Дубне анонимка пришла в партком только после десяти лет безоблачного существования. Объяснялось это тем, что Дубна была уникальным местом, где собрались талантливые ученые, фанатичные подвижники науки, где на первый план выдвигался мозговой штурм, результатом которого становились научные победы, равнявшиеся многократному усилению оборонительной мощи страны. От этого интеллектуального сгустка, как от шаровой молнии, отскакивали беды и проблемы, бытовые и духовные, терзавшие простых советских людей. Во многом благодаря обеспечивающим сверхсекретность офицерам госбезопасности, которые тоже были не дуболомами, понимали, что нельзя резать куриц, несущих золотые яйца. Но Василий с его неспособностью проявлять деликатность при признаках научной тупости и прохиндейства легко обрастал недоброжелателями.

Анонимка была в лучшем исполнении жанра доноса: ложь смешивалась с правдой, домыслы с фактами. Писал человек, явно не чуждый научного стиля, потому что выражения: «таким образом», «является», «из чего следует», «следуя логике» – имелись почти в каждом предложении, а сами предложения были длинны, путанны и с ошибками пунктуации и орфографии.

Секретарь парторганизации отдела, замечательный мужик, Петя Егоров – ученый, не хватавший звезд с неба, но обладавший качеством азартного охотника – ночи сидеть, не есть, не спать, но найти ошибку в расчетах, анонимку Василию показал:

– У нас ведь нет четких инструкций, знакомить обвиняемого с доносом или оставлять в неведении. Но ты, Вася, быстренько прочитай и забудь, что я ее тебе показывал. Подготовься. Мы обязаны провести заседание бюро, не отвертись. Эта гнида, если не отреагировать, дальше будет писать. Подготовься морально, – повторил Петя, – повинная голова и то да сё. Морально, – хохотнул он, – над аморалкой.

Василий каламбур не оценил, слишком зол был.

«Доважу до вашего сведения, – писал аноним, – что зав. секцией Василий Фролов является развратником, бросившим семью с двумя детьми, проживающую в Москве и следуя логике нисценствующую. Сам же Фролов завел вторую семью которую все принимают за настоящую, хотя у его условно называемой супруги другая фамилия, а их общий ребенок девочка не может следуя логике быть подтверждением юридического брака. Из выше приведенного мы можем сделать два вывода. Первое: Фролов – морально разложившийся тип осквернивший звание советского ученого. Второе: поведение Фролова является подтверждением того, что службы, призванные обеспечивать надежность секретности нашего учреждения не исполняют своих обязанностей, вверенных им советским государством».

– Баба это писала, – сказал Вася.

– И мы ее с тобой знаем, – кивнул Петя. – Как она второй пункт ввинтила? Теперь не отмажешься. На заседание бюро по твоему личному делу придут ребята из «молчи-молчи» отдела. Обязаны. Но они вменяемые! Главное, ты не ерепенься!

– Понял.

– Понял и постарайся! Это не вопрос, Вася! Это партийный приказ! Тебе на полигонные испытания в Казахстан ехать!

– Вот именно! Важные испытания, а тут бред профсоюзной бабы!

Марьяна, которой он, обладающий фотографической памятью, слово в слово процитировал анонимку, просила о том же – не хорохорься!

– Свет не карает заблуждений, – говорила Марьяна словами Пушкина, – но тайны требует от них.

– Что происходит со светом, когда тайное становится явным? – спросил Василий.

– Он как раз карает! Вспомни Анну Каренину!

– Мы с ней знакомы?

– Вася! Когда ты злишься, то начинаешь вредно шутить. Партийное бюро не место, где злятся и шутят!

– Моя мама однажды, плохо помню, маленьким был... – почесал затылок Василий. – Или тетя Марфа сказала? Не суть. Выражение следующее: «Грех не беда, молва нехороша».

– Видишь, сколько аргументов за правильную стратегию твоего поведения на бюро! И Петя, партийный секретарь, назовем его гласом государственным, и Пушкин – наше литературное сокровище, и сибирская мудрость...

– Марьяна! Не нужно со мной разговаривать, как с мелким хулиганом,

пойманным на базаре за воровство пирожка!

– Что ты! Извини! Разве ты мелкий хулиган? Задайся ты целью обчистить банк, легко бы справился.

– Плевое дело.

– Только тебе не интересны капиталы. Тебе, кроме науки, вообще ничто не нужно.

– А вот это враки! Ты и вся родня, – он сделал руками круговое движение, – очень даже мною любимы. Часто. Иногда.

– Иногда часто, – передразнила Марьяна. – Никому не признавайся, что твоя жена русский язык преподает. Вася, если тебя выгонят из партии, то с наукой придется расстаться. А вся родня, – она повторила его жест, – будет сильно опечалена. Обещай мне, что будешь держать себя в руках!

– Постараюсь. Я же не дурак!

– Часто иногда.

Надо было заставить себя играть роль раскаявшегося грешника, пользующего двух баб. Он к Галине пальцем не притронулся! И почему к нему в штаны лезет партийное бюро? Какое все это имеет отношение к вычислению сроков мелкого заряда, запускающего ядерную реакцию? Спокойно! Он не будет злиться. Он впадает в ярость только по мелочам, а при серьезных проблемах он как удав спокоен. Удаву хорошо, спаривайся не хочу с любой гадюкой.

Василий заготовил слова покаяния: по молодости-де, на войне, в госпитале сошелся с медсестрой, обычное фронтовое дело. Как честный человек не бросил ее, женился, усыновил детей. Встретил главную, взаимную любовь своей жизни, не смог разбить судьбу еще одной женщине, да и собственную. Виноват, товарищи, понимаю, осознал, исправлюсь, больше не буду. Если партийное бюро постановит, он и с любимой женщиной больше не будет, и даже согласен на кастрацию...

В начале заседания, когда читали анонимку, Василий держался отлично. Сидел, потупившись, повторял мысленно заготовленную речь, в которой обещание больше не вступать в близость с Марьяной, как и кастрация, были, конечно, лишними.

Его бы пожурили и отпустили с миром, тем более что донос был анонимным, а от супруг Василия никаких жалоб не поступало. Служба, именуемая физиками «молчи-молчи», в лице офицеров в штатском, не желая иметь собственных служебных проблем, спустила бы все на тормозах.

Закончив читать письмо, Петя Егоров попросил Василия объясниться.

Василий встал, обвел взглядом членов бюро. Среди них имелись те, чей моральный облик далек от хрустального, не только рыло в пуху – с головы до ног в перьях. Физики – не монахи.

– Какого черта мы здесь комедию ломаем? – спросил Вася, у которого вылетели из головы заготовленные слова. Злое бешенство вспыхнуло мгновенно, заклокотало. И выражался он хоть и язвительно, но в сравнении с теми характеристиками происходящего, что рвались наружу, культурно. – Декораций не хватает в этом спектакле. Может, мне за чемоданом с грязным бельем сгонять?

– Товарищ Фролов! – повысил голос Петя Егоров. – Партийное бюро не место для подобных эскапад! Отвечайте по сути! Разъясните ваши отношения с женщинами.

– Я... своих... отношений... с женщинами прилюдно не обсуждаю! – медленно, сквозь зубы процедил Василий. – Половыми отклонениями, в частности эксгибиционизмом, не страдаю...

Две недели милиция и народная дружина отлавливали мужика, который пугал женщин и девочек, выскакивая из кустов, распахивая плащ, под которым не было ни штанов, ни трусов. Во время инструктажа доктор сказал, что бить мужика не следует, это заболевание под названием эксгибиционизм. Но когда мужика поймали, все-таки отдубасили, сомневались, что лекарства помогут, кулаки – надежнее.

Почему этот извращенец всплыл в гневном сознании Василия? Ярость – это хаос мыслей. К теории хаоса нелинейных динамических систем физики и математики только подбираются. Как бы то ни было, Василий понимал, что вредит себе, что надо успокоиться и исправить положение. Вместо этого ухудшил его, рассказав... анекдот.

– Подходит эксгибиционист к старому еврею-портному, распахивает пальто. Еврей долго смотрит, а потом спрашивает: «И вы хотите сказать, что это качественная подкладка?»

Большинство мужиков невольно рассмеялись, Петя Егоров, пунцовый от натуги, кашлял, подавляя хохот. Петя был очень смешлив.

Вскочила женщина, председатель профсоюзной организации. Как ученый эта тетка была ноль. Василий ей однажды под горячую руку сказал: «Раздавайте путевки, устраивайте детские елки-утренники, пишите диссертацию, но не суйтесь в наши эксперименты! В науке вы как жаба в муравейнике». Назвать даму жабой – хамство, и никогда она этого не забудет и не простит. Анонимку явно писала эта тетка.

– Товарищи коммунисты! Поведение Фролова выходит за рамки! Рассказывать анекдоты на бюро! Это прямое оскорбление партии! Человек, который вчера предал женщину, завтра предаст Родину!

Повисла нехорошая тишина. Молчали даже те, кто хотел бы защитить Василия, вырулить разбирательство в благоприятную для него колею.

Он побледнел от ярости, но заговорил спокойно, только чуть растягивая слова, медленно:

– Если бы вы были моей женой, я бы никогда вас не бросил. – Это прозвучало как странный, неуместный, льстиво трусливый комплимент. Пока Вася после паузы не продолжил: – Я бы повесился!

Встал, не прощаясь, вышел из комнаты. Старался не хромать: почему-то в моменты волнения несуществующая нога болезненно дрожала.

Василию вклеили партийный выговор и уволили с работы. Пока писались приказы и вступали в действие постановления, слетать в Казахстан он успел. Испытания прошли успешно, ученые и военные прыгали и обнимались как дети – мальчишки-футболисты, чья дворовая команда выиграла.

Прохлаждался Василий недолго, его взял в свою лабораторию Флёров, который к тому времени ушел из военного атомного проекта. Марьяна написала в письме Насте: «Георгий Николаевич сказал, что на синтез и исследование свойств трансурановых элементов многоженство никак не влияет».

Косте и Володе исполнилось двенадцать лет, когда у Гали случился роман с врачом-рентгенологом и плавно подкатил к женитьбе. Но Василий решительно отказался дать развод: чужой дядя воспитывать моих сыновей не будет! Плачущая Галя позвонила Марфе: выручайте! По телефону такие проблемы не решить, и Марфа отправилась в Москву. С ее стороны это был почти подвиг. Постоянно всех зазывая и приглашая к себе, Марфа терпеть не могла трогаться с места.

Пелагея Ивановна и Марфа Семеновна встретились впервые и очень друг другу понравились. Хотя Пелагея Ивановна вначале оробела: Вася и Егор говорили, что тетя Марфа – простая деревенская женщина, а приехала дама, хорошо одетая, в перчатках и шляпке, на ногах ботильоны на каблуках.

Пелагее Ивановне было невдомек, что Марфа после замужества, считая своим долгом хоть как-то «соответствовать», прошла нелегкий путь преображения. Камышину никаких изменений в ее внешнем облике не требовалось, ни о чем он не просил, не намекал. Но собственная гордость! Будет позорить мужа, выступая рядом с представительным интеллигентным мужчиной деревенской бабой!

Самым тяжелым испытанием был первый выход в свет: торжественное собрание по случаю Победы в мае сорок пятого года на заводе, где Камышин работал главным инженером.

На помощь пришла Настя, убедившая Марфу заранее ходить с непокрытой головой, чтобы привыкнуть. Без платка Марфа чувствовала себя лысой каторжницей. Настя на толкучке купила платье: немецкое, трофейное, синего бархата, по моде с большими, подбитыми ватой плечами, украшенными по ткани вышивкой серебряной нитью, круглый воротник по кантику оторочен мелкими жемчужинками, пуговицы до пояса тоже жемчуг, но покрупнее, свободного кроя отрезная юбка ниже колен, но все-таки выше, чем обычные юбки Марфы. Настя также приобрела чулки, туфли, сумочку, тонкие шелковые перчатки.

От предложения подстричь волосы и сделать завивку-перманент Марфа решительно отказалась:

– Уж лучше кислотой облиться, уродине-то все прощается.

– Очень моему папе подходит уродина!

Настя наряжала Марфу, укладывала ей косу на голове короной, припудривала лицо, красила губы помадой:

– Бледненькой, бледненькой, не сопротивляйся! Я ж тебе не рисую малиновый бантик, сейчас таких не носят!

Цепляла на согнутую в локте руку сумочку и заставляла ходить по коридору в новой квартире.

Первая репетиция была кошмарной.

– Что ты ноги как корова растопырила? – ругалась Настя. – Сдвинь коленки, поднимай их, не шаркай! Локти прижми! Это дамская сумочка, а не мешок с дустом. А выражение лица! Мученическое, словно на закланье ведут.

– Так и есть. Ой, как тяжело, взмокла вся...

– Улыбайся!

– Кому?

– Всему! Война кончилась, Победа! Ты замуж вышла, ты счастлива! Мы живы и здоровы! Чего тебе еще надо?

- Лифчик обязательно нада? Грудя-то как срамно торчат.
- Обязательно!

Степка и Александр Павлович пришли домой, застыли в дверях во время третьей репетиции, когда дело пошло на лад и Марфа уже не напоминала перепуганную ряженую корову. Навстречу им шествовала незнакомая красивая женщина. Мама? Марфа? Камышин расхохотался, но не насмешливо, а как человек, который всегда о чем-то догадывался, а теперь радуется, что его догадки верны.

Степка сказал:

- Умереть и не встать!

Умереть со страху Марфа вполне могла. Стоит ей рот открыть, ляпнуть что-нибудь, и все поймут, что жена у Камышина деревня деревней.

Она даже совершенно серьезно предлагала ему:

- Давайте всем скажем, что я немая?
- Ты сама и скажешь, – веселился Камышин.

Генеральную репетицию Настя провела на улице. Под ручку они фланировали по Чкаловскому проспекту.

- На меня пялятся, – шептала Марфа.
- Смотрят с восхищением. Выше голову, не сутулься!
- У продовольственного магазина Марфа затормозила:
- Селедку дают.
- Фу! – скривилась Настя. – В таком платье и в очереди за селедкой!

Знаешь, как о тебе Марьяна говорит? Словами Некрасова:

*Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц...*

- Кака из меня царица?

– Така! – отрезала Настя. – Ты себя не знаешь, ты в зеркало смотрелась раз пять в жизни. Не смей мне говорить, чего в него пялиться, краше не нарисуешь. Мы ведь нарисовали. Марфа, ты чего хочешь? Какого лешего мы все затеяли?

- Чтоб я соответствовала.

– Так *ответствуй!* Походка и взгляд царицы. Голову подняла, зад поджала, грудь вперед! Есть эффект! Дворник Муса метлу от изумления

выронил.

На торжественном заводском собрании и на банкете из-за страха в любую минуту оскандалиться Марфа держалась с каменным достоинством, отвечала односложно, разговора не поддерживала. Она произвела впечатление очень красивой статной женщины, но самодовольной и чванливой, которая даже в такой светлый праздник сидит как Снежная королева.

На вопрос Насти, как прошло, Марфа ответила:

– Они подумали, что я палку проглотила.

* * *

Марфа, конечно же, была противницей разводов. И правильно, что после Войны ужесточили законы против распада семей. Но у Василия запутанное жизненное положение, и навести в нем порядок – во благо всем, то есть всем его женщинам. Развод – большой позор. Суд, да и объявление в газете требуется опубликовать. Плюс немалый штраф виновнику распада семьи. Галина хоть и инициатор развода, но, как ни крути, а виноват Василий, ему и раскошелиться.

Васе было начхать на суд, позор, объявление в газете и штраф. Единственная уступка, которой добилась от него Марфа: Галина получит развод, когда сыновьям исполнится шестнадцать лет. Она ведь не отдаст им с Марьяной детей? Не отдаст. Вот пусть и молчит в тряпочку.

– С другой стороны, ведь мог сказать восемнадцать, двадцать и не отступился бы, – утешала Марфа Галину. – Для твоего врача как бы испытательный срок, если любит – дождется. А пока можно... ну, как Вася с Марьяной.

– У рентгенолога жена полгода назад умерла, – хлюпала Галина. – Он хочет нормальную семью, не посмотрел, что у меня дети, а у нас в поликлинике при больнице знаете сколько одиноких женщин!

Так и получилось: рентгенолог испытательного срока не выдержал, женился на завлабораторией. У Гали было еще несколько романов, но все скоротечные.

С годами статус замужней женщины, у которой «муж доктор наук на секретной работе», Галину начал устраивать, и разводиться она уже не хотела. Так и заявила Василию, который, верный своему слову, через

четыре года предложил ей подать заявление на развод.

Он выслушал Галю и пожал плечами:

– При чем здесь ты? Я хочу, чтобы Марьяна наконец стала моей официальной женой. С мальчишками поговорил, они все поняли.

– Вася, у тебя ужасный характер! Ты мне всю жизнь исковеркал.

– Характер не подарок, – согласился Василий. – Но жизнь я тебе не испортил. Если бы как настоящие супруги сосуществовали, ты бы горько плакала от моей тирании. А у тебя была, есть и будет развеселая чехарда: от рентгенолога до травматолога через прочего офтальмолога. Верная ты моя.

* * *

Егор Медведев отца помнил смутно, хотя ему было восемь лет, когда отца расстреляли. Отдельные картинки и почему-то все связанные с полетом, с перехватившимся дыханием и восторгом. Тятя его подбрасывает к потолку и ловит в большие ловкие, чуть царапающиеся из-за мозолей ладони. Уборка сена, метают зарод – огромную копну, дошли до середины. Отец берет его под мышки, раскачивает и швыряет на пахнущее солнцем сено. Они купаются в реке. Отец приседает, Егорка становится ему на плечи, удерживая равновесие, вцепляется пальцами отцу в волосы. Отец встает – и Егор взмывает, подброшенной лягушкой кувывается в воздухе и падает в воду, ее рябь от солнечных бликов похожа на текущий металл, который он видел в кузне.

Его отец – враг народа. Мама ему рассказывала, какой он был хороший, и другие родственники шепотом хвалили отца. Но что еще могла говорить мать? Да и вообще бабам верить нельзя. В сибирской деревне мальчишкам рано дается знать: бабы – это одно, а мужики – это другое. Где баба натараторила, там черту делать нечего. Был бы его отец хорошим – не расстреляли.

Двенадцатилетним он сбежал на фронт, чтобы кровью смыть позор отца. Выскочив из поезда на какой-то станции под Брянском во время бомбежки, испуганный, орущий, не слушающий чьей-то хриплой команды: «Залечь! Всем залечь!» – рванул в лес и бежал, бежал, пока не свалился. Два дня бродил по лесу, питался ягодами, вышел неожиданно на остатки полка, вырывающегося из окружения.

Лейтенант Потемкин, когда к нему привели Егорку, исхудалого, грязного, искованного комарами, распорядился:

– Принять на довольствие, зачислить в воспитанники. Как тебя звать, пацан?

– Егорка.

– Отвечаешь не по уставу. Фамилия, имя, отчество, «товарищ командир полка».

– Егор Степанович Медведев, товарищ командир полка!

– Теперь правильно.

Лейтенант Потемкин был кадровым военным, но... из полкового оркестра. Он играл на баритоне – большой трубе, у которой под раструбом улиточное переплетение тонких трубочек и клавиши. Музыканты до войны действительно в своих частях имели воспитанников – музыкально одаренных мальчишек.

Две недели они кружили по лесу, заходили в села – за продуктами и хоть какой-то информацией. Кроме «кругом немцы» ничего не слышали. Оставляли раненых. К ним присоединялись бойцы других подразделений, рассеянных, как горох, просыпавшийся из дырявого мешка. Их части были окружены, деморализованы, взяты в плен, единицам удалось бежать.

Обязанностью Егора было таскать баритон Потемкина в фибровом чемодане-чехле грушевидной формы. Оружия не дали, автоматы и винтовки были на вес золота, их требовалось отнять у одиночных фашистских патрулей. Каждого вновь прибывшего солдата Потемкин заставлял представиться по уставу и зачислял на довольствие. Это означало получить хлебный сухарь и немного жидкого супчика.

Своего первого командира – лейтенанта Потемкина – Егор запомнил на всю жизнь не только потому, что тот спас ему жизнь. Нарвались на немецкую колонну, завязался бой. Потемкин придавил Егорку собой и чемоданом с баритоном... И тело лейтенанта, и баритон, увидел Егорка, когда выбрался, были дырявые от пуль, как дуршлаги, только баритон не истекал кровью. Потом командование принял лейтенант Савушкин, худенький и щуплый, ростом чуть выше Егорки, а Потемкин был громадного роста и мясистый.

Савушкин тоже погиб, в своем последнем бою орал:

– Пацана прикройте, мать вашу!

Это он про него, Егорку, которому уже винтовку дали.

К партизанам их вывел сержант Митрохин, которого Егор звал дядя Саша.

Командиров, однополчан погибших было много. Но Потемкин запомнился, потому что музыкант. Много лет человек дул в трубу, в баритон, дурацкое в общем-то занятие. А когда припекло, стал мудрым

командиром. То есть можно иметь абы какую профессию, занятие, соответствующее твоим природным качествам и душевным устремлениям, и оставаться могутным мужиком.

Спустя два года, в московском госпитале к Егору пришел корреспондент и попросил рассказать о боевом пути.

Как это можно рассказать? Про Потемкина, Митрохина и дядю Сашу. Про первую страшную зиму в лесу. Про обиду, что не брали в разведку, потому что у него говор не местный. Про то, как сначала фашисты легко их вычисляли – по запаху. Склонился, вражина, обнюхал – костром несет, значит, «партизанен» – к стенке. Потом для разведчиков одежду на деревьях в отдалении развешивали. Рассказать о местных жителях, чьи дома пьяные каратели из огнеметов сжигали. Бабы с воем выскакивали, дети верещали, а их точно не людей, а паразитов огнем поливали. Они же, партизаны-бойцы-воины-защитники, все видели, за околицей как цуцики лежали. Их командир ругался и плакал, ругался страшно и твердил: «Лежать!.. Лежать!» Рассказать про их докторшу – старенькую Анну Гавриловну или про шепутную санитарку Верку. Анна Гавриловна умерла ночью, вечером еще перевязки делала, а наутро – холодная. Верка погибла глупо, в весеннюю грозу на нее сухая береза упала. Береза была в два обхвата. Рассказать про первый взорванный мост или эшелон. Честнее – про невзорвавшийся. Ошибся с зарядами, лежал под насыпью, взрыва все не было и не было, мимо мчался фашистский эшелон – убивать наших солдат, потому что он, Егорка, клеммы перепутал...

– У нас были партизанские будни, – выдавил Егор.

– Это слишком общё, – скривился корреспондент. – Давайте обратимся к вашей биографии. Кто ваш отец?

– Мой отец враг народа, расстрелянный в тридцать седьмом году, – честно ответил Егор.

Корреспондент вскинул брови, закрыл блокнот, похлопал Егора по плечу:

– Выздоровливайте! Как сказал наш вождь, сын за отца не отвечает.

И ушел.

Егор-то как раз считал, что сын за отца отвечает! Что он своей кровью, своей ратной службой смыл отцовский позор.

Жизнь в тылу, в Москве, была пресной, скучной, тошнотворной. Брат Василий смотрел на него как на помеху. Можно подумать, что ему самому Васька нужен! Колченогий инвалид!

Школа. Таблица умножения. Да, помнит он ее! Только почему-то всегда на «7» стопорилось. 7×3 и 7×8 путал. А склонения и спряжения напрочь из головы улетучились. Склонения у существительных, а спряжения у глаголов или наоборот? Мягкий знак в конце шипящих... Да пошли вы! Он три эшелона под откос пустил и два моста взорвал, он...

Единственным обществом, где он чувствовал себя в своей тарелке, была местная шайка подростков – тут и бой с соседскими бандами шпаны, и руководство, и добыча. Это вам не сочинение писать про летнее утро, не в прямой речи кавычки и тире расставлять. Зачем столько премудрости с этими знаками?

Они обнесли киоск, не первый, но засыпались, ребят повязали, он успел смыться. Васька брат его избил – ерунда, мы к боли привыкшие. Но Васька орал, что умерла мама и он, Егор, ее опозорил.

Не знал никто. Он тосковал по маме смертельно. Его скручивало от желания видеть ее улыбку, стоять рядом, чувствовать теплоту ее руки на плече, ее объятие... *Это* не поддавалось воле, *это* нельзя было задавить, заглушить. Да и не хотелось, потому что *это* было единственным благодатным, мёдным, солнечным, радостным, смешным и волнительным до слез. Он плакал по ночам – никто не видел. Он давил прорывающиеся стоны рыданий в партизанской землянке на полу, застеленном сосновыми ветками, в подушку на брошенном на пол матрасе в московской комнате Васи. Его слез никто не видел и не слышал!

Он не испугался тюрьмы, которая грозила после ограбления киоска. Каземат в сравнении с землянкой первой военной зимы – тьфу! Уголовники в сравнении с фашистами – мелочь голопузая. Но опозорить маму? Из-за умножения на «7», твердых и мягких знаков? Он ведь любил учиться, просто разучился любить.

Марьяна, которая забрала Егора из школы и стала заниматься с ним дома, называла его Мальчик Ясам. Он сам пришивал пуговицы, сам стелил постель и убирал, мыл за собой посуду.

– Я сам, – говорил Егорка, – сделаю примеры. Ты отчеркни, откуда и куда. И упражнения в русском, какие номера.

– Нет, голубчик! Сначала я тебе напомним правила. Ты мне их повторишь, вслух, как стихи. Потом под моим присмотром сделаешь несколько контрольных примеров и напишешь предложения. Затем получишь задание по математике и русскому. На закуску, если останешься жив, прочитаешь повесть Гоголя «Вий», ответишь на вопросы и напишешь короткое сочинение о художественных изобразительных средствах. Какие бывают художественные средства?

- Сравнения, метафоры, гиперболы, метонимии, синекдохи...
- Вася! Найдешь у Гоголя одну синекдоху – получишь шоколадку.
- Я не Вася, а Егор.
- Прости! Вас легко спутать. Оба волкодавы или крокодилы, захватывающие знания по-хищнически, как дичь.

Марьяна была мировой девушкой, женщиной, учительницей, наставницей. Брату Ваське с ней повезло, молиться должен был. Может, и молился, когда они на ночь в ее комнату уходили. Марьяна подтрунивала над самостоятельностью Егора, только это было одиночество, а не самостоятельность.

Общительный, всегда окруженный людьми, которые спасали ему жизнь, помогали, защищали, учили или, напротив, обижали, насмехались, доставляли боль, Егор был одинок. Возможно, каждый человек внутренне одинок, и между ним и остальными невидимая броня, прочная, будто толстое стекло. Но не каждый человек принимает свое одиночество как данность, не бьется в стекло, чтобы притянуть к себе друга, подружку, случайного внимательного слушателя или родного брата. Люди, в большинстве, хватаются друг за друга, боятся своего одиночества. Егор научился не бояться. Он не был одинок только с мамой. Он знал, какую выберет себе подругу жизни, жену – которая легко, как воздух через кисею пройдет сквозь стекло и будет с ним в одной колбе. И дело тут не в откровениях, не в расквечивании страшных или постыдных тайн. С мамой он секретами не делился. Дело в ощущении – разделенного одиночества.

Егор никогда не расспрашивал брата о родителях. После того случая, когда Вася его выпорол, когда весть о маминой смерти пришла, – ни словом не обмолвились. Васька не хочет говорить, а ему запахло настырничать.

Только через несколько лет, когда поступал в Московский университет, когда его гнилая анкета должна была перевесить или не перевесить золотую школьную медаль, грамоты, характеристику из Московского дворца пионеров, Егор упрекнул брата:

– Ты ловко устроился! Фролов! И твой отец не враг народа, опозоривший нас!

Они сидели за столом у Пелагеи Ивановны, пили чай. Василий застыл, побледнел. Посмотрел на брата с холодным бешенством. Поднял чашку, явно желая запустить ее в физиономию брату. Аккуратно поставил чашку на блюдце.

Встал:

– Наш отец не враг народа! А ты – дурак!

Похромал к дверям, хотя он давно уже не припадал на протез, совершенно незаметный.

В университет Егора приняли, летом он поехал в Ленинград к тете Марфе, которую обожал. Особенно их первое мгновение встречи, когда тетя Марфа захватывала его в объятия и тихо поскуливала от радости. Это были непередаваемо прекрасные материнские объятия. Хотя мама Егора была на голову ниже тети Марфы, у которой детей, племянников и внуков предостаточно. А у мамы Егорка всегда был один. Несмотря на Ваську и Аннушку. Один и любимый.

– Ладный ты, ох, красивый парень, – восхищалась им тетя Марфа и тут же сокрушалась: – Только весноватый. Бороду бы тебе отрастить.

Весноватыми в Сибири называли рябых. Осколки мины, последнее ранение, оставили на теле Егора множество отметин. Лицо в шрамах-рытвинах под одежду не спрячешь.

– Нисколько не стесняюсь, – заверил Егор тетю. – Знаете, как говорят в кругах мужественных, но не шибко благородных, попросту – в блатных? Шрам на роже для мужчин всего дороже.

– Шутишь. В точь как брат твой, Василий. Как отец твой... Степан, – моргнула, точно прогоняя слезы. – Тоже шутник был. Парася мне рассказывала. В грозу летнюю сорвало часть крыши с клуба. В колхозной усадьбе были Степан да еще полтора мужика – Фролов и счетовод, остальные в поле. Степан полез крышу латать, поскользнулся, полетел кубарем вниз – очень неудачно, но хоть не насмерть и хребет не сломал. Лежит, зубы стиснул, подняться не может. Бабы из сурового полотна носилки сделали, перекатили его, за края взяли и понесли в дом. У него, потом выяснилось, четыре ребра сломаны, рука и нога. Это ж боль какая! Несут его, а он говорит, мол, не рассказывайте мужикам про сие удовольствие. Станут с крыш сигать, чтобы жалостливые бабы на ручках их потаскали. Вот порода у вас! Гордецы да шутники. Егорушка, касатик, ты на какой факультет поступил?

– На биологический, хочу заниматься биологией моря.

Тетя Марфа никогда не видела моря и не стремилась увидеть.

– Что тебя влечет в пучину-то? – спросила она племянника.

Егор отвечал, что последние три года ходил в биологический кружок при Дворце пионеров, там был замечательный руководитель, а море – это почти космос, такой же неизведанный, но лежащий у наших ног.

– Мы плохо знаем гигантских обитателей океана, – говорил он, – например китов, и совершенно не изучены микроскопические особи, а они

древнейшие, выжившие за десятки тысяч лет, следовательно, несущие какие-то вещества, обеспечивающие биологическим видам почти бессмертие.

– Бессмертие – это хорошо, только если молодым оставаться, а бессмертие дряхлым да старым... Но я в науках не смыслю. Меня другое про твою биологию моря волнует. Плавать ты умеешь?

– Отлично, разными стилями, – успокоил Егор.

– Не утопнешь?

– Ни в какие штормы.

Их разговор прервался, потому что пришла из школы его сестра Аннушка, потом Настя, Митяй с Илюшей, Степка, Александр Павлович и еще какие-то женщины с детьми. Как понял Егор, тетя Марфа этих женщин и детей везла из эвакуации, и теперь они едва ли не члены семьи.

Только поздним вечером, когда посуда была вымыта, ночующие и гостующие разошлись по постелям, а имеющие собственное жилье отбыли, Егор попросил тетю Марфу:

– Расскажите мне про моего отца. Хотя вы, конечно, устали, в другой раз...

– Разве в усталость, касатик мой Егорушка, вспоминать про дорогое и милое? В усталость – это когда в бесполезность. Простоять за хлебом несколько часов на морозе, как в Блокаду было. Получила – нет усталости. За три человека до тебя хлеб кончился, окошко захлопнулось – такая тяжесть навалилась, кажется, и на четвереньках до дома не доползешь.

Они проговорили всю ночь, несколько раз кипятили чайник.

У Егора точно выросли корни, как у саженца, который считал себя самосеянцем. Шалишь! Корни – ого-го! Отец, который пошел против воли Анфисы Ивановны – матери, той еще кулачихи по фактам, хотя, по восхвалениям тети Марфы, личности выдающейся. Отец, выходец из богатой сибирской семьи, был председателем сельсовета, сражался за красных, мечтал о всеобщем равенстве, братстве и вдохновенном труде. Он создал коммуны, которая потом стала колхозом, гремела на всю страну. Они с мамой в Крым ездили отдыхать! Отец имел несколько орденов, но был костью в горле и щепой в глазу тем, кто социалистический уклад сельского хозяйства не умел организовать. Его оболгали. Колхозники-коммунары за Степана Медведева готовы были за вилы схватиться – чудом усмирили, пообещали честное разбирательство. Расстреляли его отца, колхоз зачух.

В Москву он вернулся другим человеком. За отца не нужно было на войне расплачиваться. Своим отцом он мог гордиться. Хотя то время не

вычеркнешь, и партизанское детство он бы не променял на обычное мальчишеское, безмятежное.

Василий приехал, когда уже начались занятия в университете. Егор пришел домой после лекций. Брат на четвереньках ползал по ковру, изображая лошадь, всадниками на его спине были Вовка и Котька.

– Помнишь, – заговорил Егор, – я тебя про нашего отца спросил?

– Трпру-у! Остановка! Ездокам и коню надо подкрепиться. Где тут сено? – Василий сел на пол, устроил сыновей рядом. – И что? – повернулся он к брату.

– Ты назвал меня дураком.

– Ну, дальше?

– А ты!.. Сволочь!

Егор развернулся и вышел из комнаты.

– Теперь мы черепахи, – скомандовал сыновьям Василий. – Отползаем к краю ковра, он же остров Мадагаскар, где живут самые большие, самые древние черепахи. Плюхаемся на пузо, медленно ползем... Кто последний – черепаха-победитель... Последний, а не первый! Вовка, куда ты попер? Котька, русского языка не понимаешь? – Схватил сыновей за ноги и притянул на старт, на край ковра. – Команды «Вперед!» еще не было.

– Вася! – подала голос Марьяна, сидевшая на диване.

– Я перепутал остров Мадагаскар с островом Маврикием?

– Нет. То есть я не знаю. Но так нельзя! Дурак, сволочь! Это братское общение?

– Не принимай во внимание. Он хотел узнать и когда по-настоящему захотел – узнал. Все нормально. Остальное – психология.

– Ты даже не поздравил брата с поступлением в университет!

– С этим поздравляют? Последним приполз кто? Черепаха-папа! Учитесь, короеды! Можно сесть папе-черепахе на панцирь, и он отбуксирует вас в джунгли, где растет баобаб. Нет, кажется, баобабы растут в саванне, уточните у дяди Егора. Марьяночка! Мой брат прекрасно знает, что я отдам за него жизнь, а я абсолютно уверен, что он за меня любому врагу перегрызет глотку. Остальное...

– Психология?

– Да! Не-е-ет!

В прошлый приезд Василий опрометчиво объяснил сыновьям, что делают короеды, и теперь они зубами впились в «баобаб».

Пелагея Ивановна позвонила Марфе Семеновне и сообщила,

неразборчиво шепча в трубку:

- Дома никого, я вам по секрету...
- Квартету? Не слышу, говорите громче!
- Егор привел девушку, познакомил. Студентка, вместе с ним учится.

Такая... узкоглазенькая.

- Татарва? – расстроилась Марфа.
- Казашка.
- Час от часу не легче!

Камышин, а вслед за ним и дети нередко потешались над великорусским шовинизмом Марфы. Заочно она настороженно относилась к людям других национальностей. Но стоило ей познакомиться с армянином или узбеком, и если тот вел себя вежливо и порядочно, начинала выказывать ему особое расположение, граничащее с жалостью. Им-де, бедненьким, не повезло родиться русскими.

- В твоей жалости, – говорил Митяй, – есть изрядная доля барства.
- В барах никогда не бывала, а жалость еще никому не навредила.
- Мама! – драматически вскидывал руки Степка. – По Конституции все национальности равны! У нас дружба народов.

– Ни одного человека не видела, кто б Конституцию читал. Дружба – это хорошо и правильно. Надо жить в согласии. Но они, инородцы, нас-то за своих до конца не принимают! Миша-дворник, Муса по-ихнему, своих пятерых дочерей за кого выдал? За татар! Одна девочка, вторая с конца, убежала с русским парнем. Вернули, вынудили за пропащего татарина выйти, потому-де, что порченная. Муж, изверг, ей все зубы выбил! А русский, может быть, пылинки с нее бы сдувал. Или взять Ашота, армянина, мясника на рынке... Да что там говорить! Вот у нас на Морском (Марфа поддерживала отношения с бывшими соседками) из третьего корпуса парень женился на тунгуске... или чукче? Не важно, откуда-то с Севера. Приехала ее родня на свадьбу. Батюшки-светы! Подарки – связки шкурок чернобурой лисы, да песка, да икры ведро. А в туалет не ходят! К унитазу не приучены. Во двор ходят. Пришлось для них за котельной угол досками отгораживать.

Марфа совершенно забыла, как сама, переехав в Омск из деревни, пугалась унитаза, как боялась опуститься на него и Нюраня.

- Ты опасаясь, что жена Егора, ленинская стипендиатка, станет приседать у нас во дворе на детской площадке? – спросил Степан.

Несколько дней назад мама вынудила Степана позвонить Егору. Мол, они по возрасту с Егором близки, всегда дружили, а у нее душа болит. У

мамы душа размером со стадион имени Кирова. Что он мог выяснить у брата? Говорят, у тебя невеста появилась? Верно. И как она? Что Егорка мог ответить? Что девушка, кроме всего прочего, дарит ему тепло, которое было только у мамы? «Она ленинская стипендиатка», – сказал Егор.

Ее звали Дарагуль. «Дара» в переводе с казахского значит «особая, индивидуальная», «гуль» – «цветок, красота».

Дарагуль поступила в МГУ, приехала из Казахстана по направлению. Союзным республикам были нужны образованные кадры. Таджики, туркмены, казахи, литовцы... (и далее по списку) сдавали вступительные экзамены не в столичных вузах, а у себя дома. В теории считалось, что высшее образование получают наиболее способные ребята. На практике чаще всего в Москве приземлялись дети номенклатуры. Дарагуль была исключением, одаренным ребенком из дальнего аула, который после учебы в алма-атинском интернате оказался в Москве.

Марфа готовилась к встрече с женой Егорушки, они должны были приехать на зимних каникулах. Готовилась не выказать «шовинизма», на который ей указывали сыновья и муж.

Но когда они приехали, Марфа девушку несколько часов и рассмотреть толком не могла – все пялилась радостно на Егорушку. Что счастье делает с человеком! Он как будто бы все время сдерживал желание запеть – на полную мощь заголосить или, точно пьяный, затянуть слезную жалобную песню. Как он смотрел на жену! Не глазами, даже не поворачиваясь к ней лицом: ушами, затылком, руками – всем телом. Иногда закашливался не к месту – от рвущейся потребности запеть.

Потом Марфа, конечно, девушку разглядела. Худенькая, невысокая, чернявенькая, глазки узенькие, но не совсем уж в щелочку, выражение можно угадать. Выражение было смело-трусливое. И понятно – привезли на смотрины.

– Как тебя зовут? – спросила Марфа, когда они вместе готовили еду на кухне. – Извини, запамятовала. Помню, что в переводе «редкий цветок».

– Дарагуль. Можно – Даша. Меня многие так зовут, так проще.

– Мне проще не требуется. Запомню. Иди ко мне, деточка, – обняла ее Марфа. – Спасибо тебе за Егорушку! Сейчас нагрянут, минутки не найду сказать. Береги его, он мальчик особенный.

– Я знаю. Вы похожи на мою бабушку... Ой, не потому что в возрасте! Моя бабушка вас моложе! У нас рано замуж выдают. Бабушка была такая же теплая. Благодаря ей меня в интернат родители отпустили. Я много болела в детстве, думали, не выживу. Бабушка меня лечила, клала рядом

спать, рассказывала мне сказки и еще просила выдать свой маленький секретик, который случился в этот день, или раньше, или в мыслях... Не могу правильно объяснить. Что-то дорогое, радостное или, напротив, тревожное, колющее. Я вам, как бабушке, хочу сказать, что Егор выбросил банку с осколками, которые у него извлекли из тела. Мы шли по набережной Москвы-реки, он вдруг достал из кармана банку с железками, потряс и с размаху запустил в воду. Это был для него какой-то очень важный поступок.

– Та-а-ак! – На пороге стоял Егор, уже принявший в мужской компании пару рюмок. – Обнимаются! Я никому не позволяю! Тетя Марфа, вам можно. Там, между прочим, – потыкал в сторону гостиной, – тарелок не хватает и сидений.

– Дарагуль, касаточка, тарелки в буфете в нижнем ящике. Егор, как будто не знаешь! Две табуретки, на них доску, что за дверью у черного входа.

– Точно, – потянул Егор жену на выход, – в этом гостеприимном доме весьма часто наблюдается смешение сословных атрибутов: приборы серебряные и алюминиевые, тонкий фарфор и общепитовский фаянс, стулья венские, кресла, бархатом обитые, и доска на кухонных табуретках...

– Ишь какой приглядливый! – вдогонку сказала Марфа. – Вот что биология моря с мужиками творит, али другая биология?

Дарагуль поддерживала умные разговоры и оставалась незаметной, когда ее мнением не интересовались. Она легко включилась в домашнюю работу, но не спрашивала угодливо Марфу, чем еще помочь, что еще сделать. Она была заметна, когда требовалось, и невидима, когда была лишней.

– Такая хорошая, такая славная, – говорила про нее Марфа мужу. – Совсем не русская. Ведь как наши бабы? Либо сидит пень пнем, а рот откроет, дык лучше бы молчала. Либо тараторит, слова не втиснуть. И несет-то все одну скукоту и глупость. А хочет себя хорошей хозяйкой показать – носится как наскипидаренная, бестолково. Дарагуль – иная, деликатная. Есть она – и нет ее. Статуэточка: хочешь – любишься, не хочешь – не замечаешь.

Марфа в этот момент совершала ежевечерний ритуал: сняв уложенные короной косы, расчесывала волосы, заново их заплетала. Камышин лежал на кровати и любовался.

– Главное, что Дарагуль приучена к унитазу, – сказал он. – Не то что

чукчи с Морского.

Марфа повернулась к нему и махнула гребнем: будет вам надо мной потешаться! Дети с Камышина пример берут, и все шуткуют над ней. Степка, охламон, еще и кривится хитро. Мол, рассмешить человека с чувством юмора – плевое дело, а увидеть недоумение на лице мамы – особый кайф. За «кайф» он полотенцем по шее получил. Чтоб иноземную брань к матери не применял.

– Да пусть хоть трижды инородка, – говорила Марфа, устраиваясь на постели, – пусть хоть из пучины морской. Главное, что Егорушка расцвел. Что Веркин кактус.

– Кто? – не понял Камышин.

– Верка с Морского. Кактус у нее на подоконнике – колючка колючкой. А зацвел красиво, на загляденье.

У Егора и Дарагуль долго не было детей. Долго – по Марфиным представлениям. Уж университет окончили, работали, а все бездетные. Прямо их не спрашивала, потому что если какая-то проблема со здоровьем, то своим досужим любопытством могла только разбередить рану.

Однако в разговорах с мужем ворчала:

– С Егором по телефону говорила. Диссертации они пишут-рожают! Вместо детей, что ли?

– Так и спросила?

– Не посмела.

– Каждый рождает, что может.

– А если Егорушке осколкам там, – показала Камышину в промежность, – посекло и он теперь неспособный?

– Это у меня *там* посекло, – ухмыльнулся Александр Павлович, – хоть и не осколками, старостью. А у Егора все в порядке, петух петухом вышагивает, и Дарагуль не выглядит обездоленной мужским *тамом*. Тебе бы все плодиться, ненасытная!

– Ну да, ну да. Только не зря говорится: стар, да петух, молод, да протух.

Камышину сия народная мудрость очень понравилась.

Егор с женой приехали, когда она была на седьмом месяце. Дарагуль выглядела очень молодо, ей можно было дать тринадцать-четырнадцать лет – девчонка с пузом.

Настя рассказывала, веселясь:

– Мы в Гостином Дворе стояли в очереди за пеленками-распашонками-ползунками. Тетки на Дарагуль косились-косились и потом хором

запричитали: кто ж тебя, малолетку, обрюхатил, кто ж над тобой надругался! И пустили нас без очереди к прилавку! Дарагуль, умора, кандидат наук, прекрасно изображала девочку на сносях.

Тот их приезд – последний, когда видели Дарагуль.

Родилась девочка, назвали Марией – Маней. И два с лишним года у них не получалось вырваться в Ленинград. Присылали фото Мани – узкоглазенькой, в мать-казашку, нерусская кровь сразу видна.

А потом Дарагуль умерла. От какого-то зловредно скоротечного рака. В Ленинград про ее болезнь не сообщали. Не едут, обстоятельства, отпуск откладывается.

Василий, конечно, знал. Он с Марьяной поднял на ноги лучших врачей, никто помочь не мог.

Спустя время Марфа пеняла Василию:

– Чего молчал, скрытничали?

– Вы ничего не могли бы сделать. И знаете Егорку, он человек-«ясам». Ему от постороннего вмешательства только сложнее. Но в самых тяжелых обстоятельствах он приехал к вам, тетя Марфа, а не ко мне.

Утро. Марфа с мужем и Татьянкой завтракали. Звонок в дверь. Наверное, почтальон. С ним договоренность: газеты в ящик, а когда приходят журналы, отдавать в руки, потому что тырят, а Александр Павлович много периодики выписывает.

Марфа открыла дверь. На пороге Егор. В одной руке чемодан, на другой сидит девочка, обхватив его за шею. Приехали наконец! Да что ж без телеграммы, без предупреждения! Эти ваши сюрпризы! Я бы пирогов напекла с курагой, Дарагуль любимые. Проходите! Ой, это и есть Манечка? Иди ко мне, деточка! Иди к бабушке Марфе! Легонькая как пушинка.

Она увидела, конечно, что Егор отрастил бороду, как ему и рекомендовала, но не заметила, что это не настоящая ухоженная борода, а многодневная запущенная небритость. И Егор темен лицом, и глаза у него провалившиеся в черные ямы. Встречать гостей вышли в прихожую Александр Павлович и Татьяна.

– Дарагуль-то где? – выглядывала из-за плеча прижавшейся к ней девочки Марфа. – Где Дарагуль?

– Ее нет, – ответил Егор. – Умерла. От рака. Три дня назад.

Руки у Марфы вдруг ослабели, потеряли силу. Малышку не уронила, та сползла по Марфиному телу на пол. Марфа вскинула безвольные руки, замахала ими, точно прогоняя слова, сказанные Егором.

Она видела много несправедливых смертей. Справедливых и не

бывает. Руки тряслись – то отмахивались, то звали к себе, будто призывая развеять ужас сказанного Егором. Шею стянуло жгутом, выдавливало из глаз слезы. Они были крупные и холодные, как градины...

Камышин подошел и обнял ее за талию, утешая. Он крякал и кашлял, тоже плакал. Он Дарагуль выделял из всех молодых женщин-родственниц: поразительный ум, великолепная память плюс восточная деликатность, изящество без восточного хвастовства и бахвальства. Умерла! Дикая несправедливость!

Молчание прервал Егор:

– Я вам оставлю на время Маню? Надо... надо как-то на работе и вообще... Я пошел? – Он развернулся к двери, остановился. – Куда пошел? Я к вам на три дня. Голова совершенно не варит.

– Бабушка, – подергала Марфу за юбку Маня. – Бабушка, я знаю буквы! Меня мама научила. Только она не успела научить их в слова складывать.

– Падуишь, буквлы! – Татьяна, испуганная тягостным напряжением взрослых, отлипла от ноги дедушки, которую обхватывала, как спасительный столб, и шагнула вперед. – Я то же знаю! Фы! Это буквла, а не кода мимо гольшка написикашь!

Девочки были одногодками. Маня говорила удивительно чисто, Татьяна по-детски коверкала звуки. Маня была на полголовы ниже Татьянки и заметно худее.

– Эф, – сказала Маня, косясь на Татьянку. – Буква называется «эф».

– Фы!

– Эф!

– Дедуська! Скажи ей! – требовала от Камышина Татьяна.

– Строго говоря, Маня права – «эф». Но милым барышням есть что обсудить, кроме алфавита.

– У меня есть куквла! – тут же завопила Татьяна. – Дедуська подалил. Она с лесницами, хлопсь-хлопсь, и «мама» пвлачет! Падем, – потянула Танюшка Маню за руку, – паказу!

Девочки ускакали. Сначала Татьяна, припрыгивая, понеслась в детскую, за ней, подражая, поскакала Маня.

Марфа уладила руки, и слезы перестали литься, только носом шмыгала. Егор стоял безучастно, как мумия, которую подняли из гробницы и которой было тошно принять вертикальное положение, смотреть на живой мир.

Камышин отвернулся, чтобы вытереть слезы украдкой, потом дернулся, развернулся и ладонями вытер лицо. Чего стыдиться праведных

слез?

Камышин заговорил почему-то строго, в его тоне больше было суровости, чем отеческой доброты. Будто он гнался за виновником горя, за врагом, противником, не поймал и теперь злится.

– Егор! Застыл в дверях, как неродной. Проходи, снимай ботинки. В душ, потом завтракать. Побрейся! Хватит траур на лице носить. Траур не на физиономии, а в сердце. Марфа! Стакан водки ему на завтрак! И мне... полстакана... четверть. Потом пусть спать ложится и дрыхнет до морковкиного заговенья. Ну, случилось! – взмахнул руками Камышин, почти в точь как Марфа. – Ну, умерла Дарагуль! Так вышло, так есть! И хватит стенать!

Никто из них не стenal, ни слова вслух не произнес. Но, казалось, дышать невозможно от криков беззвучных.

– Егор?

– Я вас слушаю, Александр Павлович.

– В ванную – мыться-бриться, – повторил Камышин. – Надеть чистое. Завтрак, водка и спать. Приказ понятен?

– Так точно, – со слабой усмешкой ответил Егор и поковылял в ванную.

Он проспал почти двое суток. Когда очнулся, никого не хотел видеть, ни с кем разговаривать, просил его извинить. Приходили Настя с Митяем, Илюша, видели его спящим. Нюраня в тот момент гостила, Егор ее не заметил, потому что на глаза не лезла, с девочками играла, уводила их на улицу. Так они выбегивались, что падали замертво.

Егор, побритый, выпавшийся, стал еще страшней бородатого. Мощи, а не мужик. И все-таки он держался. Не за Маню, не за свой долг ее поднять-вырастить. По взглядам было видно. Так ему больно на дочь, похожую на мать, смотреть, что зажмурился. Держался за что-то свое, Марфе непонятное. Но ведь главное, что держался!

Марфа не отпустила его до девяти дней, до поминок. Егор не хотел никаких поминок, Марфа настояла. Чтоб по-людски, по-христиански. Она и Васю с Марьяной из Москвы вызвонила: приезжайте хоть на день, обратно с Егорушкой вернетесь, ему одному сейчас негоже оставаться, совсем высохнет. Аннушку Марфа найти не сумела. Слала телеграммы по последнему адресу – адресат выбыл. Теперь ждать письма от Аннушки с нового места. Очень Аннушка была бы сейчас кстати. Она расстроится, что не смогла утешить брата в горькую минуту.

Егор думал, что поминки превратятся в бесконечный плач, в болезненное отщипывание кусочков сердца. Потом смирился и махнул

рукой. Еще больнее быть не может, а сердца у него не осталось.

Неожиданно для него поминки оказались не заунывным действием, а светлым и даже с улыбками застольем. Никто не причитал, не проклинал судьбу и не пускал слез. Вспоминали Дарагуль: у каждого имелся какой-то рассказ, эпизод, с ней связанный, часто – смешной. И слова: «Светлая память!» – после каждого рассказа-тоста, перед тем как выпить, не чокаясь, для всех сидящих за столом были не пустым звуком, не ритуальным заклинанием. Его родные действительно любили его жену и будут помнить.

Спустя два месяца Егор получил от Аннушки письмо. О смерти Дарагуль сестра узнала от тети Марфы. Аннушка писала сердечно, трогательно, чувствовалось, что много плакала. Деликатно спрашивала, была ли Дарагуль крещеной? Чтобы молиться за спасение ее души. Егор понятия не имел о вероисповедании умершей жены.

Маня осталась у Марфы навсегда. Марфа не лукавила, когда говорила Егору, что с двумя внуками ей легче. Один ребенок – в два глаза смотри, два ребенка – вполглаза присматривай. Потому что они сами себя занимают, играют.

Егор никогда не заводил разговор о том, чтобы забрать дочь. Ему некуда было ее забирать. Он превратился, как говорила Марфа, в бродягу. Была такая порода мужиков в Сибири – охотники, артельщики, золотоискатели. Ни семьи, ни дома, ни хозяйства – усидеть на месте долго не могут, тянет их в тайгу неудержимо. Порода не перевелась и по сегодня. Геологи, нефтяники, рыбаки, полярники. Им чем суровей условия, тем больше интереса. Конечно, какой интерес ходить на работу к девяти утра и возвращаться после семи! Одно слово – бродяги.

Егор большую часть года проводил в экспедициях. Изучал зоопланктон в Баренцевом, Охотском, Беринговом морях. Потом стал полярником – работал биологом на полярных станциях в Арктике и в Антарктике. Отпуск у него был длинный, по три месяца, из которых один проводил в Ленинграде, с дочерью. Возвращался в Москву, обрабатывал результаты, публиковал статьи, книги – определители зоопланктона северных морей России, защитил кандидатскую диссертацию. И снова отправлялся в места, где никакая живность, кроме человека, не выдержит.

Егор не был краснобаем, но, когда его просили, рассказывал об экспедициях. Про святое место на полярной станции – дизельную электростанцию, при которой всегда дежурный. Если станция остановится, жизни останется на полчаса, никакая одежда или костры не спасут. Зимой в Антарктике за минус 60, летом «жара» – минус 30–50. И еще сильная

нехватка кислорода, высокое давление, разреженная атмосфера, осадков выпадает мало, поэтому почти абсолютная сухость. Акклиматизация у многих больше месяца занимает. Быстро ходить, поднимать тяжести, делать резкие движения нельзя – сразу темнеет в глазах, одышка, а то и обморок. Егор рассказывал, как в таких условиях люди работают, ведут исследования, ликвидируют аварии, пишут оптимистические письма домой. Взаимовыручка у полярников не черта характера, а способ выживания.

Егор рассказывал, а у Митяя, Степки, Василия, Илюши появлялась в глазах тоска – завидуют, понимала Марфа. В каждом мужике живет бродяга. Дык ведь если бы Дарагуль не умерла, не мотало бы Егора по Северам!

– Есть у тебя женщина? – спрашивала она племянника.

– Есть. Зовут Ирина.

– А дальше? – допытывалась Марфа, которой имя ничего не говорило.

– Дальше у нее есть сын, тяжелый инвалид с рождения. Воспитывает сама, в интернат не отдала.

Егор всегда честно отвечал на вопросы, то есть из него клещами надо было тащить.

– Что родной отец? Бросил их?

– Да. Подлец с идеологией. Я ему, кстати, морду набил.

– Егорушка!

– Все нормально. Мы работаем в одном институте. Ушел ты от жены и больного ребенка и помалкивай. А он не затыкался, мол, бессмысленно свою драгоценную единственную жизнь испортить ради уроды, который не способен оценить жертву. Мальчик Ирины, Саша, он... как дикий волчонок, не говорит, только воет, никого, кроме Ирины, к себе не подпускает. Я раз сказал доблестному отцу – заткнись, два раза сказал. Не внемлет. Оправдывается, очень нам нужны его аргументы! Я не выдержал, врезал ему по бесстыжей харе. Ребята меня поддержали.

– Добили? – ахнула Марфа.

– Нет, просто посоветовали перевестись в другой отдел.

Тетя Марфа переваривала услышанное. Егор не стал продолжать. Не рассказал, как через несколько дней ему позвонила Ирина, которой стало известно про избиение и обструкцию бывшего мужа. «Приезжай ко мне, пожалуйста, – попросила она. – Мне хочется повеситься». Он приехал и остался.

– Ирина тебе как жена? – заволновалась Марфа.

– В определенном смысле.

- Ты мне без смысла, но определенно скажи. Действенная жена?
- Тетя Марфа, давайте уточним термины. Действенная – это какая?
- Которой деньги отдаешь.
- Отдаю, конечно. Большую часть вам отсылаю. Если мало...
- Хватает. Егорушка, ты же не забереешь Маню?
- Не планировал, но если вы устали...
- Где устала? Где устала-то? Если ты Маню увезешь, то я... я, – Она не могла с ходу придумать угрозы пострашнее. – То я заболую!
- Не надо болеть, – улыбнулся Егор. – Все сложилось, как сложилось.

Митяй и Настя

Митяй говорил о себе: «Всегда мечтал стать художником и теперь работаю художником». Непосвященный в обстоятельства его биографии человек мог не услышать в этих словах горькой самоиронии. Как если бы кто-то заявил: «Я мечтал быть шофером и теперь вожу автобус», – что здесь особенного? На самом деле смысл был иной: «Я всегда мечтал о космосе и теперь заправляю ракеты».

Васе и Митяю не исполнилось и двадцати лет, когда они вернулись с Войны. Оба инвалиды: у одного ноги нет, у второго из-за контузий посттравматическая эпилепсия. У обоих противоречивое отношение к общественному мнению. С одной стороны, это мнение им безразлично: чужие оценки, характеристики, сплетни, наговоры, как и похвалы, оставляли их равнодушными. С другой стороны, желание скрыть свою ущербность от окружающих у Василия доходило до самоистязания, а у Митяя вызывало желание спрятаться от всех и вся.

Митяй считал, что брату проще: научился на протезе ходить, вгрызся в учебу, окончил университет экстерном. Он же, Митяй, и среднего образования не получил, хотя оставался только последний класс. Демобилизовавшись, поступил в вечернюю школу, там случилось несколько приступов, на него стали смотреть с жалостью и опаской, как на припадочного. Он и был припадочный. Школу Митяй бросил.

Два года работал в строительной бригаде, занимавшейся расчисткой города после Блокады. Мать, Камышин, жена Настя нет-нет заводили разговоры о том, что ему надо получить хорошую профессию. Как будто не понимали, что с его болезнью, его проклятием путь в нормальную жизнь заказан. Пойдет он на предприятие учеником слесаря, пекаря, сварщика. Во время припадка тукнется носом в станок. Умереть не страшно, противно жалость вызывать. Митяй ненавидел свою болезнь, упоминания о ней и в то же время злился на родных, которые забывали об его ущербности. У него есть работа, приличная зарплата. И отстаньте от меня!

Работа в самом деле была правильная – тяжелая, мужская. Он ведь физически силен и ловок. Косая сажень в плечах, семь пядей во лбу – припадочный эпилептик.

Помощником художника в кинотеатр Митяй устроился случайно. Проходил мимо, откликнулся на просьбу рабочего спустить в подвал

тяжелый щит со старой афишей. В большом подвале находилась мастерская. Художник в заляпанном краской халате был пьян вусмерть. Раскачивался, держал к руке кисть, смотрел на нее, прищурив один глаз, явно не соображая, что с ней дальше делать.

– Давайте я вам помогу? – предложил Митяй.

– Ты кто?

– Меня зовут Дмитрий.

– А я Леонардо! Слышал о таком?

– Конечно, я слышал о Леонардо да Винчи.

– Не очень-то тут! – Леонардо помахал кистью, грозя. Брызги желтой краски оросили его лицо, но он даже не заметил.

Шатаясь, едва не падая, добрал до стены, где стояла кушетка, заброшенная каким-то тряпьем, рухнул и мгновенно уснул.

– Хороший дядька, – сказал рабочий, – но пьет по-черному. Теперь его точно уволят. Завтра в десять утра афиша должна висеть. А он, видишь, только ноги успел нарисовать.

– Где образец, с которого он срисовывал? – спросил Митяй.

Он работал до позднего вечера. Было бы преувеличением сказать, что испытывал вдохновение, но удовольствие – определенно. На следующий день утром Митяй пришел в мастерскую, чтобы ответить за труд. Леонардо, без следов краски на лице, трезвый, умытый, но в том же грязном халате подправлял что-то на афише, нарисованной Митяем. По испитому, опухшему лицу художника невозможно было определить его возраст, ему могло быть и сорок, и шестьдесят.

– Здравствуйте, Леонардо!

– Чего? Ты кто такой? Как ты меня назвал?

– Как вы представились вчера.

– Это ты? – кивнул на афишу художник.

– Я.

– Дилетантство, мазня, но спасибо! Игорь Семенович! – протянул руку, заметно дрожавшую.

– Дмитрий.

– Слушай, Дмитрий, уважь! – Тон изменился, из брызжащего превратился в просительный. – Сбегай за чекушкой, будь другом! Вот деньги, – торопливо совал он мятые купюры.

– Да где ж я сейчас достану?

– Продовольственный за углом, с черного хода зайди, спроси Любу, скажешь, что от меня.

У художника было два имени: Игорь Семенович – в короткой

трезвости, и Леонардо – в почти беспробудном пьяном состоянии. Продавщица Люба в первый раз не поняла, на кого Митяй ссылается. Потом сообразила – это ж Леонардо. Дала не водку, а пять бутылок пива, по цене коньяка. Велела нести завернутыми в газету, а не в авоське. Мужики увидят, налетят, а ей неприятности из-за всяких алкоголиков не нужны.

Митяя оформили подсобным рабочим. Он трудился с Леонардо чуть больше года. Художник передал ему некоторые секреты мастерства по написанию громадных, три на пять метров, «полотен» и приучил к спиртному. Когда Леонардо умер, Митяя оформили на ставку художника. Директор закрыл глаза на то, что у Медведева нет специального образования. Зато имелось направление по трудоустройству инвалида.

Жизнь афиши на стенах кинотеатра была короткой: неделя-две. Затем она снималась, в подвальной мастерской со щита смывалась краска, наносилась свежая грунтовка, чтобы поверх нее возникла новая афиша. Митяй к своим «произведениям» относился скептически. Хотя, с точки зрения Насти, ему прекрасно удавалось передать портретное сходство артистов, юмор в рекламе комедий, напряженную динамику приключенческих лент и лиричность мелодрам. Она даже хотела фотографировать афиши Митяя. Поделилась с ним мечтой – достать цветную пленку, найти лабораторию, где бы ее проявили и сделали снимки. Муж отнесся к ее планам с отвращением, будто она свиней в квартире предложила разводить.

Насте очень хотелось, чтобы Митя писал настоящие картины. Ведь до Войны он мечтал, подавал большие надежды. Ей хотелось, чтобы муж вернулся к творчеству, не потому, что она была честолюбива, не из собственных амбиций и даже не с целью поднять самооценку Мити. Настя чувствовала в нем глухую, безнадежную тоску. Внешне красавец: высокий, сильный, спокойный, доброжелательный, улыбчивый. А внутри – выжженное поле. Но ведь какие-то угольки остались? Надо их только раздуть.

– Все из-за болезни, да? – спрашивала она. – Но эпилепсия не помешала...

– Знаю, тысячу раз слышал про то, что эпилепсия не помешала многим великим людям.

– Тогда почему ты...

– Потому что я – это я! Потому что кроме великих эпилептиков есть еще тысячи совершенно невеликих, но, скажем мягко, подававших надежды. Это как вырвать из человека что-то важное, что не восстановится,

заново не вырастет. Зуб, например. Помнишь, как бабка Агафья говорила? «Жубов нет, а так вяленой оленинки хочется. Дык я ыё хоть пососу». Мои афиши – тот самый процесс, пососать. И я прошу тебя не заводить этот разговор! Он мне крайне неприятен!

Настя сдаваться не желала и снова начинала старую песню.

Митяй ее попросил, она не послушалась. Сама виновата. Разозлила. В гнев богатыри-тихони могут не соизмерять силу удара, а мирный добрый человек – оскорбит тебя больней, чем самый отпетый негодяй. Митяй был и богатырь и добряк.

– В жизни многих творческих людей, – говорила Настя, – бывают периоды бессильного страха. Скажем, певец потерял голос, его лечили, доктора говорят, что связки в порядке, а он боится запеть, не взять ноту. Или писатели! Сколькие из них кружили вокруг письменного стола, смотрели на него как на эшафот и как на место в раю одновременно. Или художники...

– Чего ты от меня хочешь? – перебил Митяй.

– Чтобы ты взял краски и начал писать.

– Зачем?

– Потому что это тебе нужно!

– Ты лучше меня знаешь, что мне нужно? Или тебе не дает покоя элементарная женская досада? Я тебя разочаровал? Ну, извини!

– Ты меня не разочаровал! – возмутилась Настя. – Я тебя люблю! Я хочу, чтобы ты был счастлив! Нужно просто делать! Взяться и делать! Пробовать, пробовать! Митя, что-то пробовать! Ведь у тех... из тех, про кого я говорила, кто-то запел, начал-таки сочинять, писать...

– Рад за них. Может, тебе денег не хватает?

– Хватает, более чем.

– Тогда задумайся на минуточку: я тебя не упрекаю в том, что у нас больше нет детей.

Это был удар жестокий и несправедливый.

Митяй сорвал со стены свою юношескую работу – Настя, летящая над городом, подражание Марку Шагалу. Митяй с размаха ударил картиной по столу, рамка сломалась, стекло треснуло. Митяй вытащил картон, порвал на кусочки и бросил Насте в лицо.

Это была ее любимая картина.

В первую сибирскую осень, в холода, еще не оправившись от блокадного голода, Настя работала на ферме и застудила «придатки» – так бабы называли внутренние женские органы. Настя мучилась болями, и

народные средства помогали плохо. В Ленинграде ей поставили диагноз хронического воспаления, долго лечили. Папа достал пенициллин, в который верили как в чудо. Воспаление приглушили, но вынесли приговор бесплодия.

Тетя Нюраня объяснила, что у нее в маточных трубах спайки, которые мужские клетки не может преодолеть,дохнут, как рыба перед плотиной.

Видя отчаяние Насти, тетя Нюраня скрепя сердце рекомендовала ей врача:

– Эта методика не утверждена, не принята министерством и не рекомендована для лечения. Однако и не запрещена. Она зверская. С другой стороны, я принимала детей у женщин, которые благодаря этому методу забеременели.

Методика заключалась в инъекциях молока в ягодицу. Через несколько часов после укола начиналось воспаление – всего! Всего организма. Температура за сорок, небо с овчинку, бред, погибель и полеты в космосе... Не помогло, спайки не рассосались. Детей она больше иметь не будет.

После той сцены Настя чувствовала себя избитой. Муж пальцем ее не тронул, но тело болело, не слушалось, ноги подкашивались, а руки не могли удержать карандаш или вилку. Митя извинился. Сказал, что сожалеет.

У них и раньше бывали ссоры, они дулись друг на друга сутки, много – два дня. Примирение было таким счастливым, что ради него стоило почаще ссориться. Митя обнимал ее и говорил что-нибудь вроде того, что он большой идиот, а она маленькая-маленькая идиотка. Нет, возражала Настя, не честно, ты и так везде большой, у тебя сорок шестой размер ноги, а у меня тридцать пятый, поэтому пусть хоть идиоткой я буду громадной, а ты маленьким глупеньким несмышленьшцем. Через несколько месяцев они вспомнить не могли: из-за чего мы на майские поругались?

Митя сказал, что сожалеет. Настя бросилась к нему со всхлипом, обняла. Ждала, что он сейчас скажет что-нибудь смешное, поднимет ее, закружит... Митя отечески похлопал ее по спине и спросил, что у них на ужин.

Никому из своих приятельниц Настя не могла рассказать о случившемся. Она всегда держала марку. У нее идеальная семья: восхитительный муж и прекрасный сын. Настя Медведева благородна, изящна – аристократична. Она не ноет, не плачется, не жалуется на жизнь. Как ее мама. Настина мама считала унижительным пожаловаться даже на мозоль.

Марфе поплакаться? Но Марфа – это таблица сложения, умножения в лучшем случае, для нее квадратное уравнение психологических семейных вывертов – блажь. Чего Насте нейдет? Сыночек любимый Митяй (у Марфы все любимые) при хорошем заработке, а дом их при достатке. Митяй добрый и покладистый. Вот только не много ли за воротник закладывает? Много! Если бы Митя не был с похмелья, той безобразной сцены, возможно, не случилось бы.

До отпуска Марьяны, которая привезла на ленинградскую дачу троих детей, Настя ходила избитой. Марьяне можно было рассказать все.

Они уложили детей, забрались с ногами на диван, свет не включали – белые ночи.

Марьяна выслушала и сказала задумчиво, будто припоминая что-то свое собственное:

– Мужики... они такие.

– Все мужики? – спросила Настя, слегка обиженная тем, что Марьяна обобщает.

– Обо всех судить не могу. Но Василий, Егор, Митяй и даже Степан. Коллеги Василия. Уникальные личности, гениальные умы, они же тираны и непереносимые монстры в быту. Понимаешь, у них, у настоящих мужиков, есть что-то такое, куда они не хотят никого пускать. Они не скрывают, прямо говорят: «Не лезь, пожалуйста! Очень тебя прошу!» Но разве нас можно удержать? Ведь мы хотим для них самих как лучше. И мы лезем со своими вопросами, советами, пожеланиями. Первая попытка – поражение, но урок нами не усвоен. Нам снова говорят: «Не надо сюда ходить!» Говорят в общем-то деликатно, но именно эту деликатность мы принимаем за пригласительный билет, нам кажется, что тропинка протоптана. Следующий благородный приступ... И мы получаем разряд тока, от которого не знаешь, где земля, а где небо. Тебя раздавили, стерли в порошок и даже не пришли с веником и совком, чтобы тебя с пола собрать, заново вылепить.

– У тебя так было? – удивленно спросила Настя.

Она считала, что Марьяна и Василий летят, скользят по жизни гармонично, точно конькобежцы – не фигуристы, а именно спортсмены на беговых коньках – взявшись за руки, на параллельных дорожках. В спорте так не бывает, там соревнуются, один другого стремится обогнать на финишной прямой. Но у Васи и Марьяны было параллельное скольжение рука об руку.

– Увы! – сказала Марьяна. – Наступать на грабли – национальная

забава русских женщин. У меня... у нас, – поправились, – ведь есть Галя. Когда у нее романтическое приключение, то тишь, блажь и божья благодать. Когда ее бросил очередной любовник, начинается мотанье нервов и шантаж детьми. Я хочу помочь Василию и предлагаю варианты. Он говорит: «Не вмешивайся!» Как не вмешиваться? Ведь мой план великолепен как стратегически, так и тактически! И в этот момент благого порыва я получаю, фигурально выражаясь, оплеуху, после которой без совочка меня не собрать.

– Невозможно представить! – мотала головой Настя. – Василий! Такой всегда спокойный, выдержанный! А он гад!

– Гад в десятой степени! Настя, что мы пьем? Такая лексика пошла...

– Настойку Марфы, клюквенную.

– Сладенькая, но, по-моему, очень хмельная.

– На спирте, у нее провизор в аптеке знакомый. На чем мы остановились? Василий гад в десятой степени. Тогда у Митьки степень вообще зашкаливает.

– Однажды я вещи собрала. Кончилось терпение. За мной комната в Марьиной Роще числится. Уеду с дочкой, пусть он тут сам, сколько можно... Приходит. Чемоданы и узлы увидел, всё понял. Я в шапке на голову натянутой, уши закрывающей. Не смейся только! Шапка – это, я придумала, как шлем, против его волн. У физиков ведь всё волны и волновые теории. Не проговорись! Если Вася узнает про шапку от волн, он три года хохотать будет. Есть у меня шапка! Когда хочу защититься от своей любви к нему и от его ко мне, натягиваю эту шапку.

– Классно придумала! – восхитилась Настя. – Я тоже такую шапку хочу. Нет! Комбинезон, чтоб от макушки до пяток закрывал. Митя действует на все мое тело. Дальше что?

– Вася говорит: «Можешь уехать. Но ты должна знать, что ты – моя единственная женщина, была, есть и будешь. Катись на все четыре стороны!» И дальше очень логично добавил, что если я сделаю хоть один шаг, то он все мои чемоданы и узлы выбросит в окно к такой-то... нецензурной матери. Он редко ругается. Если заматерился, значит, на работе совсем плохо.

– Ты осталась?

– Естественно. Но я осталась красиво! Я ему сказала: «Вынеси мусорное ведро! Вобла, которую вы прошлой ночью поглощали под пиво и научный спор, воняет отвратительно!»

– И он?

– Вынес ведро.

– Это настоящая любовь!

– Ага. Но заодно выкинул и пустые бутылки. У нас их три дюжины накопилось! Каждая, если сдать, девять копеек штука!

– Советские физики не мелочатся. В графинчике еще осталось. Разольем? После Марфиных настоек головной боли не бывает.

– Гулять так гулять! – махнула рукой Марьяна. – Раз пошла такая пьянка, то, внутренне оправдывая себя, как бы желая переключить тебя на иные проблемы, которые, по-моему, давно назрели, я хочу повести речь о том, что, возможно...

– Марьяна, перестань ходить вокруг да около, я усну под твои реверансы. О чем ты ведешь речь?

– О материнской любви. Это страшная сила. Цунами, сель, схождение гранитной плиты – ничто по сравнению с материнской любовью. Задавит – не продохнешь. Клара пихает в рот Эдюлечке кусок за куском. Она его любит безумно, и ее любовь цветет его кормлением. Рациональность, здравый смысл отсутствуют полностью. Думаю, что-то могла бы сделать тетя Нюраня, но это проблематично. У Клары две страсти: кормить сына и ненавидеть мать, муж давно под каблуком. Настя! Еще раз извини за аналогию! У тебя прекрасный сын! Он очень верный! От слова «верность». Илюша верен тебе, отцу, бабушке. Он редкий мальчик! Я же знаю Вову и Костю! Это другие дети. Настя! Нельзя, неправильно не давать сыну воздуха! Художественная школа, фехтовальная секция, бассейн, репетитор по английскому, репетитор по немецкому, кружок моделирования, студия балетных танцев... С утра до вечера! А ведь есть школа, где надо получать хорошие отметки, делать домашние задания! Илюша старается тебя не разочаровать, тянет и тянет. Ты видела, как он бросается к бабушке Марфе, когда приезжает на дачу? Потому что Марфа – это свобода! Илья умный и имеет право на выбор, он не должен страдать, миллион раз извини, потому что у тебя больше не будет детей. Дай ему волю, дай ему стать мужчиной! О, ужас! Что наговорила! Ты плачешь...

– Всё правильно... Но что мне остается? Ученики в музыкальном кружке при Доме пионеров. Милые детки, провалившиеся в музыкальную школу на экзаменах, а родители хотят, чтобы они на пианино играли. Пьющий муж, рисующий громадные картины, называемые афишами, которые мне нравятся, а он за это меня презирает. И теперь сложить крылья? Выпустить из-под них самое дорогое, Илюшу? Я сумасшедшая мать, знаю.

– Но тогда должна знать и то, что у сумасшедших матерей здоровых детей не бывает. Он хочет заниматься хоккеем, а ты настаиваешь на

плавании и фехтовании.

– Хоккей – крайне травматичный вид спорта, а в бассейне он не утонет. Фехтование – это благородное рыцарство.

– Так *ты* считаешь, но не Илюша. Митяй пошел по линии наименьшего сопротивления. Сын не жалуется, а мать ребенку вреда не нанесет. Еще какого нанести может! Илюша и Эдюлечка либо превратятся в хлюпиков, маменькиных сынков, либо вас ждет конфликт, война, бунт. Пушкин про русский бунт сказал – бессмысленный, беспощадный. В отношении бессмысленности я бы поспорила, а беспощадный – безусловно. Бунт ребенка против родителей – тот же русский бунт, но в миниатюре.

– Тебе легко рассуждать, у тебя дочь.

– Во-первых, мне Егор достался подростком с такими проблемами, что Макаренко и не снилось. Во-вторых, ты меня совсем уж не исключай из воспитания Володи и Кости. В-третьих, Вероника – еще тот фрукт. У девочек, знаешь ли, тоже свои черты. Не углядишь – превратятся в демонов.

– Что ты предлагаешь конкретно? – насупилась Настя.

– Перестань его водить как первоклашку за ручку в школу, в секции. Он стесняется твоей опеки, твоего страха, твоего постоянного вмешательства в каждый момент его жизни. Это его жизнь!

– Одного по улицам? В транспорте, через перекрестки, в метро?

– Вот именно. Человека можно переводить за ручку на пешеходном переходе, а можно объяснить функции светофора.

– Марьяна! Я не ожидала от тебя такой отповеди!

– Это не я. Это все Марфина настойка.

Поговорив с Марьяной, Настя всегда чувствовала и облегчение, и какие-то изменения в себе, и новый интерес к жизни. Так случилось и в тот раз, хотя Настя ушла спать обиженной, а утром Марьяна выглядела так, словно забраковала весь Настин гардероб. Настя была модницей и трепетно относилась к одежде.

– Ты на меня сердишься? – спросила Марьяна за завтраком.

– Я в процессе выхода из сердения... Так по-русски можно сказать?

– Нельзя, но неважно. Простишь меня?

– Только если ты свяжешь мне на спицах или крючком противоволновой комбинезон.

После того как Марьяна открылась Насте, призналась в том, что в ее семье не всегда светит солнце и бурлят жутко умные разговоры ученых, и

Дубна – хоть и оазис, но не рай, от семейных передраг никуда не деться; после того как Настя приняла политику невмешательства в дела сына-подростка и только в письмах Марьяне признавалась, чего ей это стоит; после того как их дружба вышла на новый, высший виток... Марьяна стала приезжать в Ленинград без маски женщины, у которой все хорошо, лучше не бывает. С потухшими глазами, набухшими веками, опущенными уголками губ, вялая и безучастная.

Сколько можно выносить унижительное положение? Одно дело поддержать Василия, когда его песочили на парткоме, другое – терпеть, когда все открылось, косые взгляды, отвечать на нелестные вопросы или выслушивать сочувственные уверения в том, что у них прекрасная, хоть и не официальная семья. Медичка, законная жена Васи, когда они оставались с глазу на глаз, могла бросить Марьяне в лицо оскорбления. И ведь не пожалуешься Васе, не скажешь ему: Галя меня обозвала шлюхой, которая увела у нее мужа. Мол, она была девушкой честной, когда тебе отдалась. А меня ты, по ее мнению, к люстре подвешивал в животной страсти. И до сих пор я тебя удовлетворяю постыдными методами проститутки. Вася бы только удивился: «Зачем слушать глупую дуру?» Когда Марьяна дарила Володе и Косте подарки, о которых они давно мечтали (настольные игры, футбольный мяч, тома Детской энциклопедии), мальчишки говорили: «Мы скажем маме и бабушке Пелагее, что это папа купил».

Настя не умела анализировать чувства и делать выводы из мотивов и поступков с научной, бесстрастной логикой, как научилась Марьяна в кругу ученых. Настя твердо знала, что Марьяне, в отличие от нее, Насти, не нужно умных разговоров. Когда Марьяна походила на куклу-марионетку, забытую кукловодом, брошенную в углу, Настя вела ее в Русский музей или в Эрмитаж. На экскурсию к одной картине. Рассказывала о художнике, о конфликте со временем (необязательном) и конфликте страстей (обязательном), об истории создания полотна, его восприятии современниками и потомками, о композиции и технических средствах достижения потрясающего эффекта. Она приводила к тем картинам, которые не просто любила, с которыми чувствовала пребывание в общей Вселенной. Многие, но не все из полотен ей открыл Митяй – давно, еще до Войны. Теперь он редко ходил в музеи, только на интересные выставки.

После музея они обедали в ресторане на Невском, пили кофе с мороженым и пирожными, шли пешком до театра или консерватории – их вечерняя программа. Они не говорили о мужьях и детях, как это бывало, когда Настя пребывала в эмоциональной раздраенности, – они обсуждали театральные постановки, книги, статьи в «Литературной газете»

и публикации в толстых журналах.

Вася, открывая им дверь поздним вечером, спрашивал:

– Ну как, девочки? Культурки хапнули?

Митяй хмельно смеялся, вряд ли слышал в словах брата нарочитую вульгарность. К вечеру, к каждому вечеру, Митяй был изрядно пьян.

В этот момент Настя и Марьяна чувствовали свое особое единение. Особое, потому что не от врагов или недоброжелателей, а от любимых мужчин отъединение. Потому что все виденное, слышанное, переговоренное за день поднимало их над этими пропьянствовавшими братиками.

– Завтра поедem на дачу спасти тетю Марфу от детской орды, – говорила Марьяна, когда они укладывались спать в отдельной от мужей комнате.

Отдельной, потому что от мужей несло перегаром.

– Но если ты снова устроишь «Зарницу», в старом прочтении – «казаки-разбойники», – отвечала Настя, – то я отказываюсь быть пулеметчицей в засаде. Пойду в санитарки, как Вероника. Ты у стенок? Залезай.

– У меня идея устроить облегченный вариант «охоты на лис».

– Где мы возьмем лисиц?

– Это не натуральная охота на зверей, а радиоспорт. Люди в наушниках, с антеннами в руках бегают по лесу и пеленгуют друг друга. В нашем варианте будут записочки, по цепочке: нашли одну, в ней координаты другой... и так до приза.

– Торт надо бы купить, не успеем до электрички, – сонно бормотала Настя. – Марфу попросим каравай испечь...

Они уже давно отказались от личных призов в играх и соревнованиях разновозрастных детей. Отчаяние проигравших было душераздирающе безутешным.

Они повозились на постели, прижимаясь друг к другу спинами, обнимая каждая свою подушку. Заснув, напоминали сиамских близнецов с общим позвоночником. Но вряд ли сросшиеся сестры могли бы дружить так, как дружили они.

Митяй хорошо зарабатывал. Помимо кинотеатра, брал заказы в художественном комбинате – шаблоны Досок почета, наглядная агитация, спрос на которую резко возрос после разоблачения культа Сталина. Его портреты исчезли с улиц, со стен предприятий, учебных заведений,

вокзалов – отовсюду. Их требовалось срочно заменить на Ленина, Маркса и Энгельса, чьи профили, друг за другом, Митяй мог рисовать с закрытыми глазами. На комбинате он подрабатывал, оформляя трудовой договор на каждое изделие. Но еще была халтура – та же наглядная агитация, но без договоров через бухгалтерию, деньги из рук в руки от руководства предприятий.

Мужской долг, который сибиряки-предки понимали как неустанную заботу об укреплении хозяйства, трансформировался у Митяя в погоню за деньгами.

Они купили кооперативную квартиру, потом автомобиль «Москвич». У многих женщин в шестидесятых годах было по два платья – на лето и зиму. Сносилось одно, то есть до дыр протерлось, шьется новое на замену. А Настя у великолепных питерских модисток заказывала наряды – от нижнего белья до пальто. Втридорога переплачивала спекулянтам за импортную обувь и сумочки. Маникюр, педикюр, стрижка, завивка, укладка волос – без очереди, благодаря щедрым чаевым. Настя все больше походила на свою маму, для которой внешний лоск, изысканность были сутью бытия. Настя помнила, как перед войной мама радовалась присоединению прибалтийских территорий. От политики мама была страшно далека, но из Прибалтики хлынули модные вещи, косметика – от спекулянтов, конечно. Настя была комсомолкой и презирала маму, вокруг которой крутились скользкие личности, и презирала папу, который (коммунист!) потакал маминым прихотям. А теперь все повторилось с ней самой, она превратилась в «даму полусвета», как она себя не без иронии называла. Только папа никогда не был пьницей, хотя и ценил выпивку под хорошую закуску.

Митя губит свой талант. Митя не хочет ее слушать. Мите нравится, что она выглядит стильно. Митя алкоголик.

Настя десять лет терпела пьянство мужа. Хотя какое уж терпение, когда срываешься за полночь, мчишься на такси в мастерскую. Находишь его там – спящего в одежде на топчане. И это счастливый вариант. Потому что чаще не находишь и не знаешь, где искать, случился ли у него приступ, валяется ли он в канаве, под забором, на панели, и люди обходят его брезгливо, не зная, что после эпилептического припадка Митя несколько часов спит беспробудно. А на дворе зима, или ранняя осень, или поздняя холодная весна. Замерзнет, погибнет! Обратно на такси домой. Утюжить до рассвета территорию от шоссе до их дома – он мог приехать и не дойти. Шесть утра, вернуться домой, приготовить Илюше завтрак, сделать

хорошую мину – папа заночевал в мастерской, у него срочная работа. Илюше шестнадцать лет, он все прекрасно понимает, он играет в мамину игру: папа много работает, очень устает...

Если бы Митя на минутку задумался, трезво включил мозги, заметил бы, что сын давно ни о чем его не спрашивает, не советуется, не говорит на отвлеченные темы, даже про свой любимый спорт.

Настиню мужественное подавление в себе сумасшедшей мамы гармонично вросло в Илюшины потребности самостоятельности. Он обладал средними способностями в музыке и в рисовании, средне учиться в школе, был начитан, культурно информирован, хорошо воспитан и знал цитаты из классической русской литературы и, что важнее, из советских фильмов. Когда они отдыхали на юге, про Илюшу говорили: настоящий петербуржец!

Его страстью был спорт. Пламенной страстью – хоккеем. Его взяли кандидатом в юношескую сборную СССР, но Илюша сломал на тренировке ногу, которая срослась неудачно – в обычной жизни незаметно, не мешает, но для спорта Илюша стал непригоден. Он очень переживал.

Выход племяннику подсказала тетя Марьяна:

– Ты так интересно рассказываешь о матче, Илья! Можно выключить звук у телевизора и слушать только тебя. Писать о спорте не пробовал? Почему бы тебе не стать спортивным журналистом? Знаю, что это очень непросто, круг спортивных комментаторов почти так же узок, как круг журналистов-международников, попасть к избранным архисложно. Знаешь, как Ленин говорил о декабристах?

– Узок круг этих революционеров, и страшно далеки они от народа.

– Верно. То же самое можно сказать про элиту журналистики. Но все-таки они не боги, и обжигать горшки при большом желании можно научиться.

Илюша написал несколько заметок и принес в отдел спорта ленинградской молодежной газеты «Смена». Заметки не приняли, но и на дверь не показали: больше не ходи сюда, парнишка! Он писал и приходил. Десять его заметок забраковали, одиннадцатую приняли. О футбольном чемпионате между питерскими школами. Илья написал ее почти случайно, в фельетонном веселом стиле, уж очень забавная ситуация складывалась к финалу. Илюшина статья подверглась безжалостной редакции и была опубликована. Он получил первое редакционное задание, удостоверение юнкора и стал писать о детском спорте.

К окончанию школы у него уже был солидный портфель публикаций и никаких сомнений в выборе профессии. Мама клеивала его статьи в

специальный альбом. Илья хмурился и злился, когда мама показывала альбом гостям. Подобное хвастовство недостойно. Но когда дядя Степан, наклонившись над альбомом, случайно пролил вино на заметку о школьном баскетболе, Илье захотелось схватить со стола бутылку и стукнуть по голове любимого дядюшку.

Настя знала, что алкоголизм – это болезнь, но главный доктор – сам человек. Митя себя больным не считал и говорил, что может легко бросить пить в любой момент. Слезы, уговоры Насти, запугивания тем, что он кончит жизнь в канаве, уверения в том, что момент давно наступил, дважды подвигли Митю на воздержание. Первый раз он держался месяц, второй раз – неделю. После «просушки» запивал с особенным ожесточением.

Пьяным Митяй был не агрессивным, напротив, веселым, забавным, добрым, щедрым, остроумным. Посторонним очень нравился, а Настю тошнило от его хмельной жизнерадостности. Наутро, протрезвев, как бы израсходовав вчера сегодняшний запас доброго настроения, он вставал хмурым, злым, огрызающимся. Днем снова выпивал, и завертелась старая пластинка. Трезвым он работал через силу, а под начальным хмельком – с невероятной производительностью и куражом. Дальше пил, и место куража занимал бред, красками сотворенный. На следующий день приходилось вымарывать созданное на пике алкогольного вдохновения. Периоды творческого экстаза под градусом становились все короче, а падал он уже после обеда. Мог бы с полным основанием называть себя Леонардо. Катился в пропасть и не верил, что катится.

С трезвым мужем Насте было тяжело, с пьяным – противно. Она решилась на развод без видимого повода. Не после того, как застудилась, отыскивая его ночью, и все ее воспаления вспыхнули с новой силой. Не потому, что видела в зеркале все новые морщинки на лице – подтверждение того, что жизнь проходит, она стареет, а ее женская судьба плачевна. Не потому, что руководитель секции моделирования почти год приносил ей цветы. Зайдет, вручит букет, несколько секунд смотрит с болезненным обожанием и уходит. Она нисколько не увлекалась моделистом, он ее не волновал, но его стойкая влюбленность помогала Насте держаться на плаву – чувствовать себя интересной женщиной.

За завтраком Настя сказала мужу:

- Мы разводимся.
- Чего? – не понял трезвый и злой Митяй.
- Я подаю на развод.
- Да и пожалуйста! На коленях я перед тобой стоять не буду. В холодильнике есть пиво? Достань бутылку.

– Сам возьмишь! Ты меня обманул и предал! Ты – большое ничтожество. Чтобы одолеть твои хвори, нужна только воля. У тебя ее нет!

Она вышла из кухни и стала собирать вещи – свои и сына. Находиться в квартире, которую обставляла с любовью и вдохновением, не могла – задыхалась.

Переехали на Петроградскую к папе и Марфе. Старики восприняли их вселение и сообщение о разводе как воспитательный прием против злоупотребляющего спиртным Митяя. Настя их не разубеждала, хотя никаких приемов не затевала. Педагогика и воспитание – это для детей и подростков. Митя давно вышел из возраста, когда тебя воспитывают другие. Вступив в пору, когда сам должен себя держать в узде, он был обязан править их жизнью. Митя бросил вожжи. Он много зарабатывает, и нечего его упрекать. Он не слышит, не видит, он вечно пьян.

Настя устала. У нее множились морщинки – лапками куриными вокруг глаз, залегали скорбными складками у рта. Между бровей поселилась борозда, напоминающая крест. Это уходила молодость. Куда уходила? В омут Митинового пьянства. Настя была готова на любые жертвы ради мужа. Ему жертвы не требовались. Он как человек, который тонет в болоте, которому протягивают спасительную жердь, ему нужно только сильнее бить ногами, руками дотянуться до жерди. Он бездействует. Спасение утопающих есть дело самих...

Ее жизнь. Возможная. Какая-то другая. Она с пятилетнего возраста не знает жизни без Мити. Но ведь это нечестно, когда тонущий в болоте затягивает в омут своих близких, любящих! Когда у нее морщины множатся!

На развод в суд Митяй не явился. Он пропал. Две недели не появлялся на работе в кинотеатре. В их квартире, куда Настя периодически наезжала, не умолкал телефон – заказчики требовали работу, срок выполнения которой давно прошел.

Известно, как кончают алкоголики: замерзают в канавах, попадают под поезда, под колеса автомобилей, под нож грабителей. Алкоголик, отягощенный эпилепсией, рискует многократно.

Настя казнила себя.

Марфа не находила сил утешать ее. Сколько женщин сейчас живут с пьющими супругами! После Войны на мужиков точно порча нашла. Однако жены от них не сбегают, несут свой крест. Так ли тяжел был Настин крест?

Искали Митяя по моргам и больницам. В больницах не страшно.

Больница – это надежда, там лечат, выхаживают. В моргах – ужасно страшно, до обморока. Тошнотворный запах, металлический стол, на котором лежит закрытый простыней неопознанный мужской труп... сейчас простыню сдернут, и она увидит... Облегчение – это не Митяй... Скорей на улицу, пока не потеряла сознание. Рухнуть на скамеечку, продышаться. Нет скамейки – к дереву, к стене прислониться... Только бы задышать, только бы сгнуло только что увиденное – голый мертвый мужчина... Не думать! Не думать, что сейчас где-то и Митя вот так лежит. Гниет на земле... снежок на нем растаял – оттепель.

Его нашли под Сестрорецком. В психиатрической клинике – одноэтажном бараке с решетками на окнах, с облупившейся штукатуркой, когда-то выкрашенном в желтый цвет. Это жестокая ирония? Клиники для сумасшедших раньше называли «желтыми домами».

Настя склонилась к маленькому окошку «Справочной», за которым сидела женщина в белом халате.

– Дмитрий Петрович Медведев у вас находится? – спросила Настя. – Можно его увидеть?

– Посещения по субботам, с десяти до тринадцати, по разрешению доктора. У Медведева разрешения нет.

В голосе женщины отчетливо слышалось удовольствие отказа.

– То есть как? – оторопела Настя. – Я не могу увидеть своего мужа? Тогда я требую встречи с доктором!

– Беседы с врачами по средам с семнадцати до восемнадцати, – то же злобное наслаждение властью.

Настя сталкивалась с этим не раз: подавальщицы в столовых, продавщицы в магазинах, уборщицы с ведрами и швабрами испытывали к Насте, ухоженной, модно одетой, классовую женскую ненависть и при любой возможности эту ненависть демонстрировали.

– Я хочу видеть главного врача! – Настя почти кричала, словно обезумела. – Как к нему пройти? Где тут дверь?

Помещение было небольшим – три на пять метров, с лавками по двум стенам, с окошком «Справочной» в стене напротив входа. Кроме Насти и Марфы, в комнате никого не было. Окошко с двойными рамами и решеткой открывалось вовнутрь. Справа от окошка Настя увидела дверь, принялась дергать за ручку. Безуспешно – закрыто. Справочная медсестра по ту сторону границы привстала и едва не полностью высунула голову в окошко – насладиться корчами расфуфыренной ленинградской дамочки в котиковой шубе.

– Миленькая! – подошла к окошку Марфа, согнулась в три погибели. – Доченька, не откажи! Умилостивись! Мы сыночка моего уж месяц по моргам да больницам ищем, исстрадались. Нам бы только одним глазком! Только удостовериться, что жив он! За любую плату! Если ты сама мать, поймешь меня. Не серчай на Настю, невестку мою. Она хорошая, сама я ее вырастила. И сынок мой хороший. Дык только он ли в ваших палатах? Он пил, горе как пил, Настя не сдюжила.

– Он, кто же еще? – вернулась на место справочная женщина. – При нем паспорт был.

– Паспорт и украсть могли, он же эпилептик, на Войне артиллеристом множественно контузило. Мог в припадке отключиться, а лихие люди паспорт вытащили. Одним глазком, касаточка!

– Не могу я! – сказала сочувственно женщина, еще минуту назад бывшая вредной хозяйкой «Справочной». Добавила шёпотом: – Это не доктор, он сам, больной Медведев, отказался от посещений.

– Ах! – У Марфы подкосились ноги. – Точно украли доку́мент! Где ж он сам, моя кровиночка?!

– Женщина, не плачьте. Так и быть. За вами никого нет?

– Пусто тут.

– Идите к последнему окну с обратной стороны здания. Там процедурная. Я сестре скажу, чтобы вызвала его. Только вы уж без представлений, а то влетит мне.

– Всеми святыми клянусь!

Стекла зарешеченных окон в больнице были до половины закрашены белой краской, заглядывать бесполезно. Но в процедурной краска в нескольких местах то ли отвалилась, то ли специально была счищена. Марфа и Настя приникли к отверстиям размером с пятак. Ждали несколько минут, а потом за сестричкой в комнату вошел Митяй. В застиранном больничном халате, но точно он! Разве можно спутать такого богатыря!

Возвращались на электричку счастливые, радостные. Сердца, освобожденные от пеленания колючей проволокой страха, бились легко и свободно. Уже около станции Настя вдруг вспомнила, что они не отблагодарили эту замечательную женщину, при первом общении – змею подколодную. Надо хоть коробку конфет купить или денег дать. Но если они вернутся, то не успеют на последнюю электричку, следующая только утром.

– Пусть ее Бог бережет, – рассудила Марфа. – Иди, Настенька, покупай билеты.

Они так никогда и не узнали, что произошло с Митяем, в какую пропасть он рухнул, от какого дна сумел оттолкнуться и всплыть. Хотел бы рассказать – рассказал, с вопросами не лезли.

Он пришел в квартиру на Петроградской – постаревший и помолодевший одновременно. Постаревший – из-за морщин, помолодевший – потому что с лица сошли отеки, да и похудел, на больничных-то хлебах не зажиреешь.

Поздоровался просто, будто расстались вчера и не было полутора месяцев отчаяния и горя. Они-то, конечно, застыли, давясь радостными всхлипами. Но в том, как Митяй протянул газету – забыли вчера «Вечерку» из ящика вытащить, как он спросил сына, чем закончился матч «Спартака» и «Крылышек», как потянул носом: «Мам, пироги с капустой?» – угадывалась его молчаливая просьба. Не нужно объятий, слез, восклицаний, расспросов. Я пришел, я с вами – и точка! После паузы, напоминавшей остановку пленки в кино или детскую игру «Замри!», жена, сын, мать, тесть ожили, задвигались. Ничего не случилось: никто не подавал на развод, никто не лечился в психушке – жизнь продолжается.

За обедом Митяй предложил Камышину:

– А не построить ли нам, Александр Павлович, дачу? Скинемся? Вы ведь можете получить участок? Хорошо бы недалеко от Финского залива.

Каждое лето выезжали на служебную дачу Камышина в Репино. Перенаселена она бывала гостями и привозимой на каникулы детворой отчаянно. О своем дачном доме Марфа мечтать не могла – Камышин не потянул бы хлопоты со строительством. Митяй – иное дело.

Митяй не пытался повторить или переплунуть дом деда Еремея в Погорелове, который помнил смутно, но много был наслышан. Да и народный стиль, украшение резьбой не в моде, сейчас время иных архитектурных решений. Кроме того, сибирский дом – остров жизни, а не летнее пристанище горожан. Митяй задумал построить дачу, в центре которой будет утепленный блок – две комнаты, кухня с печью, отапливающей весь блок, – чтобы можно было приезжать зимой кататься на лыжах в лесу и по Заливу. Вокруг этого блока – летние веранды, над ним – лабиринты спален.

Митяй собирал и записывал пожелания. Вначале их не было: нам все равно, только построй. Но потом вошли во вкус. Марфа просила спаленок «числом сколько влезет»: маленьких для семейных пар и две побольше – для девочек и мальчиков. А то ведь в разгар лета многие на полу спят, точно солдаты на постое. Настя подхватывала: как разуются, обувь снимут,

в прихожей узкая муравьиная тропка остается. Поэтому хорошо бы иметь отдельную комнату для обуви и одежды – гардеробную. Марфа размышляла о подвале – осенью можно по сходной цене картошку мешками покупать, капусту, морковь, домашние консервы там хранить. Без сарая не обойтись, считал Камышин, при нем мастерскую оборудовать и навес для дров. А гараж для машины? Логично построить все под одной крышей: сарай, мастерская, гараж, дровница.

– Туалет, душ в доме! – требовала Настя. – Нет! Два туалета, на первом и на втором этаже.

– Ну, знаешь ли! – возмутился Александр Павлович. – Это даже не барство, а какая-то вакханалия! Я бывал во многих шикарных квартирах, и ни у кого двух сортиров не имеется.

– Три туалета, – поддержал жену Митяй. – Один на улице. Ведь у нас сейчас как в детском анекдоте. Где так хорошо научились чечетку бить? У бабушки на даче: нас много, а туалет один.

– Малышне качели надо поставить и песочницу, – предлагал Илюша, – а нам бы стол теннисный.

– Кухню летнюю, – мечтала Марфа, – чтобы в доме от керосинки не воняло. Разбить огородик, смородину посадить...

– Курочек завести, – подхватывал Камышин, – деткам яйца свои, свеженькие. А то и козу, молочко парное каждый день. (Марфа радостно кивала, не слышала в его тоне издевки.) Коза будет пастись вокруг теннисного стола, а на участке не останется ни одного дерева! Между тем сейчас имеются великолепные корабельные сосны.

– Чего деревья жалеть? – горячилась Марфа. – Их в лесу много. Давай, Митяй, записывай в свою тетрадочку: «Наделать всем скворечников на корабельных соснах». Будем в них обитать и перекукукиваться. Что ж теперь, и про баню не заикаться?

Мечты о своем доме будили фантазию, вызывали споры и дарили то счастливое состояние духа, которое бывает, когда мечта общая.

Марфа помнила стенания свекрови Анфисы Ивановны: Еремей Николаевич строил дом очень долго – вечно. И Марфа была готова к тому, что Митяй будет тянуть две пятилетки. Однако сын распланировал работы и старался из графика не выходить. В первый год выкорчевали деревья и заложили фундамент, на второй год подвели дом под крышу, на третий занялись внутренней отделкой и въехали, когда она еще не была закончена.

Со стройматериалами было не просто плохо: достать дерево, столярку, кирпич, цемент, стекло – равносильно помидорам или огурцам зимой. Что мог, Камышин выписывал на заводе, остальное доставали у темных

личностей. Настя, которая имела дело с мелкими спекулянтами, промышленными импортными вещами, поразились тому, что существуют спекулянты совсем другого масштаба. О том, что они поставляют ворованное, старались не говорить. Но откуда, если не ворованное, ведь не в магазине купленное? Хотя Камышин нервничал: на каждый кирпич должна быть справка о приобретении, накладная, товарный чек! В противном случае после первой же инспекторской проверки их всех посадят! Его и Митяя, а не спекулянтов, которых след простыл. «Будут вам справки, – пожал плечами Митяй, – только образец дайте». Он их рисовал очень правдоподобно! Настя завела большую папку-скоросшиватель, на обложке которой было написано: «Отчетная документация по строительству дома Дмитрия Медведева». Орудую дыроколом, присоединяя очередную бумажку, Настя говорила, что Митяю особенно удаются печати и если так дальше пойдет, на следующем этапе он начнет рисовать деньги. Чего мелочиться, разменивать талант на вульгарные накладные по доставке песка и цемента? За шуткой она прятала страх. Они совершали противозаконные действия. Митяю грозила тюрьма. С другой стороны посмотреть – тюрьма плачет по любому мужику, строившему дачу.

Деньги почти кончились после закладки фундамента. Митяй хватался за любую работу, Настя взяла учеников, с утра до вечера к ним в квартиру тянулись дети и тренькали на пианино. Марфа распечатала кубышку, оставив несколько сотен – на случай войны, чтобы при первых признаках закупить продукты. Теперь у нее был подвал, в котором можно запастись, как на подводной лодке в автономном плавании.

Влезли в долги. Сначала занимали у своих: у тети Нюрани, Василия, Клары, потом дошла очередь до чужих – денежных знакомых и приятелей. Чужим отдавали точно в срок, свои не только не торопили, но и отказывались в будущем принять деньги.

– Ты мне еще проценты назначь, – говорил Василий. – За дачу, на которой мои дети лето проводят.

Но Митяй был тверд в решении отдать долги. Когда отстроятся и полностью оборудуют дом, участок. Перспектива была далекой.

Как подавляющее большинство дачников, они познали помойные утехы. Если на улице, на помойке валяется что-то стоящее, надо брать и нести в дом, потом отвезти на дачу. Настя тащила старые стулья с гнутыми ножками, с торчащими сквозь рваную обивку пружинами, облупленные туалетные столики и подставки для цветов – Митя отреставрирует.

Как-то пришла с горящими глазами:

– Выбросили потрясающий буфет! Огромный, в нем младшая группа

детского сада может спрятаться. Я понимаю: не увезти, нужна бригада грузчиков и большая машина. Но, Митенька! Давай пойдем ночью и снимем дверцы, отковырнем карниз и накладную резьбу? Там еще дверь валяется с прекрасной бронзовой ручкой и фигурными петлями.

Помоечный ажиотаж захватил даже Илюшу. Он притащил три чугунных радиатора, еще дореволюционных – выбросили из дома, в котором капитальный ремонт. Марфа гуляла у этого дома с внучками и тырила новенький силикатный кирпич, сваленный в кучу. Неаккуратно свалили: много поколосось. Марфа складывала по пять кирпичей в сумки из плотной холстины, сверху накрывала газетой, для конспирации могла сверху положить буханку хлеба. И так каждый день. И она была не единственной, кто воровал. Штабель кирпича с вечера на утро заметно уменьшался, оставались только обломки.

Однажды Марфу остановил молоденький милиционер. Она испугалась, но милиционер предложил донести сумку до подъезда – ему стало жаль женщину, у которой руки заняты, а дети не слушаются, не хотят идти рядом, женщине приходится на них кричать.

– О! – удивился милиционер тяжести. – Что там у вас?

– Кирпичи, – честно ответила Марфа.

– Ха-ха, смешно!

С внутренней отделкой и коммуникациями помогали братья, приезжавшие в отпуск и давшие Митяю кличку Бригадир. Совместный физический труд доставлял им удовольствие, хотя подтрунивания друг над другом не прекращались. Оказалось, что доктор физических наук ни бельмеса не смыслит в автономной канализации. Морской биолог не отличает шуруп от самореза, артиллерист застывает в недоумении перед половой доской, про режиссера Степку и говорить нечего, прибил наличники вверх ногами. Но и сам Бригадир, самозванный архитектор, не единожды напортачил с расчётами, на что ему указывали с особым удовольствием.

Когда вечером звучала команда: «Шабаш! Штык – в землю!» – они наперегонки мчались к летнему душу. Первому достаётся теплая вода, последнему – подкачанная насосом из колодца ледяная.

По участку носят дети, свои и чужие, соседские. Длинный стол под соснами уже накрыт скатертью. Вокруг стола лавки, сколоченные из досок. Под руководством Марфы женщины носят приборы и закуски. Александр Павлович сидит в кресле с газетой, смотрит поверх очков. У него вид патриарха, благодушно взирающего на свое царство. Ветерок доносит с

Залива запах моря, который смешивается с хвойным запахом леса и разнотравья с луга за околлицей.

Марфу гнилостный запах большой воды, «биологии моря», отвращал, а хвойный и травяной она очень любила. Пахло не так, как в Сибири, но отдаленно похоже. В зной даже на сенокосе скошенные травы не дарят дух. Каждая травинка словно запечатывается невидимым сургучом. Но вот солнце перекаатилось через небо, покраснело, брызнуло в стороны багряными, оранжевыми и синими всполохами. И травы распечатываются, испускают аромат – такой дурманный, что никакие духи из склянки не сравнятся. Голова кружится, пьянеешь без вина и готова на всякие глупости. На сенокосе-то и на летних гуляньях за девками и парнями только смотри и смотри – хмельные без вина, они натворят, потом не расхлебают.

Ей редко удавалось короткие минуты постоять у штакетника, втянуть травяной дурман, вспомнить, забыться...

Обязательно кто-нибудь ее зовет, ищет.

Степка:

– Ма-а-ам? А чего ты как блаженная?

Он учился на режиссера и чокнулся на мимических проявлениях эмоций. Мог посреди мужского спора приставать с идиотскими вопросами:

– Вась! Вася! Почему ты бровью дернул? Это удивление или презрение?

Мог поставить в неловкое положение женщин:

– Марьяна, твой взгляд на Виталика? В нем просто жалость или сознание того, что ты смогла бы сделать из этого мужчины героя?

– Клара! Замри! Губки бантиком – великолепно!

Марьяна терялась от его беспардонности. Клара послушно вытягивала губы и таращила глаза.

Василий тыкал в Степку пальцем:

– Бровью я дернул? Следующий раз, если перебеешь, я дерну протезом, врежу тебе меж глаз. Все понял?

– Кстати, об этом загадочном протезе, – подхватывал Степка. – Его кто-нибудь когда-нибудь видел, Васькин протез? Может быть, это скрытый образ?

– Служение искусству, – смеялся Митяй, – требует жертв. На твоём месте, братка, я бы поостерегся некоторых образов.

– Ма-а-ам! – настырничал Степка. – Ты похожа на лошадь, ловающую запахи. Что ты чувствуешь?

– Что ты опять за деньгами приехал, – ответила Марфа. – На что их только тратишь?

– Естественно, на женщин!

– Продажных? – ахнула Марфа, повернулась к сыну и мгновенно перестала слышать запахи.

– В той или иной степени каждая женщина...

– Ни копейки не дам! Александру Павловичу скажу, чтобы он тебе под страхом смерти ни копейки! Ирод!

– Ты меня неправильно поняла! – Степка схватился за голову, принял позу оскорбленного благородного героя. – О, мать моя! Как ты могла допустить...

– Степка, не дури!

Руки безвольно уронил, сплел их, голова упала на плечо, всхлипывает, вот-вот заплачет... Видела уже много раз его представления, доверять нельзя, но обязательно купишься.

– Как ты, моя мать, родившая меня женщина, могла допустить, что я плачу за любовь? – Вмиг передернулся и стал смотреть на небо в мечтательной тоске. – Но неужели жизнь моя столь ничтожна, что я не могу бросить к ногам полюбившей меня богини букет цветов, конфеты, шампанское...

– На свою стипендию бросай, – повернулась, пошла к дому Марфа.

– Мам, мам! – семенил за ней Степка. – Так нечестно! Хоть червонец!

После ужина долго не расходились, не хотелось трогаться с места. Светлая питерская ночь, мягкие тени, мошки кружатся у большой керосиновой лампы, стоящей в центре стола. Светятся окна веранды, а в доме темнота – там спят набегавшиеся за день дети. Запах сгоревшего керосина почти не портит аромат леса и моря. Легкий веселый хмель слегка кружит голову. Хмель от вина или от воздуха? Кажется, что ты находишься в точке высшей благодати, мира спокойствия. Ты долго сюда шел, много работал, уставал, ошибался, падал, поднимался и снова шел. И того стоило: оказаться среди родных и близких, вести неторопливую беседу, чувствовать, что все, как и ты, дышат не полной грудью, а втягивают в себя воздух, как пьют сладостный нектар. И никому не хочется спорить, доказывать свою правоту, ломать копыя. Хочется говорить о легком и приятном, о высоком и тоже приятном, верить в невозможное: будто эти мгновения не точка на пути, остановка, пересадка, а конечная станция, до которой ты долго добирался, вход в другую жизнь. И дальше: завтра, когда уедешь с дачи, – эта новая жизнь продолжится. Не будет проблем,

конфликтов, борьбы честолюбий, злого отчаяния, дурного настроения, усталости от бесполезной суеты. А будут исключительно победы, которые разделят с тобой небесно-прекрасные люди.

«Хорошо у тебя, благодать! Везет вам», – говорят Митяю гости. Словно забыли, какими трудами и нервами достается ему строительство, будто он только и отдыхает под соснами за бутылкой маминой наливки. Если забыли, значит, он все делает правильно. Зачем еще дача, если не ради подобных моментов? В городе так не посидишь.

Митяй кивает и улыбается, глядя, как мама в который раз пытается растолкать давно задремавшего Камышина, отвести в дом. Александр Павлович, не открывая глаз, сопротивляется, брыкается.

– Оставь его, – говорит маме Митяй.

Настя принесла плед и укрыла отца, который даже во сне не хотел расставаться с компанией и покидать атмосферу семейной теплоты.

– Не трогай, – поддерживая брата, шепчет Степка. – У меня идея!

Марфа к идеям младшего сына относится настороженно. Но что плохого в том, что четверо молодых мужчин в конце вечера аккуратно берут кресло, в котором спит Камышин, относят в дом, перекладывают мужа на кровать?

Наутро Александр Павлович отзывает Степку и смущенно спрашивает:

– Я вчера как? Не перебрал? Не помню, как в постели очутился.

– Все было прилично, – заверяет Степка и при этом отводит взгляд в сторону.

– Говори! – требует Камышин. – Это все твоя мать! Нормальные женщины наливки на водке настаивают, а она на спирте! Завела в аптеке знакомство.

– Вы не беспокойтесь! Вам простительно. В шалостях патриарха, знаете ли, есть своя изюминка... много изюминок.

– Говори как на духу! – требует Камышин, приготовившийся к самому худшему, хотя в чем это худшее может заключаться – не представляет.

– Не переживайте, умоляю! – закликает Степка, по-дамски прижав руки к груди. – Но, возможно, в следующий раз – повторы портят драматический эффект – будет излишним...

– Степка!

– Не стоит щипать женщин за выпуклости их молодых тел и требовать, чтобы они, женщины, сплясали на столе канкан, как бывало во времена вашей молодости. Между нами! Клара была не против. Марьяна забила в шок. Их мужья так скрипели зубами, что с елок сыпались иголки.

Камышин обмирает, таращит глаза, шепчет:

– У нас не елки, сосны.

Потом до него доходит абсурд Степкиных речей. Не случилось купеческой блажи в молодости, а уж в старческих фантазиях и подавно. Последнее, что Камышин помнит из вчерашнего вечера, рассказ Егора о том, как из-за погодных условий самолет не доставил дизель на полярную станцию, пришлось снижать температуру в жилых помещениях до плюс пяти. Какие уж тут щепки, канкан и сотрясение деревьев!

Александр Павлович хватает одной рукой Степку за шею, кулак другой руки подносит к его носу:

– Я тебя не порол в детстве. Сейчас сожалею. Надо наверстать!

У старика немалая сила, и Степка орет вполне натурально:

– Спасите! Мама!

Марфа прибежала, бросив раскатывать тесто, руками в муке на них замахала, окутала белым облаком:

– Ды что тут! Сдурели! Сейчас Митяя позову!

Камышин отпустил сына с победным выражением лица. Но Марфу спросил с капризным брюзжанием:

– Где валидол? Вечно ты его прячешь!

– Вот же, вот же, – достала Марфа цилиндрик из кармана фартука. – При себе держу. Опять сердце схватило? – принялась лихорадочно вытрясать из металлической трубочки таблетку. – Под язык. Возьмите, Александр Павлович!

– Не мне! – гордо вскинул голову Камышин. – Этому! Режиссэру!

Когда Настя шепнула Марфе на ухо: «Митя стал писать!» – она испугалась. Кому писать? Прокурору? Из-за бетонных блоков и кирпича, что пошли на фундамент? По ее прихоти иметь подвал? Ох, накликала мать беду на голову сыну!

Оказалось – писать картины.

Странные это были картины, нереалистичные и очень тревожные. Краски цветным водоворотом, в котором угадывается каска фашистская, пол-лица с искореженным в крике ртом, ствол пушки, детская нога в ботиночке и два других пол-лица: усики под носом Гитлера и усищи Сталина. Или другая картина: вроде как железнодорожная станция зимой, теплушки, паровозы, орудия на платформах, и тут же голые, страшно исхудалые люди стоят под рожками душа, из которых льется вода, теплая, с легким парком. Из концлагеря, что ли, людей выгрузили? Картины Митяя, с точки зрения Марфы, жутковатые, но при этом сам он бодр, улыбчив,

спиртного в рот не берет и приступов давно не было.

Настя устроила на даче вернисаж – повесила стену картинами мужа и пригласила родных. Специально выбрала момент, когда почти вся родня собралась на даче.

– Если кто-то заявит, что полотна не гениальны, – сказала Настя, – то он профан и враг мой на всю оставшуюся жизнь!

Митяй посмеивался, мол, все это безделица. Но все-таки посмеивался не так, как когда хвалили его афиши и агитационную халтуру, не с раздражением, а с глубоко запрятанным волнением.

– Согласен! Талантливо! – первым подал голос Степка. – Современное искусство должно бить током, электричеством прямо в мозг.

– В мозгу есть разные участки, – подал голос Василий. – Насколько я понимаю, мы видим перед собой живописные произведения, которыми принято украшать стены в жилище. Мне совершенно не улыбается проснуться и получить удар током со стены в спальне, поглощать борщ за обедом опять-таки под током.

– Тогда завесь свои стены лебедями, – посоветовал Степка, – пошлыми натюрмортами или, точно цыганский барон, – коврами.

– А разве сейчас ковры только у цыган? – насторожилась Клара.

– Не переживай, – ответила Нюраня, – у татар и персов тоже все стены коврами завешены. А русские почему-то по ним ходят.

Клара бросила на мать злобный взгляд. Нюраня, по мнению Марфы, сама часто провоцировала дочь на грубость.

– Война... – проговорил Илья.

– Она... такая? – продолжил его вопрос Эдик.

– Может, так и надо про нее, – сказал Егорка, – электричеством в сердце или в мозг. Я сейчас вспомнил... даже не верится, что все это было.

Про страшную Войну было уже написано много прекрасных душевных песен, великолепных книг, снято пронзительных кинофильмов. Камышин, Марфа, Нюраня сердцем отзывались на это советское искусство. А картины Митяя...

«Как кишки наружу», – подумала Нюраня, но вслух ничего не сказала.

– Хорошо, – не унимался Василий, – мы видим перед собой картины, по мнению некоторых предвзятых критиков, то бишь жены и родного брата, гениальных. Если бы я полдня не бетонировал выгребную яму, в качестве арматуры используя всякую собранную на помойке дрянь в виде кочерег, сковородок и, не побоюсь этого слова, панцирных сеток, то я... возможно!.. и сказал бы, что в этих картинах есть оголенный нерв. Но давайте спросим, какова дальнейшая судьба этих полотен. Их можно отдать

на выставку, продать? Ответ отрицательный!

Они, Митяй и Васятка, соревновались с младенчества, как только стали ползать в манежике, построенном Еремеем Николаевичем. Тогда у Васятки еще был брат-близнец Иванушка. Два против одного. Дмитрий был и остался Митяем. Назвать очкастого доктора физических наук Васяткой никому не приходило в голову – Василий, никак иначе. Митяй побеждал всегда. Потому что был сильнее, ловчее и спасал брата в их сибирском детстве, в лесу и на Иртыше, не раз. И когда выросли, возмужали, Митяй не соперничал, как будто, улыбаясь, разводил руками: «Давай пробуй, если очень хочется!» Василий – едва не единственная его слабость – пытался Митяя пихнуть, уесть, щипнуть – осилить.

Ни для кого не было секретом, что двоюродные братья – Митяй и Василий – друг к другу ближе, чем к родным братьям – Егору и Степану.

– «Моим стихам, написанным так рано... настанет свой черед», – вдруг процитировала Марьяна. – Это Марина Цветаева.

– О Цветаевой слышали три человека, – продолжал иезуитствовать Василий, – а с ее творчеством знакомы полтора человека, ты в их числе.

– Настанет? – эхом переспросила Настя, глядя на подругу, пропустив мимо ушей вредничанье Васи.

– Обязательно! – сказала Марьяна. – И поэзии Цветаевой, и этим картинам. То, что создано редким талантом, что отрывает тебя от земли, что превращает тебя из жующего котлеты обывателя, из корпящего над уравнениями фанатика, – легкий взмах руки в сторону Васи, – в существо, которому подвластны головокружительные, одновременно пронзительные чувства... это не может умереть! Это обязательно...

– Дарю! – неожиданно расхохотался Митяй и стал снимать картины. – Повесишь изображением к стене, – протянул Васе полотно. – Брат Степка – держи!

Марфа, всегда четко реагирующая даже на дыхание Насти, которую воспитывала с малолетства, услышала всхлип, повернула голову: в глазах у Насти... жадность неприкрытая!словно из дома выносят самое дорогое, золото-серебро. Настя никогда не тряслась над драгоценностями. А тут совершенно неприличная жадность! Значит, хвалила картины не потому, что бросивший пить муж нашел занятие, а потому, что видит в них что-то особое.

– Митяй! – протянула руку Нюраня. – Мне, если не возражаешь, вот эту. Поле и конь. Хотя тогда были зелены, поле не колосилось...

– Этот конь, Орлик, – повернулся к родителям Эдик, – он бабушке

жизнь спас.

Митяй вручал тете Нюране картину, единственную светлую, в золотистых тонах волн колосков на поле, намеченных штрихами.

Клара суетилась. Какой конь, зеленя? Раздают бесплатно, надо хватать, не достанется.

Виталий все время молчал и смотрел только на одну работу – серую, во множественных оттенках серого. Это был блокадный Ленинград, но исторически и географически неправильный. По заднему плану шли Исаакиевский собор, Петропавловский, Александрийская колонна. В жизни они не могли быть выстроены в ряд, с какой точки ни смотри. И во время Войны они были закамуфлированы. На среднем плане – Невский проспект, на котором не осталось ни одного целого здания, только в разной степени разбомбленные дома, напоминавшие вывороченные корни безмолвно плачущих вековых деревьев. Так не было, многие дома на Невском, на его правой стороне, пострадали незначительно. На серой картине по серому Невскому брела, тащила за собой саночки сгорбленная серая женщина. Почему-то угадывалось, что в прежней, довоенной жизни она быластройной, гордой, успешной.

– Эта фигура, – проговорил Виталий, показывая на картину, – очень напоминает мою маму. Ее никто из вас не знал и не видел... Отдаешь картину?

– Конечно! – снял полотно со стены и протянул Виталию Митяй. – Я не умею давать названия. Но у этой работы есть имя: «Мама». Внизу подписано, не вру, увидишь. Кларочка! – шутливо приобнял ее Митяй. – Ван Гог и прочие-прочие продавали свои картины трактирщикам за луковую похлебку. А теперь их работы тысячи, в валюте, стоят.

– Тогда нам две оставшихся? – быстро сориентировалась Клара. – В счет долга?

Нюраня и Настя в один голос простонали. Нюраня, словно чертыхаясь, издала горестный стон: эту хабалку, мою дочь, ничем не исправишь! Настя всхлипнула с отчаянием девочки, у которой забирают игрушки.

Александр Павлович только сейчас обратил внимание на дочь, хотя Марфа уже несколько раз тыкала его в бок.

– Минуточку! – кашлянул Камышин. – Дмитрий! Считаю нужным обратить твое внимание, что на этом доморощенном аукционе присутствуют твои жена, сын, мать и я... в некотором роде.

– Извините! – поднял руки Митяй. – Два полотна оставшиеся, честно говоря, не удались. Сибирские мотивы. Пейзажи по воспоминаниям никто не пишет. На первом – склон к Иртышу, по которому мы с Васяткой в

детстве скатывались. На втором – дорога. Я шел с войны в Погорелово, пел, потому что увижу Настю, маму и сына. Пел и, честно сказать, плакал. Плакал и злился. Потому что ребята воюют, а я в тыл забиваюсь. Это то, что я видел перед собой. Недаром Настя их в самом низу повесила.

– В счет долга! – напомнила Клара.

Настя показала ей фигу, сорвала со стены и зажала под мышками две последние картины. Настя выглядела как ребенок, чьи игрушки подвыпившие родители раздают посторонним детям, а она, Настя, спасает последних кукол.

Митяй обнял жену, чмокнул в макушку:

– Я тебя нарисую, напишу обязательно! Летящую, теряющую одежду, обувь и украшения.

Он разжал объятия и захохотал, глядя на своих братьев и жен их. С его картинами в руках.

Он смеялся, как его родной отец, Еремей Николаевич, – громко, открыто, взмахивая руками. Когда Еремей Николаевич от души смеялся, застывали все, даже Анфиса Ивановна. Это было как купание в сладком облаке.

Митяй больше не писал картин. Настя не спрашивала, чем был вызван короткий период лихорадочного творчества и почему не продолжается. Спрашивать не требовалось.

Мужчина и женщина, муж и жена, сохранившие свой союз, не сгоревшие в огне, переплывшие воду, не потерявшие голову от денежного набата медных труб, понимают друг друга без слов. И слова-то у них, желания совпадают до кальки. В быту особенно заметно: «Не сварить ли сегодня плов?» – «Только хотел тебе предложить именно плов!» «Надо стариков в поликлинику на диспансеризацию свозить...» – с языка сорвал. «Пошли в кино?» – одновременно спросили и рассмеялись. Над бытом – духовное: невысказанное, но понятное. Высказывать не обязательно, а ответ получишь, когда произнести его получится.

– Настя! Я не пишу картины, потому что не хочу, – сказал ей в спину Митяй, когда она мыла посуду.

Настя замерла на секунду, не обернулась, продолжила намыливать тарелки.

– Есть две большие разницы. Хочу, но не могу. И! Могу, но не хочу. Я могу, но мне не хочется. И не потому, что считаю свои картины мазней, а слова Марьяны про «наступит время» – прекраснодушием. Меня не тянет. Когда художника тянет, он прутиком на песке чертит, на обрывках

квитанций малюет.

Настя вытерла руки полотенцем, сняла фартук, подошла к мужу, сделала ложный выпад, словно хотела его щелкнуть по носу, уселась к нему на колени. Это было ее любимое место. Они в детстве так, тайком от родителей, сидели. Когда Митя пришел с Войны, их первая ночь, она попросила: «Давай я к тебе на колени? Я мечтала в Блокаду. Это мой рай».

Теперь ей почти пятьдесят лет. Она не часто позволяет себе. Но иногда случается.

– Ты мне обещал написать меня летящей, разбрасывающей детали туалета, – промурлыкала Настя. – Когда это будет? Вот лежу я в гробу, а ты, безутешный, подносишь к моему холодному лицу искомое полотно?

– Нет, я первый в гробу буду лежать, а ты бросишься в слезах ко мне на грудь и почувствуешь в кармане пиджака бумажный хруст. Вытаскиваешь рисунок...

– Родители! Мама! Папа!

На пороге кухни сонный, взлохмаченный двадцатилетний атлет в трусах и в майке.

– Чего вы хохочете? – бормочет Илюша.

– Мы обсуждаем, – Митяй не отпустил Настю, готовую сорваться и занять приличное положение, – твою будущую жену. Она должна любить сидеть у тебя на коленях. Испытывать это желание до преклонных лет, а ты, соответственно, радоваться этим желаниям.

– У меня не преклонные леты, то есть года! – возмутилась Настя.

– Какие леты, колени? – тряс головой Илюша. – Разбудили! У меня сессия и еще соревнования по гребле, репортаж надо сдать. Совсем чокнулись! Я иду...

– В туалет! – хором сказали мама и папа.

Аннушка

Марфа часто задумывалась: осудила бы ее Парася за то, что не уберегла Аннушку, или, напротив, порадовалась бы за судьбу дочери? Степан, отец Аннушки, точно разгневался бы, он в Бога не верил. Марфе иногда казалось, что сидят они, Парася и Степан, там, на небесах, и спорят, счастливо или несчастливо жизнь единственной дочери сложилась. А поначалу-то, наверно, только радовались, когда Марфа, возвращаясь из эвакуации, забрала сиротку в Ленинград и воспитывала как родное дитя.

Аннушка из пугливой девочки выросла в крайне стеснительную девушку. Высокого роста, но не статная, потому что сутулая. Казалось, что Аннушка носит свое тело со стыдом, как одежду слишком заметную и не по росту большую. Аннушка была симпатичной, даже красивой, но никто не замечал ее привлекательности, потому что ходила она с опущенной головой и редко смотрела людям в глаза.

Парася когда-то была такой же, но встретила Степана, полюбила. Она говорила: «Благодаря суженому я подняла голову и увидела небо». Став женой председателя коммуны, Парася, хочешь не хочешь, была вынуждена «соответствовать», то есть командовать бабами и повышать голос. Аннушке суженый не встретился, и увидела она совсем другое небо.

Ее все любили, холили, берегли. Родные братья, Василий и Егор, относились к Аннушке с трепетной заботой, нежностью. Аннушка ценила их участие, благодарила за подарки, но все-таки было заметно, что она тяготится их присутствием, как тяготится всегда, оказываясь в центре внимания.

Она никогда не задавала вопросов, а ответом на обращение к ней чаще всего было: «Не знаю». «Хочешь кушать? Купим тебе новое платье (куклу, цветные карандаши, пенал?..)» – «Не знаю».

Аннушка большую часть времени сидела на диване с книжкой, но не читала, а смотрела поверх книги в окно. Марфа редко привлекала ее к домашней работе. Попросишь – сделает, например помоем посуду, и застынет в ожидании следующего приказа – как подневольная острожница. Марфе проще самой, чем видеть это выражение покорности.

- Аннушка, – спрашивала ее Настя, – о чем ты все время думаешь?
- Не знаю.
- Но все-таки? – настаивала Настя. – Это секрет?
- Нет, не знаю. Обо всем думаю.

– Приезжает московский кукольный театр. Говорят, у них уморительные постановки. Я достала вам с Илюшей билеты. Правда, здорово?

– Наверное.

В театре Илюша хохотал как умалишенный, Аннушка просидела с застывшим лицом.

Она не боялась прикосновений к своему телу, но сама не ластилась, как это делают девчонки. Ее можно было обнять, приголубить, но в ответ не почувствовать ни тепла, ни отзыва.

– Ты очень одинока, – как-то сказал ей Егор, – потому что скучаешь по маме.

– Нет, то есть да. Я не знаю.

Аннушка не доставляла проблем, хлопот, но, по общему мнению, уж лучше бы доставляла.

– Она не тупая и не умственно отсталая, – говорила Настя Марьяне. – Аннушка хорошо успевает по математике, да и по другим предметам. Не сказать, что читает запоем, но все-таки читает книги. Она не душевнобольная, но все-таки ненормальная. Очень, крайне нелюдима.

– У нас есть приятель, биофизик. Он рассказывал, что на каждой человеческой клетке имеются рецепторы – вроде микроскопических щупалец. Рецепторы захватывают полезные вещества, пропускают их в клетку, убивают вредные, которые хотят через мембрану проникнуть. В сущности, каждый из нас, из людей, тоже как гигантская клетка, тоже имеет рецепторы, невидимые, психологические, если хочешь. С помощью жестов, мимики, слов, взглядов мы вступаем в контакт с другими людьми, принимаем их или отталкиваем.

– У Аннушки нет таких рецепторов?

– Именно, – кивнула Марьяна. – Или их очень мало, или они какие-то особенные. Все попытки ее чем-то увлечь, заинтересовать, элементарно рассмешить проваливаются. А подчас кажется, что доставляют девочке страдания. Ей должно быть очень плохо и сложно в школе, дети бывают ужасно жестоки.

– Ничего подобного! – заверила Настя. – На родительских собраниях ее хвалят. Единственная проблема – Аннушка теряется, молчит, когда вызывают к доске, но с места отвечает хорошо.

Они, ее родные, думали, что у нее в школе все нормально, потому что она не жаловалась.

Школа была адом.

В шестом классе к ним пришел новый учитель математики, вызвал Аннушку к доске. На негнувшихся ногах она вышла и... застыла, сгорбилась, не в силах произнести ни слова.

– Ну, Медведева! – поторопил учитель. – Ты знаешь урок?

– Да, – прошептала.

– Мы слушаем!

Аннушка молчала. Раздраженный учитель обругал ее:

– Каланча пожарная! Отвечать будешь?

Сашка Прыгунов, по прозвищу Прыщ, двоечник, второгодник и наказание школы, завопил в голос:

– Каланча! Каланча! Кала... Кала... Анализ кала!

Класс взорвался от хохота, стекла задрожали. Учитель едва усмирил их, крикнув Аннушке:

– Садись, два!

Прыщ издевался над ней постоянно. Только увидев, орал: «Анализ кала! Смотрите, Анализ кала идет!» Объектом для травли Аннушка была замечательным. Прыщ играл с ней, как сытый злой кот с мышонком – не убивал, но душил. Мышонок был настолько глуп, что не пытался обороняться, убежать или хотя бы пищать.

Почему на защиту Аннушки не встали одноклассники? Потому что она не плакала и не просила о помощи. И вообще Медведева была себе на уме – с подружками не шушукалась, не секретничала, держалась в стороне. Подумаешь, гордячка!

Если бы Аннушка рассказала про травлю в школе братьям или даже Илюше, который был младше на пять лет, но спортивен и крепок, Прыща стерли бы в порошок. Аннушку дома оберегали как хрупкий цветок, чувствуя, что за отстраненностью девочки прячется нежная беззащитность. Что там братья! Марфа ходила бы в школу, сидела под дверью класса и за каждый волосок, упавший с головы Аннушки, сворачивала бы обидчикам шеи.

Но Аннушка никому ничего не рассказывала. Хуже того! Марфа видела, что племянница приходит из школы то с оторванным воротником, то облитая чернилами, то с растрепанными косичками и грязными ленточками в руках и... радовалась! Думала, что Аннушка, как все нормальные дети, шалит, дерется... хоть в школе. Ведь Марфа видела, знала, воспитывала только шептунчиков, активных детей.

Летом, на даче, Аннушка просилась погулять. И понятно! У них беготня, крики, визг детский, то дерутся, то мирятся, то в войну играют, то в мяч, в «вышибалу». Аннушка не любит суеты, почему ж ей не погулять в

одинокчестве?

– Иди, милая, – позволяла Марфа. – До скольких?

Они приставляли рука к руке часы: изящные, позолоченные Аннушкины, подаренные братьями, и серебряные, с большими стрелками Марфины. До обеда? До двух?

После обеда снова:

– Я погуляю, тетя Марфа?

– До скольких?

Часы сверили, отпустила.

Но Марфа, не будь наивной, несколько раз просила Илюшу:

– Проследи за ней. Не ровен час. Лет тринадцать, а по виду все шестнадцать. Не завелся ли ухажер, не на свидания ли она ходит?

Вернувшийся из разведки Илюша докладывал:

– Нет ухажеров. Сидит под деревом, прутиком от комаров отмахивается.

– Не рано ли ты ушел? Вдруг не дождался?

– Ба! – возмущался Илюша. – Я столько в траве, в засаде пролежал! Ребята в футбол играли, а я как дурак...

– Ну да, ну да. Она ведь и дома все у окошка сидит, на улицу смотрит, – успокаивала себя Марфа. – Вот ведь! Гулящая девка – горе родительское, а снулая да негулящая – тоже тревога.

– У нас гулящая Танька, – сообщил не без гордости Илюша, – через два дома от нашей дачи. Я вчера из-за Таньки подрался!

– Иди уж, кавалер! – легонько ударила его в лоб, рассмеявшись, бабушка Марфа. – Руки помой перед обедом!

Через несколько минут в калитку входила Аннушка.

– Хорошо погуляла? – спрашивала Марфа.

– Да, не знаю. Я не опоздала? – смотрела на свои часики Аннушка.

– В срок пришла, умница. Как бы в жизни тебе не опоздать!

Другой ребенок обязательно расспросил бы: как можно опоздать в жизни.

– Я не знаю, – бормотала Аннушка.

Тревога за Аннушку не была у Марфы постоянной. Нет причин – нет тревоги, других поводов для беспокойства хватало. И все-таки иногда, утренним дорассветным пробуждением, сердце сжималось: не так! Ой не так с этой девонькой! Есть в роду Турок-Медведевых дурная кровь. Марфин первый муж Петр – тому доказательство.

Петр потомства не оставил. Марфины сыновья не от мужа, чего ни

одна живая душа не знает. Марфа убила мужа в Блокаду, задушила подушкой. Иначе было нельзя – безумный Петр хотел сожрать младенца Илюшу. Марфа не раскаивалась в своем грехе, повторись – снова бы Петра прикончила. Она большая грешница, хотя родные ее праведницей считают.

Аннушка Петру родная племянница, но не гыгыкает, как он, через слово. И Петр ведь не был слабоумным в полном смысле слова, и Аннушка как бы нормальная...

Камышин просыпался от горестного стога жены:

– Марфа, дурной сон?

Он гладил ее по лицу, по плечам, рукам, пока она не расслаблялась, тело не становилось мягким, теплым, нежным, как подошедшее тесто.

– Про Аннушку моя печаль.

– Да, надо признать. Девочка необычная. Но ведь все ее любят! Братья пылинки сдувают. И потом, она не страдает! Если бы страдала, мы бы заметили.

– Не-е-ет, у Аннушки не заметишь.

Марфа помнила, как Аннушка вывихнула ножку на ступеньках в их парадном, лежала клубочком и не плакала, на помощь не звала, сосед ее нашел. Как Аннушке учительница дала гербарий, который весь класс летом собирал, отнести домой, сделать подписи. Это была большая честь, и учительница – умница, потому что тихой Аннушке поручила. Но хлынул дождь, поздняя осенняя гроза, с неба как из бочки, и гербарий, который Аннушка пыталась спасти под пальтецом, пропал. Любая другая девочка плакала бы навзрыд – так опозориться, доверия не оправдать. Аннушка, прижав колени к груди, сидела в углу дивана, смотрела в окно. Возможно, была чуть напряженнее, чем обычно, но это только если нарочно приглядываться.

В седьмой класс Аннушка шла как на плаху. Начнутся и будут долго-долго тянуться издевательства Прыща. Ее посещали мысли о самоубийстве – разом оборвать муку. Но эти мысли были постыдные.

Мальчик, ученик Марьяны, ведь не покончил собой.

Тетя Марьяна рассказывала. Аннушка поняла, что для нее специально рассказывала. У мальчика были какие-то проблемы с пищеварением, но ведь детям не объяснишь, что родители, ученые со степенями, вместе с врачами подбирают вещества, называемые ферментами, чтобы убрать метеоризм. Мальчик иногда пукал. Дети, как только раздавалась трель, зажимали носы и принимались хохотать. Марьяна сначала делала вид, что ничего не слышала, урок продолжался. Не помогло.

Стала поднимать учеников по очереди:

– Игорь Скворцов! Встать! Сказать в лицо, один на один, мальчику, страдающему недугом, то, что ты секунду назад орал.

Он орал: «Пердун! Пердун!»

– Извини! – цедил Игорь. – Можно я сяду?

– Тамара Игнатова! – не унималась Марьяна. – Наша классная принцесса, прима. Встать, когда к тебе учительница обращается! Повернись и посмотри на своего одноклассника, которого благодаря тебе, потому что весь класс заводишь, презируют. Когда-нибудь ты выйдешь замуж, и у тебя будут дети. Не исключено, что твоего сына тоже будут травить. И знаешь, когда тебе повезет? Если твой сын сумеет вот так, как он, – показывала Марьяна пальцем на несчастного пукальщика, – держать удар, приходить в коллектив. Человек может не помудреть никогда. Чаше мудреют к старости. Очень редко мудрость усваивают молодые. Мудрость – это сострадание.

Пердун и Анализ кала – очень похоже, воняет одинаково постыдно и отвратительно. Тот мальчик не покончил собой, значит, и она сможет выдержать, даже не имея такую внимательную и добрую учительницу, как Марьяна.

Всё, связанное с физиологическими оправлениями, с демонстрацией оголенных частей тела было для Аннушки мучительно до обморока. На физкультуру она переодевалась не в раздевалке, а в кабинке женского туалета. Когда тетя Марфа в ванной терла ей спинку, Аннушка скрючивалась черепашкой. Она не просто стеснялась своего тела. Ей казалось, что посторонние взгляды оставят на нем ожоги, коричневые пятна – как перегретый уют на белье.

Она ощущала себя огромным пустым сосудом. У тети Марфы есть пузатая двадцатилитровая бутылка с толстыми стенками и узким горлышком. Тетя Марфа покупает и засыпает туда по мере созревания и падения цен на ягоды: клубнику, смородину, красную и черную, малину, клюкву, бруснику. Начиная с первого слоя, идет залив спиртом, который покупается у знакомого провизора в аптеке. Ягоды подсыпали, спирту подлили. Аннушка – такой же сосуд, только стенки не из толстого стекла, а из тонкой пленки. И сосуд всегда пуст, как ни пытаются родные его чем-то, с их точки зрения вкусным, полезным, приятным, наполнить. В горлышке даже не пробка, а затычка из пустоты, ничего не пропускающая.

Брат Егор однажды рассказал ей, как долго страдал от одиночества, от тоски по маме. Сын полка, brave партизан, потом отчаянный хулиган, атаман московской шпаны, он плакал по ночам в мечте о маминых

объятиях.

– Ты грустная, печальная, потому что одинока, потому что наша мама умерла? – спросил брат.

– Я не знаю, – потупилась Аннушка.

Егор слегка обиделся: он открыл ей свои давние мальчишеские тайны, а она – с вечным «не знаю».

Но Аннушка действительно не знала, что сказать. Если бы ответила: «Да, я скучаю без мамы», – это было бы неправдой. Скажи она: «Нет, я почти не помню маму», – прозвучало бы как предательство. Не говорить же брату, что у нее не одиночество, а пустота, тоска не по маме, друзьям, не по умению беззаботно веселиться, играть, наряжаться, кокетничать, кружить головы мальчишкам. Нет, у нее другая тоска, и Аннушка сама еще не знает, чего пустота хочет.

Первого сентября перед началом линейки, когда в школьном дворе в каре выстроились классы, когда все здоровались, мальчишки хлопали друг друга по плечам, девочки придирчиво осматривали одна другую, к ним подошел невысокий паренек, смуглый, чернявенький, с глазами-угольками.

– Седьмой «Б»? Привет! Я Озеров Юра, буду учиться в вашем классе.

Ему не успели ответить, рассматривали, оценивали...

И тут раздался возглас Прыща:

– Анализ кала! Кого я вижу! Анализ кала! Фу, воняет! – Прыщ подошел вразвалочку и картинно зажал нос пальцами.

Аннушка стояла в сторонке, хотела занять самое неприметное место, но разве при ее росте будешь неприметной? Мучитель сразу ее увидел.

Ребята оглянулись. Вокруг Аннушки и выписывающего кренделя Прыща образовался круг отчуждения. Аннушка стояла потупившись, Прыщ куражился. Никто не подумал защитить ее – обычный спектакль, тысячу раз видели.

– Мерзость! – вдруг сказал новенький. Бросил портфель на землю, шагнул вперед и двумя руками толкнул в грудь Прыща. – А ну пошел! – снова толкнул.

Юра Озеров был ростом Прыщу и Аннушке до плеча. Но в его напряженной фигуре, в искаженном гневом лице была такая яростная сила, что Прыщ отступил, хотя и ругаясь, грозя «размазать по стенке шмакодявку-цыганенка».

– А вы? – повернулся и оглядел ребят Юра. – Как подлые фашисты!

– Ребята, ребята! – подошла и захлопала в ладоши запыхавшаяся, опоздавшая классная руководительница. – Все повернулись ко мне! Всем –

здравствуйте! Линейка начинается, сейчас будет говорить директор. Построились и не шуметь! Тихо!

Она не обратила внимания на то, что последнее замечание было лишним: 7-й «Б» в отличие от других классов не галдел.

И потом, на первом уроке – классном часе – она приписала странную пассивность ребят тому, что они повзрослели.

А им, вдруг и сразу, открылась собственная бесчеловечность. На их глазах травили безобидного человека, а они не заступались, даже потешались. Как фашисты. Страшнее оскорбления, чем «фашист», не имелось.

После уроков, естественно, должна была состояться драка Озерова с Прыщом. На переменах он ходил, поигрывая мышцами, рассказывая, как уделает новенького шпингалета, но его похвальба ни у кого интереса не вызывала.

Он попытался снова задирать Аннушку, и уже другой мальчик встал на ее защиту:

– Не лезь к Медведевой, Прыщ! Выдавлю!

Обычно мальчишки выясняли отношения в укромном уголке, между спортзалом и палисадником, где их нельзя было увидеть из учительской, кабинетов завуча и директора. Дрались один на один или группа на группу – по-честному. А против Прыща за спиной Юрки-новенького выстроились все мальчишки-одноклассники. Девчонки в стороне стояли, наблюдали, не было только виновницы конфликта – Медведевой.

– Не-е по-о-онял! – нараспев возмутился Прыщ. – Все против одного, чё ли?

Ответили не хором, говорили один за другим, как монтаж на концерте – это когда стихотворение делят на строчки и всем раздают:

– Мы же не звери, как ты.

– По очереди, но с каждым, Прыщ!

– Давно надо было тебя отделать.

– Надоел!

– Чего вылупился? С кем первым драться будешь?

– Предоставляем право выбора.

– Да пошли вы! – пытался хорохориться струсивший Прыщ.

– Нет, это ты сейчас пойдешь отсюда, – шагнул вперед Юра Озеров. – Покатишься колбаской по Малой Спасской. Брысь, зараза!

Под свист и улюлюканье Прыщ стал продираться через кусты, побоялся по дорожке мимо одноклассников пройти.

– Ребята! – обратился к ним Юра. – По-нормальному, по-пацански, это

меня надо было побить. Но знаете что? Айда ко мне домой? Мы только вчера от бабушки из Астрахани приехали. И у нас есть! Внимание! Тазик черной паюсной икры! Ее как колбасу режут и на хлеб кладут – вкуснотища! Сестра в садике, родители на работе. Скинемся на хлеб?

– И на пиво?

– Девчонок берем?

– Так уж и быть, берем несчастных.

– Почему пиво, кто знает? Я могу домой сбегать, у меня в копилке рублей тридцать мелочью.

По дороге Юра рассказывал, что они недавно получили квартиру и переехали на Петроградскую сторону, что у них в квартире, по выражению его мамы, Мамай прошел, не удивляйтесь.

Когда его родители, забрав младшую дочь из садика, пришли вечером домой, они обнаружили не мамаево побоище, а полную квартиру нетрезвых детей. Особенно выделялись девочки – по случаю первого сентября в белых фартуках и белых бантиках на косичках и хвостиках.

– Мои новые одноклассники! – широким жестом познакомил их Юра и добавил с гордостью: – Мы почти всю икру съели!

– Удачно я друзей на выходные пригласил, – сказал Юрин папа.

– Дети! Что с вами теперь делать? – пробормотала мама.

– Постлоиться попално, – неожиданно подсказала, картавя, маленькая сестра.

– Это мысль! – совершенно серьезно похвалил ее папа и, как взрослой, наклонившись, пожал с благодарностью руку. – Мальчики провожают девочек. Построились попарно!

– Пару выбирает девочка! – скомандовала мама, когда завихрилась неразбериха.

Аннушка не присутствовала на этой «прописке» Юры Озерова, сразу после уроков убежала домой, но в мельчайших подробностях знала о мероприятии. Потому что много дней все это обсуждалось взахлеб. Как Петров сел на узел, а внутри был абажур, как Ригин долго заводил патефон и говорил: система не европейская, возможно, американская, – как танцевали, как пришла соседка и Вера Колодяжная, круглая отличница, зубрилка, сказала соседке, что здесь проходит комсомольское собрание и репетиция концерта к Седьмому ноября, как Орлов сорвал цепочку от бочка над унитазом и его заставили после каждого сходявшего вносить стул, лезть наверх, нажимать на рычажок и смывать, как пришли Юрины

родители, выстраивали их попарно, мальчишек было больше, самых нетрезвых вывели из строя и посадили на диван – отпаивать крепким чаем, как мама Юры стояла у выхода и давала каждому понюхать ватку с нашатырным спиртом.

Класс сдружился, превратился в веселый сплочённый коллектив, в школу мчались как на праздник. Базой стала квартира Озеровых. Юрины родители, инженеры с электротехнического завода (абсолютно мировые родители!), стоически переносили, что в их доме постоянно присутствуют подростки: то репетируют капустник, то делают стенгазету, то отмечают чей-то день рождения. Аннушка несколько раз там бывала, но в общем веселье не участвовала. Она не умела шутить, подавать остроумные реплики, отгадывать шарады и изображать «клен ты мой опавший» в игре «крокодил». Она была одушевленной мебелью на этих вечеринках.

Прыщ попался на какой-то краже, его отправили в колонию для несовершеннолетних, его исчезновения никто не заметил. К Аннушке не стали относиться лучше, теплее – по-особому, она не превратилась в оберегаемую священную корову. Во-первых, потому, что не просила о жалости и несчастной не выглядела. Нелюдистой, замкнутой, стеснительной – да, но не жалкой, а себе на уме. Во-вторых, она была напоминанием о не самом благородном периоде их жизни. Ее приглашали, но не настойчиво, от нее не прятались, но и не брали во внимание.

Она приходила только с одной целью – смотреть на Юру. Она смотрела на него в школе: со своей последней парты первого ряда на него за второй партой в третьем ряду. Когда бы он ни оглядывался, обязательно наталкивался на ее взгляд. И на переменах, и на физкультуре, и на экскурсиях в музеи, и в походах. Она не пыталась с ним заигрывать, не старалась оказаться рядом, не приглашала на «белый танец» – она только смотрела. Ни для кого не было тайной, что означают эти взгляды: Медведева втюрилась в Озерова по самое не хочу. Однако над Аннушкой не смеялись, не подшучивали, они свое отшутили, деликатно делали вид, что не замечают ее влюбленности.

В середине третьей четверти Юра не выдержал. Сказал после последнего урока:

– Пошли за спортзал, поговорить надо.

Аннушка всегда знала, что у нее есть сердце, оно билось, иногда замирало от смущения, от страха доставить кому-то огорчение. Но Аннушка не ожидала, что взволнованное сердце способно разлететься на мелкие кусочки и пульсировать в каждой клетке, сделав тело невесомым. Юра сейчас что-то волшебное скажет – и она полетит...

– Ань, ты это... – мялся Юра. – Я все понимаю, и вообще. Ты очень симпатичная и все такое. Но, Ань! Ты длинная, а я короткий. Если я буду с тобой ходить, над нами будут смеяться.

«Ходить» обозначало «встречаться»: мальчик носит портфель девочки, провожая до дома, они вместе ходят в кино, на каток, в парк на аттракционы.

– Не знаю, – прошептала привычное Аннушка, чувствуя, что вместо того, чтобы оторваться и взлететь, она вырастает ногами в землю.

– И ты... это... не смотри на меня *так*, ладно? – попросил Юра. – Все же видят, неловко.

– Хорошо.

Что значит *так*, Аннушка не поняла, но Юра ждал ее согласия.

– Тогда я пошел?

– Конечно.

– Пока?

– Пока!

Он ушел, а она еще долго не могла сдвинуться с места – оторвать от земли ноги, будто намагниченные.

Юра ни в чем не виноват, он хороший, больше чем хороший, он ее спаситель. Но что же она наделала, как *так* смотрела? Мелькнула ревнивая мысль: «Он с Катей Семеновой ходит, а она тоже выше его». Эта мысль была неправильной, постыдной, потому что Юру ни в чем, ни в чем упрекать нельзя. Аннушка откуда-то знала, что людей осуждать нельзя. Даже Прыща, который над ней издевался. А вдруг у Прыща мама болеет? Или его любимую собаку убили?

Она брела по улице на каменных ногах. Последние полгода у нее были очень счастливыми. Пустота стала заполняться: тонкие струйки разноцветного дыма – розового, голубого, бледно-зеленого – втекали в сосуд и смешно клубились. Теперь их надо извергнуть. Но дымок – это не дурная пища, вроде порченной рыбы, его не вытошнить. Он не хочет выходить, доставляя страдания, требуя осуществления несбыточных надежд.

Аннушка вошла за церковную ограду, потому что увидела скамейку. Нужно присесть, иначе упадет.

– Девонька, милая! – обратилась к Аннушке женщина. – Тебе плохо? Наблюдаю: давно сидишь, не застудилась бы.

– Я не знаю.

– В семье что или в школе?

– В школе.

– Сама крещеная?

– Да.

– Пойдем в храм, помолимся. Бог поможет. Нельзя девочке на холодном сидеть.

Первое посещение храма не произвело на Аннушку впечатления, никакой благодати не влило ей в душу. Она словно оказалась действующим лицом в кино. Полумрак, свет только от тонких свечей, воткнутых в песок, насыпанный в большой плоский медный таз на ножке. Они с тетенькой стоят перед иконой, на которой не разглядеть изображения. Тетенька бормочет молитву, пахнет странно, шерстяная шапка, связанная из колючей шерсти, кусается. Хотела снять шапку, тетенька прервала молитву и велела покрыть голову.

Женщина закончила молитву и спросила Аннушку:

– Согрелась? Ну, иди с Богом, миленькая!

Уже дома, сделав уроки, поужинав, укладываясь спать, естественно, ни с кем не поделившись своими горестями, Аннушка вдруг вспомнила, как хоронили маму. У гроба, стоящего на лавке, женщины нараспев тянули непонятные песни. Они были как молитвы доброй женщины, что привела ее греться в церковь. Слова русские, но искаженные, строятся в предложения, смысл которых улавливаешь как мелодию в иностранной песне, жалобной и просительной.

Аннушке было пять лет, когда умерла мама. На кладбище люди снова говорили на непонятном родном языке. И тетя Марфа учила ее креститься:

– В горстку три первые пальчика, моя милая, а мизинчик и безымянный прижми. К лобику пальчики – для освящения ума, к чреву, к животу – для освящения чувств, теперь к правому плечу, затем к левому, чтобы освятить наши силы телесные. Мамин дух порадует! Как хорошо Аннушка крестится!

Аннушка потом, прячась под столом, в любимом своем закутке, пробовала креститься и бормотала: «Прости, Господи!» Только все время путала, сначала к правому или к левому плечу...

Второй раз она пришла в церковь через неделю после объяснения с Юрой Озеровым, не потому, что испытывала какую-то внутреннюю тягу или праздный интерес. Аннушка никогда не могла ответить на этот вопрос, заданный самой себе, и сама себе мысленно говорила: «Ноги принесли. Бог позвал».

Марфа не могла нарадоваться, глядя на племянницу. Чаще стала глаза от земли поднимать, улыбаться, отвечать на вопросы, а не уклоняться от них – «не знаю».

– Уж не влюбилась ли ты, касаточка? – спрашивала Марфа.
Аннушка улыбалась и тихонько посмеивалась, как бы подтверждая.
– Из вашего класса мальчик?
– Это секрет.
– Дай Бог! Первая любовь – она либо счастье большое, либо мука на всю жизнь.
– У меня будет счастье.
– Дай Бог! Дай Бог! – повторила Марфа, не подозревая, как приятны Аннушке эти слова.

Тетя Марфа очень хорошая, добрая, она заменила Аннушке маму. Она вообще Мама с большой буквы – для всех, включая мужа. И как мать она твердо стоит на земле, заботясь о насущном, практическом, материальном. Тетя Марфа не заметила, когда у племянницы была земная любовь, раздавленная в зародыше, а когда Аннушка полюбила Бога, решила, что у племянницы появился мальчик.

Марфа была спокойна еще и потому, что в школе на родительских собраниях классная руководительница говорила, что у них очень дружный, сплоченный класс, отличная комсомольская организация.

– Анна Медведева участвует? – спрашивала Марфа после собрания.
– Конечно, – отвечала учительница. – Возможно, она не самая активная девочка, но это уже особенности характера.

Задерживается Аннушка после уроков, так это нормально: у школьников вечно то секции, то кружки, то сбор металлолома, то репетиции к праздничным концертам. Так было и у Митяя, и у Насти, и у Степки. Почему же не может быть у Аннушки, тем более что учительница подтверждает? Марфе в голову не могло прийти, что Аннушка не макулатуру собирает, не в волейбол играет, а в церковь ходит.

Приехала Клара, поселилась в одной комнате с Аннушкой. Однажды увидела, что Аннушка молится на бумажную иконку.

– Ты чего это? – вытаращила глаза Клара. – В Бога веришь?
– Верю.
– Его давно отменили.
– Бога нельзя отменить.
– Все-таки ты, Аннушка, сильно того, – покрутила пальцем у виска Клара. – Тете Марфе не скажу, если ты мне денег одолжишь. Сколько накопила?
– Сто рублей.
– Одолжи тридцать, нет, пятьдесят.

Клара деньги взяла, отдавать не спешила, а Марфе все-таки донесла.

Как должна была поступить Марфа, которая первой сложила девочке пальцы для крестного знамения, когда Парасю хоронили? Вера в Бога – это не позор. А лучше, как их соседка по даче, шалава Танька – ровесница Аннушки, а уже клейма ставить негде? Кроме того, Марфа считала, что в отношениях человека с Богом третий лишний: только ты и Бог. Он ведь не начальник, к которому ходят с коллективными жалобами. И влезать в отношения человека с Богом еще более недопустимо, неделикатно, невоспитанно и грубо, чем вмешиваться в отношения супругов.

Марфа ничего не сказала племяннице и потом долго себя за это корила. Возможно, тогда, за полгода до окончания Аннушкой школы, можно было еще что-то сделать. Но тут аккурат Клара оставила трехмесячную дочь и укатила к мужу. Львиная доля Марфиного внимания и заботы приходилась на младенца Татьянку.

Аннушка пришла после выпускного бала утром, они завтракали на кухне.

– Куда ты все-таки поступаешь, Аннушка? – спросил Александр Павлович. – Решила? Пора документы в вуз подавать.

– Я не буду поступать в институт, – тихо ответила Аннушка. – Я хочу уйти в монастырь.

Если бы в руках у Марфы была посуда, кастрюля с горячим супом, она бы выронила и не заметила. Но на руках у нее был младенец, и Марфа его удержала в последнюю минуту, а потом ребенка забрал Камышин.

Марфе казалось, что она завывала в полный голос, но на самом деле только горестно стонала. Именно в этот момент ей показалось, что нежно любимые Степан и Парася с того света, с облаков шлют на нее проклятия: «Не уберегла нашу донечку!»

– Аннушка, – нервно тряс ребенка Камышин, хотя Татьянка спала и укачивать ее было не нужно, – ты веришь в Бога?

– Да.

– И ходишь в церковь?

– Да.

– Давно?

– Три года.

Аннушка отвечала, потупив взгляд.

– Почему же ты нам ничего не сказала?

– Не знаю.

Она им не сказала, потому что они всполошились бы, возможно, запретили бы посещать храм, установили опеку. Не сказала, потому что

простыми словами не описать ту великую благодать, которая поселилась в ее душе, тот мир сострадания, любви и веры, который ей открылся, те минуты вдохновения и эйфории, которые часто переживала. Как бы она сказала? Вера дает мне эйфорию? Звучит как похвальба пьяницы.

– Марфа, перестань скулить! – велел Камышин. – Возьми ребенка! – Ему не сиделось на месте, он стал ходить от окна к двери, пять шагов туда, пять шагов обратно. – Совершенно очевидно, что проводить сейчас с тобой атеистические беседы нелепо. Но ты пойми! Твое решение уйти в... я даже выговорить не могу! Все равно как бы ты сказала: завтра выкопают яму, меня туда положат и засыпят. Как, скажи на милость, мы должны реагировать на подобное заявление?

– Это не так, – подняла глаза и помотала головой Аннушка, – это не яма, это наоборот.

– Хорошо! – остановился Александр Павлович напротив девушки. – В любой ситуации... почти в любой можно найти компромиссное решение. Тебе никто не будет запрещать верить в Бога, ходить в церковь. Хочешь иконы повесить – пожалуйста! Но откажись от идеи с монастырем!

Аннушка идти на компромисс не хотела. Марфа позвонила в Москву. Братья Аннушки, Василий и Егор, бросили все дела и помчались в Ленинград – как на пожар.

Их семья, как и подавляющее большинство семей в СССР, была атеистической. Религия – опиум для невежественного народа, в церковь ходят дремучие старухи и примкнувшие к ним полоумные, необразованные личности. Верить в Бога стыдно и позорно, потому что науке совершенно точно известно, что Бога нет. Попы и прочие церковники – кровопийцы, паразитирующие на мракобесии отсталых представителей общества. Подростки, которые улюлюкают и освистывают Крестный ход на Пасху, – безобидные шалуны.

Настя и Митяй встречали москвичей на вокзале и привезли к Камышиным. Степка не пошел на занятия в институт, Александр Павлович – на работу.

Они расселись в гостиной, Аннушка примостилась в углу дивана. На нее обрушился многоголосый поток увещеваний, противорелигиозной агитации и пропаганды и даже подозрений в душевной болезни. Митяй сказал, что Аннушку давно надо было показать психиатру и что они найдут хорошего специалиста. Женщины говорили о счастье материнства, святое которого нет, и Аннушка не знает, чего хочет лишиться себя. Егор считал, что сестре надо поехать летом на Черное море. Там мировые ребята спасают

черноморских дельфинов. Степка говорил, что на попа, который задурил голову Аннушке, надо написать заявление в прокуратуру.

Она впервые подняла голову и тихо сказала:

– Отец Федор отговаривает... как и вы.

Ее слова вызвали замешательство, поскольку в них не было логики: священник не затягивал веревку на шее девушки, а уговаривал снять удавку. И удивительной, непривычной была твердость Аннушки – прежде всегда покорной, ласковой, ранимой, уступчивой. Марфа сидела с лицом преступницы, чье преступление заключалось в том, что проморгала, как дом ограбили. И в этом как раз была логика.

Василию вдруг показалось, что все это напоминает заседание партбюро, на котором его песочили за аморалку. Только там были чужие люди, которые не имели права ковыряться в его личной жизни, а он имел стопроцентное основание послать их подальше.

Он встал, попросил Марьяну, которая сидела рядом с Аннушкой, уступить место. Опустился на диван, обнял сестру, пристроил ее голову на своей груди.

Поцеловал в макушку:

– Ты понимаешь, что мы все тебя любим и переживаем за тебя?

– Да.

– Есть такой анекдот, – подал голос Степка. – Приходит мужик к попу: «Батюшка, начался пост. С женщиной сейчас можно?» – «Можно, если не жирная», – отвечает поп.

Никто не рассмеялся.

Василий тоже на партбюро рассказал анекдот, и ему казалось, что тогда это было уместно, вызываяще, смело.

Теперь же он, почувствовав, как болезненно напряглась Аннушка, скривился:

– Степка! Ты осёл!

Егор встал, подошел к Василию и Аннушке, присел перед ними:

– Сестренка, братка прав! Мы тебя очень любим, и поэтому у нас есть право остановить тебя, когда ты по ошибке хочешь исковеркать свою судьбу.

– Вы не понимаете меня, – прошептала Аннушка.

– Так объясни нам! – попросил Егор.

– Это очень сложно... нельзя... словами. Я стала не пустая... не одинокая. Нет, вы не подумайте, я не была одинокая... в простом, человеческом смысле. Я вас тоже очень всех люблю! Я буду за вас молиться! Если вы меня любите, то поверьте мне, пожалуйста!

Они видели, как непросто далась заплакавшей Аннушке эта речь. И дальше наседать на девушку было бы жестоко.

– Хватит на сегодня, – поднялся Камышин. – Давайте обедать.

Вечером гуляли по Ленинграду. В белые ночи он всегда бывал прекрасен, а теперь зол, хмур и тревожен. Ветер носил по небу темные облака, взбухшие от непролитого дождя. Состояние атмосферы один в один повторяло их настроение.

На следующий день Василий и Егор вышли к завтраку понурыми. Марьяна занималась маленькой Татьянкой, чтобы дать возможность Марфе приготовить завтрак и всех накормить. Москвичи уезжали дневным поездом. Они ничего не добились, приезд был напрасным, их сестра намерена сгубить себя, а они выказывают полнейшую беспомощность. Возможно, следовало действовать жёстче: забрать ее, насильно увезти – в Москву, на биологическую станцию у Черного моря, к черту лысому. Черта, как и Бога, не существует, но фигурально: разудалый лысый черт все-таки привлекательней постного боженьки.

– Где Аннушка? – спросил Егор.

Они приготовились услышать какую-нибудь гадость. Вроде: «Пошла к заутрене».

– Спит, – ответила Марфа. – Всю ночь проплакала. Ей ведь проще в петлю, чем вас огорчить.

Марфа не стала добавлять, что сама долго просидела с Аннушкой, что они задушевно поговорили и какая-то надежда забрезжила.

Про эту надежду Марфа и рассказала.

В монастырь не уходят навечно: ворота захлопнулись и прощай. Сначала девушка будет трудницей, станет работать, осматриваться, поймет, правильный ли путь выбрала, она в любой момент может уйти. Следующий этап – послушница, у нее по-прежнему остается мирское имя и право покинуть обитель. Затем иночество и уж потом постриг.

– Аннушка пообещала мне, что не будет торопиться с иночеством и постригом, хотя бы три года, и обязательно будет регулярно писать нам письма, – подытожила Марфа.

Василий, Егор и Марьяна заметно воспряли духом, повеселели.

– Ой, я проспала! – На пороге кухни стояла Аннушка.

Юная, красивая, лохматая, худенькая, зажавшая в кулачки на груди полы халатика. Какая из нее монашка? Постриг, келья, монастырь – бред! Сбежит оттуда через полгода самое большее.

– Братики, можно я вас провожу на вокзал?

– Конечно! – ответил Вася. – Если пораньше выйдем, успеем заглянуть в кафе «Север» на Невском. Я обожаю их заварные пирожные.

– А я буше, – улыбнулась Аннушка. – Лучше буше могут быть только буше.

И поскакала в ванную. Это монашка? Это глупая наивная девчонка! Они поступили правильно, не применив силу. У Аннушки остался бы комплекс сломанной судьбы, обиды на родных. А так она своим умом и опытом дойдет до абсурдности необдуманного решения. Аннушка скоро вернется.

Аннушка не вернулась. Судя по часто меняющимся адресам, переезжала с места на место. Из писем, наполненных уверениями, что ей живется очень хорошо и благостно, нельзя было понять, что заставляет ее мотаться по стране от Псковской области, Челябинской, Киевской до Молдавии. На конкретные вопросы братьев Аннушка расплывчато писала о каких-то гонениях, они же посланные испытания, и выводила красивым каллиграфическим почерком нелепости про Бога, который будет их хранить ее молитвами. А потом пришло письмо из Каларашского района Кишиневской области, опять-таки про Бога, который чего-то там не должен допустить и кого-там покарать. Марфа подняла тревогу: если Аннушка желает кого-то покарать, пусть и с Божьей помощью, то дело очень плохо. Егор и Василий рванули в Молдавию.

Они пережили потрясение. Оказывается, через пятнадцать лет после Победы в стране шла народная война, о которой в газетах не писали.

Во время Великой Отечественной войны было открыто много храмов, в том числе на оккупированных территориях, то есть под немцами. Фашистам церковь не мешала, а вновь заработавшие храмы могли примирить местных жителей с оккупацией, отвадить от партизан. И после Победы, в последующее мирное десятилетие, церкви открывались по всей стране. Во-первых, нельзя было проиграть фашистам, открывшим храмы, в которые валил народ, а советская власть вдруг возьми да и закрой их. Во-вторых, священники на захваченных территориях не призывали покориться врагу, а молились вместе с прихожанами за избавление родной земли от страшной напасти, за воюющих, за погибших, за силу духа в страшных испытаниях. В-третьих, Русская православная церковь пожертвовала во время Войны на вооружение огромные средства. В-четвертых, каждый пастырь жил едино с народом. Рабочие и служащие в тылу, потерявшие накопления, обложенные налогами, отчисляли в пользу фронта с каждой зарплаты. Приходские священники зарплаты получать перестали – служили

за прокорм, за милостыню прихожан.

А потом политика изменилась, церкви и особенно монастыри «сокращались». Это было не так оголтело и свирепо, как в двадцатых годах, но тоже очень болезненно. Конечно, СССР – «страна полной и окончательной победы социализма», через двадцать лет, как утверждает Хрущев, мы построим материально-техническую базу коммунизма, и религиозное мракобесие – родимое пятно на нашем обществе. Но зачем же бульдозерами и динамитом?

Речульский монастырь, в котором Аннушка была послушницей, братья обнаружили в осаде. Местные крестьяне, вооруженные вилами, палками и камнями, больше недели несли круглосуточное дежурство. Потому что прошел слух, будто монастырь закрывают (уже несколько, в других районах, закрыли), а сестер сошлют на Север. На каждую попытку милиции навести порядок защитники реагировали колокольным звоном, и тогда с полей прибегало еще больше народу. Василий и Егор поразились тому, что монастырь отстаивают не дряхлые старушки с крестами и иконами, а мужики, женщины среднего возраста, подростки и даже приехавшие из Кишинева студенты. Идеологически Василий и Егор были на стороне осаждающих – представителей власти и милиции, но в душе не могли не восхититься мужеству людей, защищающих свою веру. Кончилось все плохо: во время очередного штурма, почему-то называвшегося «попыткой установить контакт», в милицию полетели камни и палки, вой стоял страшный, лейтенанту милиции досталось по голове, он выхватил пистолет и открыл огонь на поражение, одного мужика ранил, второго убил. Толпу разогнали, с десятков человек арестовали, закинули в машину и увезли.

Монастырские сестры прятались по окрестным селам. Аннушка очень обрадовалась братьям. Им казалось: монашка – это закутанная в черное хмурая фанатичка. Но Аннушка была весела и улыбчива, смотрела в глаза и часто радостно смеялась: братики мои приехали! Одета в черные платье и косынку, с натруженными мозолистыми руками, она порхала и производила впечатление солнечного счастливого человека. Она была в десять раз вольнее и счастливее той девочки, подростка, которую они помнили по своим приездам в Ленинград. Увезти ее насильно, как планировали? Куда? Туда, где она снова опустит голову и будет передвигаться бочком? Хотя, конечно, попытались уговорить. Рассмеялась, замахала руками, точно они, глупые, предложили ей вернуться из рая в мирскую суету. Так, наверное, и было.

Василий и Егор помогли местным крестьянам перевезти сестер в другой монастырь. Переселенок было пять десятков, кто из них в каком «звании» (инокиня, послушница, трудница), не усвоили. Две трети – немощные больные старухи, несколько женщин среднего возраста, а из молодежи – Аннушка и еще две девушки. Василий и Егор правили лошадьми, их сестра носилась из конца в конец «кортежа» – вереницы телег, на которых сидели, точно нахохлившиеся черные галки, монашки. Аннушка кому-то давала воды, кого-то устраивала поудобнее, с кем-то шепталась. И все время смотрела на них: радостно, счастливо и даже, пожалуй, по-матерински. Василий был старше Аннушки на тринадцать лет, а Егор на восемь.

Тетя Марфа твердила им перед отъездом по телефону как заклятье:

– Только пусть постриг не принимает! Только не в инокини!

Когда прощались, Вася сказал сестре:

– Поступай как хочешь. И знай, что мы любому черту за тебя рога обломаем.

– Как Бог рассудит, – повторил Егор фразу, которую последние двое суток слышал множество раз. – Вот интересно! Как становится ясно постановление Бога? Оно же не приходит в письменном виде?

Аннушка рассмеялась, поцеловала их и перекрестила:

– Вы верите в Бога, просто сами еще этого не знаете. Вы такие хорошие, что обязательно в вас вера есть.

Они возвращались очень усталые, но с шиком – в двухместном купе, билетов в другие вагоны не было. Пили молдавский коньяк, закусывали мясистыми сочными персиками и абрикосами – каждая долька размером с ладошку ребенка.

– Мой не друг-приятель, даже не коллега, – говорил захмелевший Василий, – но отличный ученый, доктор физических наук, карьера, квартира, машина и прочее. Все бросил, ушел в монахи. Что характерно! Уже нахлобучив на башку, – постучал по голове Василий, – как его?.. клобук?.. написал отличную работу по квантовой теории. Меня заинтересовало. И что я выяснил?

– Что ты выяснил?

– Между нами! – приложил указательный палец к губам Вася. – Секретная информация, враг не дремлет. В недрах нашей церкви пребывала и пребывает в настоящее время чертова прорва, пардон, очень много, дьявольски, опять пардон, много людей прекрасно образованных, имеющих научные степени. Это тебе не тетя Дуся с базара! Потому что тетя Дуся не

способна написать такие научные труды. Я тебе скажу больше, но поклянись, что дальше не пойдет!

– Клянусь.

– Некоторые ученые, – зашептал Василий, – в ходе своих исследований натываются на явления, которые нельзя описать... Ёшкин кот! Никак нельзя описать, кроме как действием высшей силы!

– Не будем показывать на этих ученых пальцами, на них плохо действует молдавский коньяк?

– В точку!

– Вася, ты обратил внимание на слова, которые Аннушка часто повторяла – когда ее хвалили или когда кто-то рядом плевался; тьфу-тьфу, чтоб не сглазить? Сестра крестилась: «Во славу Божью и чтобы враг не попра!л!» Я только сейчас сообразил, что под «врагом» подразумевается черт или дьявол.

– До тебя вообще не скоро доходит. Как до жирафа. Чего б тебе не изучать африканских животных? Там тепло, глядишь, и разморозился бы.

– Ты единственный человек, которому я позволяю разговаривать со мной подобным тоном.

– Конечно! – живо откликнулся Василий. – Я большак! Отца-то давно не стало.

– Многих не стало. Братка, как думаешь, у каждой религии свой рай?

– Не понял сути вопроса.

– Вот когда я умру, я попаду в тот же рай или пусть в ад, что и Дарагуль?

Василий нахмурился, внимательно посмотрел на брата и слегка протрезвел.

– Закажем еще бутылочку этой амброзии, – ответил Вася, – и легко нарисуем карту загробного мира, обозначив пути между поселениями разных религий. Не забыть, что у какой-то есть чистилище, кажется, у католиков. Егор! Дарагуль умерла!

– Я знаю.

– Надо это принять!

– Я знаю.

– Тогда почему сидишь?

– А что я должен делать?

– Идти в ресторан за коньяком.

– У нас два семьдесят, – вытряс Егор мелочь из карманов и купюры из бумажников. – Если оставить два пятака на метро. Коньяк стоит три пятнадцать.

– Прими свое обаяние полярника, расскажи про белых медведей, пингвинов и прочий зоопланктон.

– Белые медведи за Северным полярным кругом, пингины – за Южным. Зоопланктон не выживает дальше определенной широты. А ты не умеешь пить! В отличие от меня.

– Ты сначала коньяк добудь, зоотехник, а потом посмотрим, кто не умеет пить!

Егор вышел из купе, задвинул дверь. Стоял у окна в коридоре, смотрел в темноту, пока не услышал храп брата.

Постриг с именем Елена Аннушка приняла в Мукачевском Свято-Николаевском монастыре.

Камышин, видя, как Марфа тоскует и тревожится о племяннице, летом 1965 года постановил: едем в Закарпатье. Внучек оставили на Настю и Марьяну, которые «пасли» на даче в общей сложности семерых «своих» детей – это не считая окрестных, которые сбегались на их участок.

Камышины думали, что попадут в обстановку хмурой монастырской строгости, напоминающую тюремную, а оказались в земном раю. Монастырь располагался на поросшем вековыми дубами склоне реки. Место было необыкновенно красивым, и дышалось там по-особому легко, свободно и чисто. То, что Аннушка, то есть Елена, не томится в катакомбах, не спрятана за высокими каменными стенами, а находится в живописном месте, на просторе, в окружении великолепной девственной природы, рукотворные вкрапления в которую, вроде сада, огорода и цветников, органически вписываются в пейзаж, – стало первым радостным впечатлением Камышиных. Горестных за все их пребывание в Мукачевском монастыре не случилось.

Племянницу с первого взгляда они не узнали. Уезжала из Ленинграда стеснительная девушка Аннушка, а в обители их встретила сестра Елена – зрелая женщина, с натруженными руками, с обветренным загорелым лицом в обрамлении апостольника, поверх которого камилавка. Елена все повторяла, что Господь уготовил ей праздник – свидеться с тетей и Александром Павловичем, праздник такой же радостный, как приезд братьев пять лет назад. Она радовалась искренне – до слез. Но все-таки почему-то казалось, что, если бы «Господь уготавливал» ей слишком частые визиты родных, это было бы неуместно.

Камышины поселились в крохотной монастырской гостинице, прожили там несколько дней. Марфа работала на кухне и в огороде, Александр Павлович много гулял и несколько раз беседовал с

архимандритом Василием, духовником Мукачевской обители. Этот высокообразованный человек владел четырнадцатью языками. Кандидат богословия, он писал не только религиозные труды, но и по истории, археологии, гравитации, лингвистике Закарпатья, состоял в переписке со многими светскими учеными. Он называл эти места Карпатская Русь, рассказывал, что когда приехал сюда после Войны, то будто оказался в допетровской, допушкинской Руси.

Елена по секрету им сообщила, что отец Василий обладает даром провидения, но не любит, когда об этом упоминают. Однако наперед знает, что к нему приведут на молитву душевнобольного или одержимого бесом, за день-два святит келью, кадит ладаном. Принимает он не всех, предвидя, что больной не излечится или человек пришел по пустяку, ради праздного интереса, отговаривается, беседой и молитвой не снисходит. К отцу Василию, старцу, приезжало много народа. Старцу было пятьдесят лет, но его фигура, облик, добросердечие оказывали такое действие, что возможность находиться рядом с ним, получить благословение окрыляла людей надеждой.

Что-то насторожило архимандрита Василия в лице Марфы, он отвел ее в сторону и спросил, не хочет ли она исповедоваться. Марфа поцеловала его высокопреподобию руку, поблагодарила и отказалась. Отец Василий не настаивал, только посмотрел на нее с жалостью и печалью.

Много лет назад Марфа исповедалась во время ночного бдения Парасенке – мертвой, в гробу лежащей. Парася тогда сказала: «В чем твой грех, в том и спасение». Эти слова были бальзам на сердце, они прошлое оправдывали и на будущее силы давали. Как может она, Марфа, каяться перед архимандритом, не раскаиваясь?

Жизнь Елены, как и других монастырских насельниц, полностью зависела от игуменьи, власть которой была намного выше, чем, например, генерала в дивизии. Поэтому Марфа приглядывалась к игуменье Параскеве, невысокой худенькой женщине болезненного вида, но с лучистыми добрыми глазами. Матушка принимала пищу вместе с монахинями, держалась просто, но достойно. Марфе очень нравилось, что в монастыре не было схимниц, молчальниц, затворниц – Параскева не давала благословения на эти особые подвиги, считая, что насельницы должны вести добродетельную монастырскую жизнь, построенную на принципах христианской общины. Камышин говорил, что матушка – отличный организатор работ, под ее началом монастырь ремонтировался и обновлялся. Как ни крути, монастырь не монастырь, а женский коллектив, руководить несколькими десятками трудниц, послушниц, монахинь –

задача не из легких. Параскева справлялась с ней превосходно.

– Хорошая игуменья, – похвалила Марфа настоятельницу в разговоре с Еленой. – А то ведь знаешь как бывает. Игуменья за чарку, а сестры за ковши.

Елена рассказала, что знала о жизни Параскевы, по кусочкам, отрывкам воспоминаний сложила, услышала от прихожан.

– Ей около семидесяти лет, может, чуть больше. Мирское имя – Юлиания. Родилась в Хустском районе, сейчас это Закарпатская область, а тогда был округ в Австро-Венгрии. Отец рано умер, и мать с двумя детьми вышла замуж за Ивана Прокопа. Настоятельниц, игумений, когда упоминают письменно, указывают в скобках фамилию до пострига, потому что имена ведь повторяются. Наша матушка – игуменья Параскева (Прокоп). Отчим был с ней добр и ласков, а мама вскорости умерла. Иван Прокоп, чтобы детей поднять, женился на женщине из соседнего села, у них родилось еще четверо детей. Юлиания от отчима и мачехи видела только хорошее. Но сама она была девочкой необычной. Серьезная не по летам, уединялась часто, размышляла, чуждалась игр. Юлиания не была замкнутой или неприветливой. Напротив! Она любила и труд, и шутку, и беседу и шла на помощь без зова, не чуралась самой черной работы или самой нудной – за лежащими стариками ходить. Она только избегала игр, пустой болтовни, сплетен, праздного злословия.

Марфа и Александр Павлович быстро переглянулись: рассказывая об игуменье, Елена-Аннушка точно хотела объяснить им свое поведение в детстве, свою отчужденность. Юлиания-Параскева едва ли не с пеленок возлюбила Бога и в служении ему видела смысл жизни. У Аннушки так быть не могло! Да и Аннушкина жизнь в отрочестве не имела ничего общего с испытаниями, которые выпали на долю Юлиании.

Елена рассказывала, что в Австро-Венгрии православная церковь была запрещена, молились тайно, православных преследовали и карали. Униатские священники, когда к ним жандармы притаскивали обнаруженных молельников, уговаривали перейти в «истинную униатскую веру». Осуждать тех, кто поддался, страшно потерять домохозяйство, свободу и даже жизнь, не наше дело. Тех, кто не согнулся, пытали страшно, униатские священники не заступались. Юлиания, еще подростком, организовала кружок девушек, они сняли сарай на краю села для молитв, стали возводить стены – строить обитель. Их раскрыли-обнаружили жандармы: избили, сорвали одежды. Полуголых, окровавленных прогнали по селу, бросили к ногам униатского священника. Он обратился к ним с «пасторским» словом: «Вы страшно заблудились, ибо православна вера

шизматичка, поганска, и вы в той вере пропадете». Девушки не покорились, их, как мучеников Севастийских, вогнали в зимнюю реку и держали в ледяной воде.

Потом была Первая мировая война, осенью 1914 года русские войска пришли в Закарпатье, православие было легализовано. Но уже через три года, в 1917-м, русские войска отступили, затем революция, снова пришли «мадьярцы» – как называли местные жители венгров. И гонения, с удвоенной силой, возобновились.

– Я записала, – говорила Елена. – Однажды матушка разоткровенничалась, поведала нам, я в келью прибежала и все по памяти записала, только... немножко перевела... с местного говора на почти русский. У меня хорошая память!

Она смотрела на тетю Марфу и Александра Павловича с опаской, точно они могли заподозрить Елену в искажении фактов.

– Читай! – улыбнулся Камышин. – Что там у тебя на листочках записано?

– Это было на Крещение в 1918 году. Облава на молитвенный дом. Многие православные успели убежать, жандармы двоих мужиков и Юлианию захватили, потащили в казармы. Читаю: – «Тых двух побили и послали в сумасшедший дом, а меня зачали бить воловье жилой с оловом на конце. Били по лицу и разбили в носу все косточки, а я стою и молчу. Один жандарм говорит: “Молчишь? Подожди, змея, будешь ты у меня плакать!” Повалил меня на пол, я упала на бок. Он вскочил на меня обоими ногами, и я почувствовала, что в боку у меня что-то хрустнуло, и я застонала. “Ага! Застонала!” – радуется. Я опять молчу. Он мне кричит: “Встань!” Я встала, молчу. Он выдернул саблю и ударил меня по голове. Рассек мне голову, кровь полилась. Все как бы закачалось вокруг меня, но я еще стою. Повели меня к студне и зачали лить воду на голову». – Аннушка прервала чтение. – Я не знаю, что такое «студня», и дальше будут слова, которые я просто записала. Я не думала, что когда-либо стану это читать. Я бы выяснила их значение...

– Дальше читай! – отняла от лица ладонь и махнула Марфа, которая слушала, мелко покачиваясь.

Елена вздохнула с благодарностью и продолжила:

– «Тут я перестала видеть и чувствовать и упала. Отнесли меня в пивницу и зарыли в песок, только голову оставили наверху. На три дня приставили ко мне сокачку, чтобы следила по зеркалу, есть ли на нем от дыхания роса. На третий день вытягли меня из пивницы и стали смотреть, жива ли я еще. Каким-то железом стали мне открывать рот и сломали

зуб...» – Елена подняла голову от листочков, сочла нужным прокомментировать: – Матушка рот открыла и показала нам корешок от того зуба. И вообще она рассказывала просто, без эмоций, без оценок, как о простом течении жизни. Читаю далее. – «От боли я как бы немного опамятовалась и, не глядя, ударила наотмашь, попала прямо в лицо жандарму. Так сильно ударила его моя рука, что он потом целый месяц в больнице был». Представляете? – снова остановилась Елена. – В руке полуживой девушки вдруг такая сила? Осталось совсем немного. Не устали?

– Читай, – попросил Камышин.

– «Бросили меня на носилки и отнесли к нам во двор, бросили около хаты. Ночь, темно, зима лютая. Отец мой был тогда под обогором, молился. Мы там сделали такое тайное место, где молились. Отец меня очень любил и молился о моем спасении. Обещал, что, если буду жива, он меня Богу отдаст. Кончил отец молиться, пришел до хаты, когда увидел меня, спросил: “Ты, дочь?” Понес меня до хаты, там было много деток, не показал меня, потому что лицо у меня было все в крови, детки испугались бы. Кровь из головы у меня все не унималась. Отец побежал к военному доктору. Привел его. Доктор посмотрел и сказал, что буду жить только три часа, потому что кость на голове разрублена и мозговая оболочка повреждена. Отец и все наши стали за меня молиться. И я молилась. Прошло три часа, я все живу, и как бы мне лучше стало. Тогда тот доктор стал меня лечить. В носу все косточки разобрал и сложил все снова, как нужно. Стала я выздоравливать, училась ходить. Меня увидел тот жандарм, что голову мне саблей разрубил: “Это ты, Юлиания?” Отвечаю: “Что вам еще нужно?” Он побежал к нам до хаты и удостоверился, что это именно я, живая. Жандармы думали, что я давно умерла. Тот жандарм бросил на землю свое ружье и сказал: “Уж никого не буду бить! Вижу, на ком Божья милость!”» Это он про православных, как я понимаю. Конец моим записям. Мечты матушки сбылись – она организовала женский монастырь в Липчанах. За один год, кажется, 1926-й, построили церковь, два корпуса, кухню, трапезную, ковровую мастерскую. Неустанно трудились, молитвенно подвижнически. У Параскевы награды: крест с украшениями от патриарха Алексия... и другие... В 1947 году, когда наш монастырь был возвращен православным, Параскеву сюда, в Мукачево, настоятельницей определили, с ней часть сестер из Липчан приехала, сейчас все уже старенькие... Запечалила я вас? Тетя Марфа?

Марфа, убрав ладони от лица, смотрела в одну точку и тихо покачивалась. Она никогда не думала, в голову не приходило, что долгое

лихолетье: от революции, через две войны – были женщины, которые страдали, бились, на кровавую юшку исходили не ради семьи, детей, а во славу Бога. И Марфа не знала, как к этому относиться. Потому что при выборе – Бог или дети, прочие родные и близкие, которые от тебя зависят, сомнений не было. Бога кормить не надо. Но, возможно, молитвами тех, других, женщин, вроде Параскевы, они сейчас и живы. Ведь не за собственное благополучие Параскевы молились.

Муж легким объятием остановил ее качание:

– Марфа, ты уж слишком расчувствовалась! Конечно, впечатляет. У меня, между прочим, была жутко богомольная бабушка. Я считал ее малахольной, а утверждение мамы, что бабушка Вера за всех нас отмолит, рассматривал как способ задобрить свекровь. Аннуш... Елена! Прости, никак не могу привыкнуть. Мне кажется, что не исключен вариант, назовем его, уж извини, мирским словом «карьер», что и ты когда-то займешь место Параскевы, станешь игуменьей?

Елена изменилась в лице. Точно Александр Павлович был церковным иерархом, который назначал ей непосильное послушание.

– Я-я-а-а? – заблела. – Я-а не умею руководить, заставлять, наказывать...

– Я только предположил, – успокоил ее Камышин. – В качестве некоего комплимента. Пошутил, если хочешь. А как тебя наказывали? – с хитрым прищуром, с затаенной готовностью учинить справедливость спросил он.

– Никак. Никогда.

Им, мирянам, не следовало и бессмысленно было объяснять, какие случаются греховные помыслы у монахинь, какие епитимьи за это накладываются. Потому что они не поймут восхищения избавления – не от греха, от подступа к нему, сладость возвращения, которая есть еще одна ступенька вверх.

– Так уж и никогда? – не поверил Александр Павлович.

– Бывало, – призналась Елена, восстановившая нормальное сердцебиение. – Вы же помните, что я поспать люблю. Пяти часов сна мне никак не хватало, на заутреню просыпала. Братья в письмах все пытали: чего тебе прислать? в чем у тебя недостаток? Я возьми да и напиши им: будильник мне нужен. Они, по доброте сердечной, прислали мне... семь будильников! Как бы на каждый день недели. В том числе и очень современные, на батарейках. Я их все завела. На без двадцати минут пять утра, без семнадцати, пятнадцати, тринадцати, без десяти. По первому проснулась – в отхожее место, лик и руки сполоснуть. Остальные-то тоже

зазвенели! Я не слышала, а сестры напугались. В келью ко мне прибежали, а как усмирить будильничный хор, не знают. Две недели я свинарники чистила, будильники нищим раздавала.

Эта история, смешная, мирская, подвигла Марфу спросить:

– Ты скучаешь тут? Одинока?

– Одинока? – переспросила удивленно Елена.

Ее лицо было как открытая книга: никакой тайной эмоции, скрытой мысли – все написано. Читай без очков: «Как можно быть одинокой в месте, где ты счастлива? А! Они, верно, думают, что без связи с внешним миром мне плохо. Мне совсем не плохо, но их надо утешить».

– Братики приезжали, – сказала Елена, – теперь вы, Господь уготовил. Да! Еще приезжал Юра Озеров с женой. Как только нашел меня? Мы с Юрой в одном классе учились. Он такой замечательный, добрый, смелый, настоящий защитник! И родители у него прекрасные, и сестра, и жену Свету выбрал прекрасную. Она из параллельного класса, школу с золотой медалью окончила.

Елена запнулась, и стало понятно, что Юра Озеров когда-то был для нее не просто одноклассником, а больше – возможно, Елена, тогда Аннушка, была в него влюблена. И так же ясно было, что все эти события из прошлой жизни с ее теперешней никак не пересекаются, что они за дверью, которая наглухо закрыта и открывается только потому, что ей не хватает духу отказать тем, кто стоит на пороге.

– Отец Василий несколько раз с ними беседовал, – не без гордости продолжила Елена, – вместе и по отдельности. Юра нам насос со шлангом в речку бросил. Красота! Поливай – не хочу. А ведрами-то из речки в гору носить ох тяжко. Только электричество часто отключается, приходится снова ведрами. У Юры и Светы дочка родилась! Он написал. Живая и здоровенькая! Вот счастье Бог послал!

Камышины не поняли связи между визитом Юры, шлангом с насосом и новорожденной дочкой.

А Елена не могла им рассказать, что Юра и Света приехали черные, обескровленные, дышащие, но почти убитые. Они были прекрасными специалистами и очень хорошей парой, они не видели своего будущего без детей. И Света беременела и рожала... мертвых младенцев, год за годом... уже четверых похоронили. Врачи разводили руками. Юра и Света почти до дна вычерпали надежду – способность поддерживать друг друга. Дальше была только ненависть – обвинять супруга, сохраняя собственное сознание. Ведь неясно было, чья биологическая вина в мертворожденности их детей. Они устали, измучились и подошли к краю пропасти, у которой ты уже не

думаешь и не хочешь думать о том, кого любишь больше жизни.

По наитию, от безысходности, сдуру, спьяну Юра узнал адрес Ани Медведевой, «заделавшейся монашкой», как выражались одноклассники. Юра Озеров, секретарь партийной организации проектного бюро очень секретного отдела ленинградского военного предприятия, подхватил свою жену, талантливого ученого-химика, но «вечно беременную», – и рванул в Молдавию, в Мукачево. В монастырь! Всем сказали, что едут отдыхать в Цхалтубо.

Тетя Марфа и Александр Павлович ходили на службы в монастырскую церковь, и это было лучшим подарком Елене. За гостинцы, которые они привезли, племянница тепло поблагодарила, но спрятала, не отпробовав. Марфа подозревала, что Елена раздаст гостинцы сестрам и нищим на паперти после их отъезда. Общая молитва – крошечный участок, на котором их миры пересекались и заходили друг на друга, – были для Елены большой радостью.

Она, инокиня, должна была жить в ожидании, в долгой и изнурительной подготовке к благодати загробного мира. Но Елена любила и этот мир: рассветы и закаты над рекой, новорожденные клейкие юные листочки весной и пожелтевшие, пенсионерские, старческие осенью, любила физический труд, подчас предельный, от которого ее тело превратилось в скелет, обтянутый мышцами, любила уроки иконописи у отца Василия – мастера, написавшего несколько великолепных икон, украсивших иконостас, и вполне по-мирски завидовала сестре Ирине, чьи художественные способности оказались значительнее, и так же, по-мирски, гордилась, что в разборе архивов украинских монастырей, свезённых в Мукачево, обошла сестру Анну, в прошлом студентку-историка.

На исповеди она покаялась отцу Василию в зависти, в гордыне, в том, что любит этот мир, а в нем пуще всего своих родных: Марфу, Александра, Дмитрия, Степана, Егора, Илью, Анастасию, Константина, Владимира...

- Ты мне до утра будешь перечислять, – перебил архимандрит.
- Еще усопшую казашку Дарагуль, наверное, не христианской веры.
- В чем видишь свой грех, Елена?
- В том, что молюсь жарче за избранных, а не за всех христиан.

– Думаешь, – вполне просто спросил ее отец Василий, – в начале своего пастырского пути я за мать свою молился так же, как за калек в госпитале? Мы ж не подкидыши. Но родным твоим только во благо будет, когда отпустишь ты их из души своей, сорвешь путы, тебя с ними связывающие. Я тебе все это перед постригом говорил?

- Да, ваше высокопреподобие!
- Почему снова повторять приходится?
- Грешна. Недостойна.

Как и Егор с Василием, Камышин и Марфа возвращались в двухместном спальном вагоне. Они, конечно, не выворачивали карманы, собирая на билеты. Александр Павлович считал, что у них с женой должны быть максимально комфортные условия. Последний раз Марфа ехала на поезде, когда возвращалась из эвакуации. Разве ее сдвинешь с места, уговоришь в крымский санаторий поехать? Она знает только один вид отдыха – труд на даче.

Камышины пожертвовали монастырю разумную сумму, а Егор и Василий отдали монашкам, которым предстояло обосноваться на новом месте, почти все деньги. Доктор физических наук и кандидат биологических продали на вокзальном базарчике свои часы, чтобы хватило на билеты и на молдавский коньяк.

Марфа и Александр Павлович пили не коньяк, а чай. В советских поездах традиционно заваривали великолепный чай, подавали его в стаканах с подстаканниками, среди которых попадались старинные, замечательной работы.

Чайные ложки звенели в пустых стаканах. Камышин читал газету. Марфа сидела, задумавшись. Александру Павловичу не понравилось ее молчание.

- Тебя что-то гложет? – спросил он. – Ведь мы обсудили: Аннушке...
- Елене.
- Елене хорошо в монастыре, она нашла свое призвание и выглядит во сто крат счастливее, чем когда была пугливым ребенком.
- Так-то так. Но что я скажу ее родителям, Степану и Парасе?
- В каком смысле? – растерялся Александр Павлович. – Они давно умерли и находятся, – потыкал он в потолок купе, – там!
- Там-то, если свидимся, вдруг заупрекают?

Жена говорила совершенно серьезно, и было заметно, что вопрос этот давно ее волнует.

– Во-первых, если *там* существует, – глазами показал Камышин на потолок, – то Степан и Парася, так сказать, лично убедились в существовании Бога, его власти, промыслов и руководящей роли. Следовательно, Анн... Елена состоит в штате главного командного штаба. Что родителей не может не радовать. Во-вторых, на этом и на том свете мы с тобой будем рядом, противного я не допущу. Если у тебя возникнут сложности в... разговоре со Степаном и Парасей, то я подключусь, найду

аргументы.

«Сейчас она скажет, – подумал Камышин, – что я несу бред».

– Спасибо вам, Александр Павлович! – искренне поблагодарила Марфа. – Как никто умеете меня утешить, от сердца отлегло. Постель постелить, отдохнете?

– Сначала статью дочитаю, – снова скрылся за газетой и пробурчал: – Может, в загробном мире, наконец, станешь меня звать по имени и на «ты».

Степан

Он был ниже ростом братьев Митяя, Егора, Василия, и даже племянник Илюша в шестнадцать лет обогнал его. Его круглые, пятаками, глаза в обрамлении щетинки коротеньких светлых ресниц не имели ничего общего с глазами родного брата Митяя – большими, глубокими, сине-серыми, а ресницы у Митяя – пять спичек. Не по числу, а по длине, если на ресницы друг за другом в ряд уложить. Его, Степанов, нос бульбочкой не мог сравниться с мужественными шнобелями Егора и Василия. Мама Егора говорила: «Большой нос не укора: упадешь, так подпора».

И та же самая родная мама, глядя на Егора и Василия, восхищалась:

– Настоящей туркинской породы мальчишки! Сибиряки!

Степан в разговоре с Митяем и Настей как-то дал волю протесту:

– Что значит «породы»? Они что? Быки? Крупнорогатые парнокопытные? Нет, если в этом смысле, то я молчу. Далее, туркинские. Мол, был у нас пра-пра-десять-пра-прадед, который привез с войны турчанку. Товарищи дорогие, господа хорошие! Надо, в конце концов, знать источники! Хотя бы художественную литературу. Откройте «Тихий Дон» Шолохова. Первые страницы. Предок Григория Мелехова привез с войны турчанку, и так далее. Какой можно сделать вывод? В каждом селе находился боец, солдат служивый, которого тянуло на экзотику, и он пер с войны жену в шароварах, по-русски – в срамных кальсонах. А какой национальности была жена Стеньки Разина, которую он за борт выкинул? Правильно! Персиянка. Далеко ходить не надо, времена изменились, а мужские вкусы сохранились. На ком женился Егор? На узкоглазенькой казашке.

Дарагуль была еще жива, и в словах Степки кощунства не имелось.

Настя как бы невзначай, желая подначить Степку, сказала:

– Марфа говорит, что ты внешности... такой... расейской...

– Мать моя родная! – патетически схватился за голову Степка и тут же сверкнул глазом меж пальцев. – А что, собственно, плохого быть истинным русаком? – Опустил руки. – Моя мама не слышала про татаро-монгольское иго. У нас половина фамилий имеет татарские корни, каких Юсуповых ни возьми. Если бы монголы покорили Сибирь, моя мама сейчас восхищалась бы, на меня глядя: «Такой славный татарчик!»

Степан мог разговаривать нормально, но обожал придуливаться, актерствовать. И тогда на свет появлялся брюзга или восторженный

гимназист, жадный спекулянт или затюканный подкаблучник, бюрократ или чокнутый ученый, романтик или ханжа. В юности Степка переигрывал отчаянно.

Он вскочил, стал в позу героя из средневековой драмы: одна нога, выпрямленная, сзади, вторая чуть согнута в колене впереди, одна рука откинута в сторону, словно просит кого-то: «Молчите!», вторая рука припечаталась к лицу в знак глубокой скорби.

– О ты! – давил «рыдания» Степка. – Анастасия! Вскормившая меня своим молоком! Не в твоих ли словах я слышу презрение...

– Минуточку! – прервал Митяй его выступление. – Как это «своим молоком»? Степка, сядь, замолкни! Настя? – повернулся он к жене.

Ему, наверное, привиделось невесть что. Настя сморщилась: не хотелось вспоминать. Можно сколько угодно пересказывать кошмарный сон, но реальное страшное прошлое хочется забыть навеки.

Степан понял ее настроение и то, что переборщил, и как выйти из роли, представлял плохо.

– Да ла-адно! – махнул он рукой. – Что, Илюхе не хватило? Вон какой бугай вырос.

– И все-таки я попрошу мне объяснить! – требовал Митяй.

Настя поднялась и вышла из комнаты. Брат с гневом уставился на Степана.

– Из ложечки, – сказал Степка нормальным тоном. – Она мне из ложечки давала свое молоко. В Блокаду.

Степан и Клара в их семье – в роду, как любила подчеркивать Марфа, – выделялись энергичностью, бравурностью, способностью закружить, завертеть, заморочить, рассмешить до колик. Но у Клары фонтан бил строго вверх и орошал малый диаметр вокруг нее самой. Степка был фейерверк: озарило-украсило все видимое пространство, и еще куда-то упали несгоревшие ошметки, не исключен пожар на отдаленных территориях.

Настя говорила Марьяне:

– Если предположить, что каждый человек рождается с батареейкой... Правда здорово, что батарейки изобрели? Идешь себе с транзистором, музыка играет, новости слушаешь – фантастика! Так вот, предположим, что у каждого из нас есть батарейка определенной, личной, мощности. Клара и Степка с батарейками уникальными! Мы: тых-тых, пыр-пыр, они: у-уух! Мы бы скисли, израсходовав столько энергии за день, сколько они расходуют в час.

– Думаешь, надолго ли их хватит? – спросила Марьяна. – Ведь можно

быстро израсходовать, спалить. Я видела таких людей: до тридцати и слегка за тридцать – гейзер, а потом на месте гейзера болото. А дети! Знаешь, какие бывают умники! Кажется: потенциал великолепный. А их хватает, чтобы в институт поступить, потом заурядны. Ужасно обидно!

– Стухнет ли Клара, – пожала плечами Настя, – меня не волнует. Но Степка! Он для меня... молочный сын. И я не знаю, надо ли его энергию давить, загонять обратно в батарейку. Или, напротив, дать ей вылететь.

– Мне кажется, тетя Марфа и Александр Павлович верно поступают, когда Степку в рамках держат. Александром Павловичем я восхищаюсь: заменил Степану отца. Я даже готова поверить в теорию, что люди, тесно общающиеся, искренне любящие друг друга, становятся похожи. В хорошей семье муж и жена сливаются лицами, Степка один в один Камышин.

– Марьяна! Ты походишь на Васю или я на Митю, как куропатки на орлов.

Марфа не уставала говорить сыну: «Охолони, чертяка!» Камышин твердил, что Степану надо научиться держать себя в руках.

Камышин поклялся Марфе, что ее сыновья никогда не узнают, кто их истинные отцы. И, нарушь он клятву, случился бы взрыв, Марфа погибла, а семья, род – сейчас тесно-дружный – разлетелся бы в осколках. И надо давить в себе желание, вероятно старческое, сказать Степке: «Я твой настоящий отец! Слушай меня!»

Но он хотя бы с детства Степки застолбил право называть его сынком.

– Сынок! Оглядывайся, перед кем мечешь бисер! А если тебе все равно, если только ради собственной потехи, то имеется зеркало. Кривляйся перед ним сколько влезет. Тебе хочется славы, чтобы тобой восхищались. Однако над клоуном смеются, а не восхищаются им.

В последних классах Степка слегка выправился. То ли наставления Камышина подействовали, то ли пришло время девочек по-настоящему завлекать. А девочки в шестнадцать лет не любят весельчаков-клоунов, петрушек и скоморохов. Девочкам подавай рыцарей без страха и упрека.

И все-таки на вступительном экзамене в театральный институт, на первом туре творческого конкурса Степана, читающего басню, из-за величайшего волнения, из-за нескольких бессонных ночей, сорвало – он так бесновался, описывая волка в овчарне, что только стол не опрокинул на приемную комиссию. Его приняли за шизофреника в фазе обострения заболевания и поставили «минус».

Камышину пришлось поступиться принципами и одновременно нажать на некоторые связи: пусть только допустят мальчика ко второму туру и послушают.

Степка, закованный в черный костюм, в белоснежной сорочке и с атласным бантом под воротником, читая письмо Онегина к Татьяне, покорила приемную комиссию, и ему даже, не сходя с места, предложили пройти третий тур – этюды. Изобразить льва, готовящегося вступить в схватку за тигрицу. Они так и сказали, перепутав экзотических животных: льва за тигрицу. Степка мудро не стал поправлять.

Члены приемной комиссии благосклонно улыбались, и Степка позволил себе вольность:

– Давайте я вам покажу уставшее огородное чучело?

Настя и Марьяна говорили, что чучело у него неподражаемое.

В институт Степку приняли.

Еще до окончания школы, до поступления в театральный вуз случилась история, которая изрядно напугала мать Степана и Александра Павловича, брата Митяя и Настю. Потому что история была криминальная, подсудная, уголовная, и Степке грозило провести лучшие годы жизни за колючей проволокой.

Аннушка училась в той же школе, что и Степан, но была на пять лет младше. Ей повезло, что к тому времени, когда перешла в шестой класс, учительница географии Агния Артуровна Жабко, по прозвищу Жаба, в школе уже не работала. Степан и его ровесники натерпелись от Жабки, которую нельзя было на пушечный выстрел подпускать к детям. Даже к тем, что сидят в колонии для малолетних преступников, хотя в колонии юный криминальный контингент с Жабкой, наверное, расправился бы. Среди детей рабочих и служащих Петроградской стороны таких смельчаков, кроме Степана Медведева, не нашлось.

Лет пятидесяти, высокого роста, с выпирающим животом, на котором лежал внушительный бюст, Жаба походила на большой цилиндр с ногами-тумбами. Сверху на цилиндр была поставлена голова без шеи, прическа – кичка – напоминала вторую голову, поменьше. Длинный нос клюнул почти до нижней губы. Впрочем, губ у нее не было, вместо рта – кривая щель в презрительном изгибе. Много лет спустя Степан, увидев у дочери в книжке про Карлсона иллюстрацию – фигуру фрекен Бок, воскликнет: «На Жабку похожа!»

Жаба входила в класс, и тут же возникало ощущение, что она источает

злость огромной силы, почти материальную, как невидимый газ, от которого становится тяжело дышать. Многие учителя повышали голос, но когда орала Жаба, становилось по-настоящему страшно, будто она вот-вот вопьется в тебя зубами, сожрет или порвет на куски своими когтистыми крокодильими лапами. Повода для приступа ярости Жабе не требовалось, она могла придаться к чему угодно: робкую улыбку обозвать насмешкой, заикающемуся от волнения ученику вчинить обвинение в издевательствах над педагогом. Стрижка у мальчика, пробивающиеся усики, кружевной белый воротничок на форменном платье девочки или якобы подкрашенные губы – все могло стать толчком. У Жабы чесались руки, это было заметно и страшно. Не таким уж болезненным было Жабино рукоприкладство. Она могла отвесить оплеуху мальчику, который списывал на контрольной, могла за ухо вытащить к доске девочку, которая перебрасывалась с кем-то записками. Страшным до дрожи было ожидание наказания.

Жаба всю школу держала в кулаке. Ее боялись и дети, и взрослые: учителя, завуч, директор, сотрудники РОНО. Жаба владела всем арсеналом демагогических приемов и строчила кляузы пачками. С этой мымрой нельзя было связываться, вступать в конфликт – иначе увязнешь, сожжешь нервы и проиграешь. Она уже не одного борца схрумкала, не подавилась. Жаба не была членом партии, несколько раз пыталась прощупать почву, вступить. Ей дали понять: не пройдет, забаллотируют. Это делало честь школьной партийной ячейке, потому что Жаба с партийным билетом – это чума.

Она говорила о себе: «Я как педагог с тридцатилетним стажем...» Марьяна однажды рассказала, что определить хорошего учителя в старших классах просто: какую профессию выбирают выпускники, на какие факультеты поступают, тот учитель и хороший. Сильный математик – поступают на математические факультеты, химик – строем на химфак, отличный литератор – валом валят на филологический. За три десятка лет работы Жабы ни один из ее учеников не выбрал географический факультет. Ненависть к учителю перекладывалась на предмет. Стены в мужском и даже в женском туалетах не успевали отмывать от проклятий и скабрезностей в адрес Жабы.

Семнадцать-восемнадцать лет – возраст первых любовей, романов, писания стихов и гуляний до полуночи. Жаба с особым удовольствием напирала на «всю эту грязь, что сидит у вас в голове»; сексуальные мотивы были ее излюбленными. Фаворитов у Жабы не имелось, но все-таки для публичного издевательства она не выхватывала ребят, чьи родители занимали руководящие должности.

Оля Афанасьева была из семьи простых служащих: мама бухгалтер, папа инженер. Сама Оля – тихая, скромная, незаметная. Она не была пассией Степана, он с другой девочкой завертел роман «по-настоящему». Оля напоминала Аннушку, а Степка любил сестру. Болезненно скромных, стеснительных девочек Степка считал «недоделанными» и заслуживающими жалости. Поэтому то, что Жаба учинила с девочкой, взбесило Степана.

Жаба прогуливалась по классу и выбрала жертву:

– Афанасьева! Сидим мечтаем? О мальчиках, конечно? Выходи отвечать урок!

Оля вышла к доске, а учительница наклонилась, вытащила из-под парты ее портфель, поковырялась в нем, достала девичий альбом. Такой был у каждой девочки: общая тетрадь, каждая страничка в орнаменте из нарисованных цветными карандашами гирлянд цветов, вклеены фото артистов и вырезки из журналов, переписаны стихи о любви и цитаты о смысле жизни.

Жаба перелистывала альбом и противным голосом зачитывала душещипательные стишки.

– Стыдно, Афанасьева! – Жаба швырнула альбом и пошла по проходу между рядами парт к своему столу, прямо на Олю. – Чем у тебя голова забита? Грязными мыслями и мечтами! Вместо того чтобы хорошо учиться, ты мечтаешь, как бы на чердаке обжиматься? Развратничать? И с кем? Кто там у тебя фигурирует под сокращением СА? Сергей Арестов? Разгильдяй. Арестов! Не вертеться!

Они читали в книгах и видели в кино, как девушки теряют сознание, падают в обморок. Закрывают глаза, падают навзничь – точно в руки кавалера или, элегантно взмахнув руками, замирают в красивой позе на оттоманке. В том, что произошло с Олей, ничего красивого не было. Мертвецки побледнела, голова перестала держаться на шее и откинулась назад, стукнувшись о доску. Оля сползла, стекла на пол, юбка задралась и стали видны подвязки, державшие коричневые хлопчатобумажные чулки.

Ребята вскочили.

– Сидеть! – гаркнула Жаба.

– Агния Артуровна! Она же в обмороке!

– Агния Артуровна! Вдруг она умерла?

– Занять свои места, я сказала! Молчать! Не таких артистов видали.

– Это подло! – выкрикнул Степан.

– Медведев! Дневник мне на стол. «Кол» за поведение.

– Да пожалуйста!

Он прошел к учительскому столу, бросил на него дневник, присел около Оли, похлопал ее по щекам.

– Афанасьева! Хватит представлений! – Если Жаба и перепугалась, то виду не подала. – Одерни юбку, бесстыдница!

На этих словах Оля очнулась, посмотрела на Степана, не узнавая. Она почему-то лежала у доски, а Степка закрывал ее колени подолом платья.

– Медведев! Займи свое место, или ты получишь «неуд» за поведение в году и в четверти! – орала Жаба. – Игнатова и Краснова! Поднять эту притворщицу и отвести в туалет умыться. Урок продолжается! Тема нового параграфа...

Девочки отвели Олю к школьной медсестре, которая давала нюхать ватку с нашатырем и накапала валерьянки. Потом проводили Олю домой, рассказали родителям о случившемся и о педагогических методах Жобы в целом.

Десятый «А» объявил Жобе бойкот и на следующий урок не явился в полном составе. Возмущенный Олин папа пришел к директору. В кабинете присутствовала и Жаба, сидела молча, с презрительной миной. Олин папа справедливо негодовал, возмущался: у его дочери нервный срыв, она либо плачет, либо лежит безучастно, не разговаривает, жена взяла отпуск – боятся, что девочка руки на себя наложит. Что она сделала? Какое преступление совершила? И за что ее подвергли публичному унижению?

– Вам все ясно? – спросила Жаба директора, поднялась и вышла из кабинета.

Директор был хорошим человеком, неплохим педагогом, средней руки руководителем. Был бы лучше, не имей в коллективе заразу – Жобу. Ее так и учителя за глаза называли. Директор утешал себя тем, что детям даже полезно столкнуться с монстром – для воспитания чувств и характера, закалки воли. О том, что для многих детей такое столкновение оборачивается душевной травмой, предпочитал не думать. Ему хватало истерик молоденьких учительниц, которых Жаба изводила так же, как учениц старших классов. Против Жобы был только один прием, он же народная мудрость: не буди лиха...

Олиного папу директор уверял в том, что они примут меры, что для Оли будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования: пусть не ходит в школу, поправляется, ей поставят оценки и за четверть, и за год, максимально возможно хорошие. Ведь до окончания школы осталось три месяца, сейчас не время размахивать саблями, надо думать об аттестате и о поступлении в вуз.

Десятый «А» прогулял еще один урок географии. Стало попахивать

бунтом, и директор принял меры. Он пришел в конце физики, после которой по расписанию география, и не отпустил класс на перемену, устроил собрание, точнее – промывку мозгов. Говорил о том, что Агния Артуровна педагог с тридцатилетним стажем...

– Да, Медведев? Что ты тянешь руку? Хочешь спросить?

– У опытного педагога Агнии Артуровны были ученики, которые увлеклись ее предметом и стали географами? – поднялся Степка.

– Подобной информацией я не владею, да она и не важна. Я обращаю ваше внимание, что Агния Артуровна – пожилая женщина, над которой некрасиво, неблагородно издеваться.

– А над кем благородно издеваться? – с места спросил Степка, но директор сделал вид, что не услышал.

Еще он говорил, что принципиальность важна, она – свидетельство зрелости натуры. Но с другой стороны, бывают обстоятельства, когда нужно искать компромиссы. Они оканчивают школу, и сейчас не время для восстаний, революций и выяснений отношений. Можно испортить свою будущность: необдуманное бунтарство сегодня может обернуться большими проблемами в их биографиях. Звучало подленько: надо быть принципиальным, а когда невыгодно, про принципы забывать.

Шел 1951 год. Директор знал, что опять начались аресты, по слухам, под удар попали врачи и евреи. Это пока. В тридцатые годы махина тоже медленно раскручивалась. Десятиклассники, юные максималисты, не представляли себе, какой опасности подвергают себя. И ведь не скажешь им открытым текстом: «Помалкивайте! Такие, как Жаба, могут пересажать полшколы».

Прозвучал звонок на урок, директор пошел к выходу, ребята встали. Входящего учителя встречали и с уходящим прощались стоя. Они договорились не вставать, когда в класс войдет Жаба. Она столкнулась с директором в дверях, и получилось, что ее встретили, как обычно.

– Садитесь! – сказала Жаба.

Они стояли.

– Торчите сколько влезет! – ухмыльнулась Жаба.

Они опустили за парты. У них «итальянская забастовка». Историю рабочего движения ребята хорошо знали. У них был прекрасный учитель истории, который считал борьбу мирового пролетариата основой современного исторического процесса. «Итальянка» в чистом виде – это когда приходят на работу и делают все по инструкции, не отступая от правил ни на миллиметр. Очень скоро работа стопорится. Десятиклассники под предводительством Степана «итальянку» усовершенствовали. Они

будут сидеть, таращиться на Жабу и ничего не делать.

Жаба вызывала учеников к доске. По алфавиту, по списку в журнале, начиная с «А»: Алтуфьев, Арестов... заканчивая Яценко. Никто не поднялся, не вышел к доске, они сидели, сложив локти на парте, глядя перед собой, как китайские болванчики. В классном журнале напротив каждой фамилии появилась «2» – длинная вертикальная цепочка с верху до низу.

– Самостоятельная работа! – объявила Жаба. – Достали двойные листочки. Два варианта, темы сейчас напишу на доске.

Никто не пошевелился. Мел крошился в руках Жабы, когда она зло царапала по доске.

– Бастуете? Ну-ну! Оценки за самостоятельную выставлю на следующем уроке. Всем понятно, какие будут оценки? Вы у меня окончите школу, стачечники!

Прозвенел звонок с урока, Жаба взяла журнал и пошла к выходу. Ученики не поднялись.

Девочки навещали Олю Афанасьеву и принесли дурную весть. Жаба настрочила письма на предприятие, где работал Олин папа, и в другие инстанции. В начале каждого доноса значилось: копия в партийную организацию, в профсоюзную, руководству завода, директору школы, в РОНО... Только в Смольный не отправила донос. Жаба писала, что она, педагог с тридцатилетним стажем, не может утаить, что Афанасьев Сергей Анатольевич находится со своей дочерью в отношениях столь нежных, что это выходит за рамки. Девочка нервно истощена, теряет сознание на уроках, по словам матери, может наложить на себя руки. В ее альбоме отец упоминается под инициалами СА, и характер записей не вызывает сомнений. Девочки рассказывали, что родители Оли в шоке, от нее самой все держат в секрете, с ними поделились, просто чтобы предупредить. Олю переведут в другую школу, хотя в конце выпускного класса это делать плохо. Или Оля вообще с первого сентября снова пойдет в десятый, не в их школу, конечно.

Степан недоуменно пожал плечами: СА – это же понятно – Серега Арестов, Жаба сама сказала.

Им также понятно было, что Оля пострадала, чуть не умерла из-за того, что ее тайна стала всеобщим достоянием и по той же причине до сих пор боится выйти на улицу. Хотя никто и не думал над ней насмеяться и даже обсуждался вопрос, не следует ли Арестову проявить знаки внимания Оле: написать записку, послать букетик цветов, позвонить по телефону.

Серега не отказывался, но разумно указывал на то, что это будет акт жалости, то есть унижения, как бы еще хуже не стало.

– И что это за «нежные отношения»? – продолжал недоумевать Степан. – Вступить за дочь, что ли?

Потом до него дошло, как накрыло смрадом, не продохнуть, до тошноты. Словно всех их: Олю и ее родителей, одноклассников – Жаба сбросила в глубокий нужник.

– Я убью эту гадину! – пообещал Степан.

Говорил он не при всем классе, а в своей компании: три девочки, три мальчика – их называли «три парочки».

Жаба имела однокомнатную квартиру на первом этаже. Совсем отдельную – бывшая дворническая, входная дверь в стене арки. Это было исключительно удачно для планов Степана.

Раздался звонок, Жаба подошла к двери и припала к глазку:

– Кто там? Медведев?

– Я, Агния Артуровна! – Он стоял навтыжку, с просительным выражением лица, держал перед собой букет цветов. – Я пришел извиниться, я все понял, осознал! Впустите меня, пожалуйста!

Она открыла дверь, и Степка тут же юркнул вовнутрь. Пробежал по квартире со словами: «Где вазочку взять?»

– Медведев! Что ты мельтешишь?

– Вы одна дома? Замечательно! Переходим ко второму действию.

Отбросил букет в сторону, расстегнул портфель и достал из него... маузер. С виду как настоящий.

– Что за шутки, Медведев?!

– Шутки кончились, гражданка! Проходим в комнату.

Она не испугалась, но на всякий случай отступила.

– Медведев! Я сейчас вызову милицию, и тебя за хулиганство упекут за решетку. Прекрати представление, убери игрушку!

– О! Это далеко не игрушка!

Он поднял ствол вверх и нажал на курок. Звук был оглушительный. Жабе показалось, что люстра закачалась, едва удержалась на месте. Жаба рухнула в кресло и вытаращила глаза.

Маузер был великолепный. И в прошлой, первой своей жизни, до поломки, настоящее боевое оружие. Его Гавриле Гавриловичу принесли из театра – переделать на бутафорский, с пожеланием, чтобы звук выстрела был как можно впечатлительнее. Началась война, театр эвакуировался, за

маузером никто не пришел. После смерти протезного мастера Егор нашел в мастерской этот маузер, почистил, смазал, разобрался в устройстве. Пистолет мог выстрелить только один раз, для следующего выстрела нужно было снова вставлять капсуль. Степка давно кланчил маузер у Егора, предлагал поменяться на что угодно. Зимние каникулы Степка провел в Москве. Пелагея Ивановна заболела, лежала в больнице, Галя за ней ухаживала, у Егора была экзаменационная сессия, Степке было поручено присматривать за близнецами Вовкой и Котькой. В награду получил заветный маузер. Наврал, что для спектакля, мол, они в театральной студии готовят к постановке «Любовь Яровую», у Степана роль матроса Шванди. Какой матрос без маузера? На самом деле «Любовь Яровую» ставили год назад, и Степка разгуливал по сцене с выкрашенным в черный цвет деревянным парабеллумом. В Ленинграде Степан не успел похвастаться пистолетом, не придумал, как его эффектнее подать.

И вот теперь маузер пригодился.

Жаба испугалась, заблеяла:

– Мне плохо, – схватила за грудь, – плохо с сердцем.

В Степкины планы не входило, чтобы она с перепугу коньки отбросила.

Он струхнул, но виду не подал, напротив, скривился как бы в досаде:

– Прекратите! Стыдно! Что я, сердечных приступов не видел? (Никогда не видел, только мог вообразить.) И потом! У вас нет сердца, и болеть нечему.

– Степа! – взмолилась Жаба. (Ага, все-таки притворялась!) – Мальчик, ты совершаешь большую ошибку...

– Меня давно подмывало спросить, – перебил Степан, – вы тарелку сюда, – потыкал маузером ей на грудь, – ставите? А что, ведь удобно. Столик прямо под носом, хлебай не хочу.

Его в самом деле это давно занимало. У Жабы голова стояла на груди, а грудь выдавалась вперед чуть ли не на полметра.

– Ка-а-ак? – таращила глаза педагог с тридцатилетним стажем.

– Мы отвлеклись. Мадам Жаба! Или мадемуазель? Опять отвлекаюсь, какой-то я сегодня несобранный. Первоначально я хотел вам предложить, заставить, принудить в предсмертной записке перечислить всех, кому вы испортили жизнь. Но ведь это затянется, не так ли? Вампир с тридцатилетним стажем будет до утра перечислять тех, чьей крови насосался. Также мне было бы чертовски интересно узнать, откуда в вас столько злобы, подлости, ненависти к людям? И снова загвоздка! Вряд ли приходится рассчитывать на откровенный разговор под дулом пистолета.

Он чертовски громко стреляет, вы не находите? Привлечет внимание, прохожие услышат. Они от ваших окон в полуметре, по панели туда-сюда постоянно ходят, разговаривают, смеются, а то и некоторые, свят-свят, целуются! Вам хочется рвать и метать, рвать и метать. Или просто кого-то покусать, со свету сжить? Можете не отвечать. На чем я остановился?

– Степа, ты хочешь меня убить?

– Конечно! Я что, забыл сказать? Голова садовая! Непременно убить, стереть с лица земли.

– За что-о-о?

– Не могу с вами находиться в одном помещении, в одном городе, на одной планете. Смердит! Прямо, знаете, ужасно воняет, как в сортире, дышать невозможно. Итак, я хотел вас пристрелить из маузера. Мой любимчик, – Степка чмокнул пистолет. – Обожаю его! Но, во-первых, громко. Во-вторых, куда стрелять? Если в живот, пуля в жиру... в жире... – у меня по русскому «четверка» с натягом – застрянет. В голову? Фу, некрасиво! Кровь фонтаном – некуртуазно. Вы согласны?

– Да-а-а...

Жаба смотрела на него как на безумного. Ее губы, уголки которых обычно скобкой уходили вниз к подбородку с редкими черными закрученными волосиками, теперь выпрямились. Рот-щель от уха до уха вкупе с вылупленными глазами – она напоминала настоящую жабу.

– Поэтому в ход идет план «Б». Сидите тихо, никаких резких движений!

Степка открыл портфель и с нарочитой осторожностью вытащил из него обувную коробку. На крышке коробки было круглое отверстие, из которого торчал циферблат тикающего будильника. Из торца коробки тянулся длинный провод.

– Бомба! – шёпотом сообщил Степан. – С часовым механизмом. Я вас очень прошу не дергаться, а то раньше времени – бух! – и взлетим. Я разве опытный бомбист? Это мое первое изделие, возможны недочеты. И мне совершенно не хочется вместе с вами подорваться. За что?

– Мальчи-и-ик!

– Молчать! Дышать через раз, я сказал!

Он присел около ее кресла и привязал конец шнура к ее щиколотке. Потом, согнувшись, таращась в притворном страхе на коробку, попятился задом из комнаты, разматывая шнур.

Через минуту вернулся, вытер пот со лба:

– Кажется, все! – Бросил маузер в портфель. – Отпечатки пальцев? Я ничего здесь не трогал. Что еще? А! Самое главное! Бомба с часовым

механизмом, реагирует на движение. Дерните ногой – и ку-ку! Вам остались минуты или часы жизни, пока не пошевелитесь. Покаяться письменно, увы, не получилось. Осталось время вспомнить свои грехи устно. Чао-какао! Стоп! Запомнил! Вот точно я сегодня какой-то забывчивый. Парик! – Он вытащил из портфеля черный кудрявый парик и натянул на голову. Пояснил: – Из спектакля про юность Пушкина. Это чтобы меня случайные прохожие не опознали. Представляете, я на премьеру бакенбарды налепил. Вот они, – показал черные мохнатые хвостики. – Ну, какие у двенадцатилетнего лицеиста могли быть бакенбарды? Никто не заметил! Люди ужасно ненаблюдательны.

Она сидела не шевелясь почти час, следила за временем по наручным часам. Каждую секунду ждала взрыва. Забывчивый Медведев мог действительно бракованную бомбу сделать. Нога затекла, стала свинцовой и, казалось, вот-вот начнет дергаться непроизвольно. Потом Жаба стала звать на помощь, сначала тихо, затем в полный голос. Нога дрожала, сотрясилось все тело, каждую минуту мог прогреметь взрыв.

Ее услышали прохожие, два студента, примчались, дверь в квартиру была не закрыта. Обнаружили сидящую в кресле женщину, явно не в себе, талдычившую про бомбу. К ноге женщины был на бантик привязан шнур, конец которого валялся в коридоре. Принесли, показали этот пустой конец, женщина вскочила, стала кричать, что на нее было совершено покушение, требовать, чтобы вызвали милицию. Студенты подумали, что здесь впору вызывать психиатрическую помощь, и сочли за благо ускользнуть из квартиры. Милицию вызвала сама Агния Артуровна.

Приехавшие милиционеры отнеслись к ее словам с явным недоверием: ни следов бомбы, ни выстрелов, хотя гражданка утверждала, что террорист Медведев выстрелил в люстру, полетели осколки, пуля застряла в потолке. Где же пуля, осколки? На этот вопрос гражданка ответить не могла. Из доказательств покушения – только завядший букет цветов на полу и шнур. С другой стороны, на сумасшедшую, которых они достаточно повидали, она не походила, просто на очень возбужденную женщину, пережившую сильный страх. А от пацанов всего можно ожидать. Заявление приняли.

Жаба после ухода милиционеров немного успокоилась, вспомнила скепсис на лицах представителей закона, предположила, что ее делу могут не дать ход, и села писать развернутое заявление – получилось на шести листах.

Степка ждал вызова в милицию, готовился, но ему позвонили и велели

прийти в отделение только через четыре дня, когда он уже стал слегка нервничать.

Допрашивал его капитан – дядька с рабоче-крестьянским лицом, умело играющий простака. Дослужился бы он до капитана в уголовном розыске, если бы был простаком!

Говорил капитан отечески, как бы сочувствуя Степке, разделяя его настроение:

– Мы навели справки о потерпевшей, тебя можно понять. Да я сам в школе был хулиганом, оторвой. Доску мазал воском, чтобы мел не писал. Кнопки учителям на стул подкладывал, а директору клеем намазал – намертво прилип.

– Это негуманно, – сказал Степка. – Учителя – взрослые люди. Дети, которые издеваются над взрослыми, по меньшей мере дурно воспитаны.

– Ну да! Ну да! Сейчас-то мне стыдно. Послушай, сынок! Есть хулиганство, за которое потом стыдно, а есть действия – угроза оружием, например, – за которые статья светит. Давай мы с тобой сделаем похорошему? Ты добровольно отдаешь оружие, а я постараюсь сделать все возможное, чтобы смягчить наказание.

– Какое оружие? – вскинул брови Степка.

– Пистолет, которым ты угрожал Агнии Артуровне.

– Но я ей не угрожал! И пистолета у меня нет!

– Подумай, сынок, хорошенько подумай! Если мы найдем пистолет, то уж будет совсем другой коленкор: суд, колония – и прощай мечты об институте.

– Какая колония? За что? Как я могу хорошо подумать о пистолете, если я ни одного никогда в руках не держал? – У Степки навернулись вполне достоверные слезы.

– Хорошо, зайдем с другой стороны. Где ты был в момент покушения на гражданку Жабко?

Он ждал этого вопроса. Известный безотказный приемчик, читал про него в детективах. «Где вы были в момент убийства?» – «На рыбалке». – «А откуда вы знаете, когда произошло убийство?» Попался, голубчик!

– А когда было покушение? – спросил Степка.

– В прошлую пятницу в семь вечера, – нехотя ответил капитан.

– О! – облегченно вздохнул Степан. – Мы Вовки Мокина день рождения отмечали. На Старо-Невском. Там нас шестеро было. Как бы я...

Сказал и заткнулся, в последнюю секунду спохватился. В секунду до провала! Он едва не ляпнул: «Как бы я успел со Старо-Невского до набережной Мойки туда-обратно незаметно смотаться?» Он ведь, по

легенде, не мог знать, где живет Жаба.

– Так-так, – почувствовал горячее капитан, и его добренькие глазки, как показалось Степке, сверкнули дьявольским огнем охотника, обнаружившего дичь. – Говори, говори! Как бы ты... Что?

– Неудобно вышло. Я немножко перебрал. И в туалете меня выворачивало, мимо унитаза попало, соседи ругались.

Выворачивало Сашку Игнатова, но ведь соседи по коммуналке не запомнили, кто насвинячил, а ребята его не выдадут, они знают, что надо утверждать: Медведев с дня рождения не отлучался. Теперь не забыть ребят оповестить: в туалете тошнило его, Степку. Игнатов будет на седьмом небе: стыдился, что напился, а теперь оказывается, что наблевал для Степкиного алиби.

Марфа и Александр Павлович вернулись из кинотеатра. Их встретила испуганная Аннушка.

– Степа сказал, что его вызвали на допрос в милицию. Если до ночи не придет, то ему в тюрьму надо передать этот узел, – протянула крест-накрест завязанный платок.

– Шельмец! – ахнула Марфа. – Что еще он учудил?

И стала развязывать платок, словно хотела найти в нем ответ на свой вопрос. Смена белья, мыльница, зубной порошок, щетка, пачка печенья, кусок колбасы, свитер, книжка рассказов О. Генри...

– Быстро за мной! – Камышин поспешил на выход.

Марфа подхватила узел, побежала вслед за мужем. Зачем в кино пошла? Стоит из дома выйти, обязательно что-нибудь случится.

Камышин распахнул дверь кабинета и, не здороваясь, гаркнул с порога:

– Почему вы допрашиваете несовершеннолетнего в отсутствие родителей?!

– Я не допрашиваю, – ответил капитан. – Мы просто беседуем. Да, Степа? Это ваш сын?

– Пасынок, – чуть дернувшись, ответил Александр Павлович.

– Я мать, – промямлила Марфа.

Как иные люди копят деньги – опускают монетки в копилку, так Степка имел свою внутреннюю копилку, в которую собирал жесты людей, мимику, привычки, особенности походки, словечки-паразиты. Капитан вначале был добрым дядей, подмигивал, похихатывал, потом превратился в волка-сыскаря, мол, я все ваши повадки знаю, ты у меня расколешься как миленький. Когда Александр Павлович сказал «пасынок», капитан

задумчиво подергал себя за ухо, предложил маме и Камышину присесть. Реакция милиционера понятна: Степка похож на Камышина, так многие говорят. Но мама вышла замуж за Александра Павловича, когда отца не стало, а Степке было двенадцать лет. Людей похожих очень много, его родной отец был полупридурком, мама с ним намучилась, особенно в Блокаду. Камышин всегда Степку жалел, опекал, искренне любил. Искренне, потому что мог и трепку задать. Степка не платил ответной щенячьей привязанностью. Наверное, потому, что мама с пеленок внушала: Камышин – наш барин, мы на него работаем. Любить барина, даже если он стал мужем твоей матери, – это холопство.

Александр Павлович потребовал ввести их в курс дела. В чем обвиняют Степана? Капитан дал для ознакомления заявление на шести листах потерпевшей учительницы. Камышин читал и хмурился, Марфа, не дыша, следила за его лицом, изредка бросая взгляд на сына. Степка изображал невинного агнца, это выражение было ей хорошо знакомо и не предвещало ничего хорошего.

– Черт знает что, – пробормотал Камышин, снова перечитал несколько строк. – Бред какой-то. Сами послушайте: «Потом он надел парик Пушкина, но бакенбарды приклеивать не стал, потому что у молодого поэта бакенбардов быть не могло. Уточняю: театральные реквизиты украдены Медведевым после спектакля о юном Пушкине в театральной студии, в которой Медведев состоит...»

– У нас никогда не было спектакля о Пушкине, – сказал Степка. – Хоть кого спросите!

В итоге капитан их отпустил, сказав на прощание расплывчатое, но строгое:

– Будем разбираться!

Дома на требование матери и Камышина честно признаться, было или не было покушения, Степка закатил глаза:

– Что я, больной? Перед окончанием школы портить себе биографию?

Одноклассникам, среди которых только пятеро знали правду, он предложил давить Жабу ее же методами, то есть жалобами. Причем коллективную жалобу писать – это старо, надо, чтобы каждый от себя написал, какая она подлая, на собственном опыте, и как венец Жабиных издевательств – случай с Олей Афанасьевой. Это потребовало времени, но было не так нудно, как писать домашнее сочинение по литературе о лишнем человеке Печорине, в общем-то увлекательно, хотя и пришлось пять раз писать одно и то же. Тридцать жалоб детей получили директор школы, РОНО, руководство предприятия, на котором работал Олин папа, и,

мелочиться не стали, в Смольном.

Директору пришлось держать удар с нескольких сторон, чего стоило только возмущение коллег отца Афанасьевой. А проверка из Смольного? А истерика в РОНО? Директор потерял сон и посинел от нервных перегрузок. Он бы согласился десять раз выдержать подобное, лишь бы избавиться от Жабы. Избавился. Благодаря детям, которых не подначивал, напротив, призывал к смирению.

Жаба вылетела из школы со свистом, то есть с волчьим билетом, и педагога с тридцатилетним стажем больше не подпускали к образовательным учреждениям, даже в колониях для малолетних преступников.

Камышина и Марфу убедила в невиновности сына не столько шумиха с письмами детей, родительскими собраниями, сколько убеждение, что Степка не мог бы все это провернуть в силу характера. Он хвастун, бахвал, обязательно растрепался бы, не утерпел.

Они не заметили, как сын вырос.

В этой истории было и закулисье. В дружной семье умели конспирировать, когда того требовали обстоятельства.

Настя в самый тревожный период, разговаривая по телефону с Марьяной, описывая, какие нелепые обвинения нависли над Степкой, услышала на том конце странное молчание.

– Был пистолет, – прошептала Марьяна. – Я сама видела. Егорка нашел в мастерской Гаврилы Гавриловича. Стреляет оглушительно, но, кажется, не пулями. Егорка нас как-то напугал, Вася ему чуть башку не свернул.

– Марьяна! Никому не говори!

– Конечно, – заверила Марьяна.

Положила трубку и тут же, из Дубны, заказала Москву, номер телефона в квартире Пелагеи Ивановны, попросила к аппарату Егора, когда дали связь.

– Ты знаешь, что в Ленинграде на Степана заведено уголовное дело? Он якобы угрожал пистолетом учительнице. Жуткой мымре, на нее тридцать детей написали жалобы. Но это не важно. Степан под следствием. Ты давал ему пистолет?

– Какой пистолет? – спросил Егор после паузы. – Театральный, Гаврилы Гавриловича? Васька, помнишь, на меня окрысился, велел маузер выбросить, я и выбросил.

– Это точно?

– Абсолютно! – заверил Егор.

И заказал разговор с Ленинградом.

Ответила тетя Марфа. Как водится, расспросив про их здоровье, поведала свои печали: Степка-то, варнак, угодил в подсудное дело. А учительница-то! Им на родительском собрании глаза открыли. Гнида! Но Степка не виноват – они с Александром Павловичем и так и сяк судили.

– Конечно, не виноват, – заверил Егор. – А могу я с ним поговорить? Подбодрить?

Когда Степка взял трубку, Егор без предисловий сказал:

– Выбрось в Неву, в Мойку, в Фонтанку или какие еще есть у вас глубокие реки.

– Уже выбросил.

– Тогда пока!

– Пока!

Много, лет десять спустя, на даче после ужина, в продолжающемся застолье под соснами, когда старики и детвора ушли в дом, неожиданно всплыла эта история. И Степка представил ее в лицах, кое-где приукрасив ради усиления комического эффекта. Теперь уже можно было хохотать. Степка только попросил не открывать правды маме и Камышину. Они расстроятся.

Еще студентом театрального института Степан снялся в нескольких эпизодах на Ленфильме. У кинематографистов было много выражений, связанных со словом «камера». Камера его (ее) любит (не любит), камера вытащила его притворство (гнилую сущность, подлость, нежную душу, ранимость), камера показала, камера высветила, камера открыла... Режиссеры, операторы и когорты их помощников и ассистентов относились к камере, то есть к результатам ее труда на экране, с мистическим поклонением. Камера была вроде волшебного зеркала, которое одним почему-то льстило, других принижало, третьих вообще не желало замечать: говорит человек с экрана, а не цепляет, ты его словно не видишь.

Камера высветила у Степана комический талант, Степану прочили блестящую карьеру. Хороших драматических артистов – тьма, комиков – по пальцам пересчитать, их дарование редкое, штучное. Казалось бы, живи и радуйся, принимай предложения, зарабатывай деньги и славу, к окончанию института ты уже будешь известным артистом. Степка не захотел, отказывался от приглашений на пробы, если в фильме ему предлагали играть придурка.

Он любил смешить людей: завладеть вниманием компании, довести ее

до полубезумства, когда хохочущие девушки уже не думают о макияже и о том, как выглядят в данный момент, когда парни ржут в голос, теряют мужественность, обессиливают, их можно побороть мизинцем. Степан мог долго и вдохновенно говорить о шутах, клоунах, скоморохах – восхищаться их талантом и представлениями. Но сам быть шутом не желал. Когда смотрел фильм, где он три минуты представляет корыстного недотепу – кругломордого, с пороссячими глазками, носиком-бульбочкой, дрожащими оладушками губ, – Степана тошнило. И как будто закипала кровь – воспоминания об отце, гыгыкающем после каждого слова. Он никогда не хотел и всегда боялся быть похожим на отца.

К третьему курсу Степан понял, что амплу героя ему не светит, а комиком-простаком он не желал быть. Что остается? Режиссура. Елена Григорьевна, мать Насти, первая жена Камышина, говорила про него, мальчишку: «прирожденный рэжиссэр». Она многие слова произносила на дореволюционный манер. Елена Григорьевна – этого не знал никто – его женский идеал. Нечто хрупкое и эфемерное, неземное, случайно залетевшее на нашу суровую планету. Женщина-бабочка, женщина-газель. Она не умела налить воды в чайник, хотя выкуривала две пачки папирос в день. Она в страшную блокадную зиму, одетая в шубу, с головой, укутанной платком, дни и ночи проводила сидя в кресле и при этом сохраняла царственную осанку, величие и достоинство.

Наличие идеала вовсе не означает отсутствие потребности узнать другие женские разновидности: худых и толстеньких, блондинок и брюнеток, умниц и простушек, представительниц золотой молодежи и нетребовательных обительниц рабочих общежитий. Он нравился женщинам, а уж как они ему! Степка каждой говорил, что она ни на кого не похожа, и каждая ему верила.

Марфа сокрушалась:

– Бабы Степку сгубили.

– Кто кого сгубил – еще вопрос, – отвечал Камышин.

– А вы-то, видать, в молодости тоже были... ходоком, – в сердцах упрекнула Марфа.

Это было исключительно редко, чтобы Марфа словом или полсловом, шепотом, взглядом признала отцовство Камышина. Она придерживалась твердой политики: попробуйте заикнуться, что Степка ваш сын, и больше нас не увидите.

Камышин улыбнулся: ему было приятно, что жена отступила от своей политики и что, возможно, ревнует его к прошлому.

Начиналось-то, по мнению Марфы, хорошо. Семейная жизнь – хорошо, а что до нее, так сплошной срам.

Телефон стоит в коридоре, на всю квартиру слышно, как Степка звонит девушкам, как они ему. «Курлы-курлы, курлы-курлы» – Степка с зазнабками общается. Его дома нет, телефон не умолкает, звонки непрерывные: передайте, что Таня звонила... Оля, Катя, Наташа, Ира...

Он приходил с девушкой: нам нужно к семинару по технике речи подготовиться. Через неделю снова с девушкой – с той же или с новой, Марфа их не отличала. Им требуется отработать этюды и бальные танцы. Потом выяснилось, что танцы он отрабатывает и в квартире брата Митяя, имея ключ и предварительно выяснив, когда никого не будет дома.

Марфа Степке полотенцем пригрозила:

– Отстегаю, не посмотрю, что ты, пустоумник, в возраст вошел. Помнишь, как я вас хлестала?

Степан прекрасно помнил: мама его и брата лупила кухонным полотенцем за серьезные проступки. Рука у мамы тяжелая, сильная.

– Чтоб ни у нас в квартире, ни у Насти с Митяем больше никаких этюдов! Девушку приведешь, на которой жениться решишь. Женись, ирод! Хватит балльных танцев!

Он привел девушку в конце третьего курса. Первую красавицу в институте. До онемения красивую. А то бы Степка не под приму клинья забивал! В их роду-семье дурнушек косорылых не было. Клара подкачала, да и сам Степан. А на Нюраню посмотреть, Аннушку, Настю? Но девушка по имени Анелия была совершенно особой красоты, абсолютной. Настя и Митяй, которых Марфа позвала: Степка с невестой будет знакомить, – застыли в первые секунды, как сама Марфа и Камышин. Анелию даже описывать не стоит. Глаза, нос, цвет кожи, овал лица, губы, волосы – сколько слов ни подбирай, видеть надо. Видеть и поразиться тому, что природа ваяет под вдохновение.

Вечером после застолья Марфа мыла посуду на кухне и все никак не могла расстаться со счастливым чувством: Степку полюбила редкой красоты девушка. Моего сыночка, моего оболтуса...

– Она такая! – восхищалась Марфа. – Такая!

Камышин сидел за столом и читал газету. Он всегда старался быть рядом с женой, как познавший хронический холод человек старается притулиться к печке. Чаще всего не удавалось – около Марфы вертелись дети, внуки, которые тоже тянулись к теплу. Маленькие – им

преимущество.

– Какая такая? – спросил Александр Павлович. Сложил газету, поднялся, взял полотенце и стал вытирать тарелки.

– Возвышенная, – замерла Марфа с губкой в руках, – иконописная. Ох, боюсь не удержит!

– Кто кого?

– Степка Анелию.

– Скорее она – его.

– Хотя девушка и марудная, – нашла Марфа недостатки у будущей невестки.

– Какая?

– Медленная, точно спит на ходу.

У Анелии была замечательная дружная семья: папа архитектор, мама музейный работник. Жили они на Васильевском в отдельной квартире, куда Степка, в примачи, перебрался после свадьбы. Анелии с детства прожужжали уши про ее красоту и про то, что она станет знаменитой артисткой. Девочка была послушной и выбору, который сделали за нее взрослые, не противилась. К сожалению, камера не полюбила Анелию – на экране она выглядела как заговорившая икона. Анелии не хватало страсти, горения, желания выплеснуть свои эмоции бурно или, напротив, сдержанно, но так, чтобы чувствовалось, что внутри все клоочет. Поэтому и на сцене она разочаровывала: смотришь на нее, ждешь, что сейчас что-то произойдет с этой красивой героиней, а ничего так и не происходит.

Когда Степака после полутора лет семейной жизни бросил Анелию, она очень переживала. Но это была обида сродни той, что бывает, когда вдруг тебя увольняют с работы, а не крах большой любви, когда небо падает на землю, накрывает тебя и не дает дышать. Анелия никогда не испытывала к Степке африканской страсти, он взял ее измором. Однако их молодая семья выглядела вполне благополучно, разрывом и не пахло. Пока Степку не понесло на летнюю практику в Тюмень. Там тяжело заболел режиссер театра, Степке предложили попробовать свои силы. Он был на седьмом небе. Репетировали «Чайку» Чехова. У Степки возникла сногшибательная концепция постановки, своим бешеным энтузиазмом он заразил всю труппу, даже тех артистов, которые, казалось, давно покрылись мхом, и Степка влюбился в исполнительницу роли Нины Заречной.

Он позвонил домой в конце лета и сообщил три новости, одна другой «приятнее». Он уходит из института, потому что его берут режиссером в театр. Он разводится с Анелией. Он женится на Нине Заречной, тьфу ты, на

Лиде Зайцевой. Лида – чудо, у них любовь одна на миллион.

– Ну, не зараза? – горевала Марфа. – Как я теперь Анелиным родителям в глаза посмотрю?

Она всегда переживала выкрутасы детей как собственные недостатки.

Много лет спустя был период, когда Марфа на вопрос о младшем сыне отвечала: «Режиссирует по северам». Из Тюмени Степан переехал в Норильск, потом его унесло в Сыктывкар. В каждом городе он задерживался на три-четыре года, каждый отъезд был связан с разводом, новой любовью, женитьбой и бурным всплеском творческого энтузиазма.

В этот период Камышин и сказал Марфе, что, глядя на сына, лучше понял самого себя, собственные недостатки, но, возможно, они же и достоинства. Любовь к процессу, а не к результату, особенно если он представляет собой копирование. Камышину всегда было интересно запускать новое производство, осваивать современные станки, то есть организовывать обучение на этих станках, биться над изделием, устраняя технологические и прочие ошибки. А контролировать работу конвейера ему было скучно. Степан обожал читки, обсуждения концепции, споры, более всего – репетиции: общее возбуждение, в которое впадала труппа, и уже не на сцене, а в жизни артисты называли друг друга именами героев пьесы. Для Степана провинция была лучшим полем, потому что в столичном театре удачная постановка может идти годами, а в областном городе зрительский круг ограничен, ему постоянно, каждые три месяца, подавай премьеру.

Эта их особенность: любовь к процессу – имела неизбежный побочный эффект. Она гасила, вытравляла честолюбие. Камышин был отличным инженером и организатором, но не стал директором завода. Степан, конечно, мечтал о званиях, премиях, но гораздо больше его увлекала какая-нибудь очередная идея, вроде «Ромео и Джульетты» в интерьерах строительного ПТУ.

Лиду, вторую жену Степана, Марфа видела дважды. Первый раз – когда Степан привез ее, беременную, в Ленинград.

Лида была красива, но не Анеля, конечно. Молчалива и поэтому казалась умной. Заговаривала и... не то чтобы дура дурой, но и не ума палата. И еще очень напряженная. Казалось, дотронься до нее – отпрянет или током ударит. Испуганная. Есть такие люди – с детства испуганные. И как ни веди себя с ними, как ни выказывай доброжелательность, готовность приветить, приласкать, они почему-то все равно остаются напряженными,

словно постоянно ждут подвоха, нападения, обиды. Словом, Лида не очень понравилась, Анелю жалко, но Лида на сносях, и тут уж хочешь не хочешь, а принимай ее с распростертыми объятиями, хотя Лида от этих объятий шарахается.

Второй раз Лиду увидели, когда Степка рванул в Норильск, то есть после гастролей не вернулся в Тюмень, встретил новую любовь и новый театр. Лида привезла в Ленинград дочь Соню, Лиде надо устраивать свою жизнь и делать карьеру, Лиду пригласили в воронежский театр.

Марфа и Камышин не могли насмотреться на внуку, хотя уже воспитывали Таню и Маню и щенячьего визга наслушались. Соня никак не походила на умненькую Маню и потешную Таню. Какая от двух артистов, но людей совершенно разного темперамента, могла быть дочь? Хитренькая. От мамы взяла симпатичную внешность, от папы – лидерский характер. Оглянуться не успели, а уже в детской Таня и Маня пляшут под Сонину дудку, отдали ей все игрушки и покорно выполняют все распоряжения.

Лида оставила дочь и сгинула, то есть в первое время еще писала, изредка звонила, потом присылала поздравительные открытки, наконец замолчала. Она была жива, адрес ее знали. Но если мать от дочери отказалась, чего навязываться? Мать – глупая женщина, потому что Сонечка – большая радость. Веселый, шепутной, озорной, неугомонный ребенок. Как Степака в детстве.

Кроме Сони, у Степана были еще сын Ипполит в Норильске и дочь Алла в Сыктывкаре. Зарплата Степана после вычета алиментов – гулькин нос. Марфа и Камышин никогда Ипполита и Аллу не видели. Марфа на дни рождения отправляла им деньги. В бланке перевода было место для текста размером в две спичечные этикетки. Из года в год Марфа писала: «На подарок от бабушки Марфы и дедушки Саши. Желаем здоровья и благополучия. Не могли бы вы прислать фото?»

Ни ответа, ни фото они так и не дождались. Положа руку на сердце, не сильно горевали. Когда у тебя по квартире носятся три маленьких бестии, не остается времени тосковать о далеких внуках.

Степан только с Анелей разошелся культурно, с остальными женами разводы были кошмарными, со взрывами женской ненависти, которая не растворялась годами. Матерей Ипполита и Аллы можно было понять: они не хотели иметь дела ни со Степаном, ни с его родней. Получать алименты – это справедливо. Никто не жирует, лишних денег не бывает, а Степан Медведев пусть хоть на хлебе и воде сидит. Всегда найдется та, что его прокормит.

Развод с Анелей был мирным потому, что брак их представлял собой

отчасти сделку. Ему хотелось первую красавицу, она устала отбиваться от ухажеров и выбрала самого настырного. С Анелей, единственной из всех бывших, Степан поддерживал приятельские отношения.

Анеля не стала актрисой. Окончив театральный институт, пошла работать к маме в музей. Там встретила и наконец по-настоящему влюбилась в скромного парня Алексея, младшего научного сотрудника, искусствоведа. Он был беспомощен за стенами музея, но прекрасен, рассказывая о пыльных черепках и ржавых стрелах. Две их дочери-погодки повторили красотой Анелию, но бабушке и дедушке было строго-настрого запрещено упоминать о карьере артисток. Семья Анели была настоящей интеллигентной питерской семьей – островком непритязательного благородства, образованности, доброты и стойкости. Степан любил заваливаться к ним в гости. Алексей поначалу воспринял его настороженно. Первый муж? К чему это? Постоянно, без нужды, поправлял очки на носу не указательным пальцем, как делают многие, а хватаясь за дужки у висков. Степан мгновенно «бросил в копилку» этот жест. Потом Алексей привык, расслабился, убедился в отсутствии корыстных мотивов у Степана и магического воздействия этого обаятельного сатира. Он стал смеяться. Алексей смеялся над шутками и представлениями Степана столь заливисто, по-детски, что стоило ходить к ним в дом только ради театра для одного зрителя. Анеля, видя мужа и дочерей, умирающих от хохота, радовалась их бурным эмоциям. Степка Медведев – это, конечно, праздник. Но праздник не может быть каждый день, а мы живем каждый день. Как хорошо, что Степка бросил ее!

Женщины у Степана не переводились. Они были в его жизни такой же необходимой составляющей, как литература у книгочея. Любитель чтения заках бы без книг, а Степка – без женщин.

Как-то Степан, Настя, Марьяна, Василий и Митяй ехали в метро с Петроградской – ночевать у Насти и Митяя. Степан, как и все, чуть под хмельком, выйдя из поезда, стал клеиться на перроне к девушке:

– Вы прекрасны! Простите мне мою неучтивость, невоспитанность, но промолчать, не выразить свое восхищение просто нет сил. Вы необыкновенная, вы не как все! А я не пошлый пристава. Я режиссер. Вот мой брат Дмитрий, художник. Подтверди!

– Подтверждаю, – кивнул Митяй.

– А это мой двоюродный брат – засекреченный физик-атомщик, доктор наук. Вася, подтверди!

– Я доктор наук, но уже давно не засекреченный.

– Вы, – продолжал обольститель Степка, – запали мне в сердце. Я

вижу вас Офелией и Дездемоной, Татьяной Лариной и бедной Лизой, это из Карамзина. И одновременно! О, это наслаждение, неведомое грубым натурам! Я вижу вас царицей, госпожой моего сердца. Я никогда не обманываю женщин, у меня серьезные намерения. Настя! Это моя невестка, музыкант. Настя, подтверди!

Девушка смотрела на Настю: хорошо одетую стильную женщину.

– У него всегда серьезные намерения, – сочувственно улыбнулась Настя девушке. – Он действительно режиссер и всегда женится. Вот уже четыре раза.

– О! – пригнулся и по-собачьи заводил носом Степка. – Кажется, запахло предательством. Враги не могут предать. Предают только самые близкие. Марьяна! Кстати, Марьяна педагог, ты ведь защитишь меня от жестокосердия этих скучных обывателей?

Не дождавшись ответа, наклонился к ушку девушки и что-то замурлыкал.

Растерянная, она не знала, что думать. Режиссер, художник, доктор наук, музыкант – приличные люди, Офелия, Дездемона, царица сердца...

– Только один знак! – молитвенно складывал руки Степка. – Знак того, что у меня есть надежда. Номерок телефона, а?

Девушка открыла сумку, достала карандаш, блокнот, вырвала листочек, написала свой номер телефона, протянула Степану. Он поцеловал листочек и бережно убрал в карман. Галантно склонился и поцеловал девушке руку.

На следующий день Степка проснулся с больной головой:

– Какой изверг предложил вчера ночью догоняться вином?

– Ты тот самый изверг, – ответила Настя.

– Степа, ты помнишь, что вчера с девушкой познакомился? – спросила Марьяна. – Телефончик взял, хотя имя, кажется, забыл спросить. Ты эту девушку увидишь – не узнаешь!

– А какая разница? – в ответ спросил Степка. – Вино поверх маминой настойки – это химическое оружие. У вас рассола случайно нет?

После периода «режиссуры по северам» Степан два года прожил в Ленинграде. Женившись, конечно.

Женщина, на которой он женился, представилась официально:

– Тамара Николаевна!

Они и потом были по имени-отчеству: Марфа Семеновна, Александр Павлович.

Тамара Николаевна работала на студии документальных фильмов, куда

Степку случайно занесло во время отпуска.

Это был день рождения его однокурсника. Много народу, много выпивки, скудная закуска, дым столбом, коробка от пленки полна окурков. Степан увидел интересную женщину, Степан заискрил. С ходу придумал идею фильма. Тамара сказала: «Любопытно. Сами напишете заявку или помочь?» Конечно, ему требовалась помощь. Во всех смыслах.

Сын Тамары, шестилетний Руслан, привязался к Степану со страстью безотцовщины, который с пеленок мечтал о хорошем папе. Папы у Руслана не было никогда. Мама его родила вне брака, говорила, что отец погиб, и решительно противилась любым разговорам на тему папы.

Марфа бурчала: Степка о своих детях не печалится, к чужому прикипел. Но как он мог оставаться равнодушным к влюбленности мальчишки, к его глазам, к готовности стать таким, чтобы папа гордился? Родная дочь Соня подобного трепета не выказывала. Руслан был одинок, а Соня – частью девичьего триптиха, практически единого организма. Девочек даже называли общим именем – Сонятаняманя.

Степан снял документальный фильм о мастерах – золотые руки. Два года работал как проклятый. Фильм – гимн мастерству. Герои: слесарь-станочник, мужской портной, краснодеревщик, сапожник. Искал протезного мастера, подобного Гавриле Гавриловичу, о котором много слышал от Василия, Егора, Пелагеи Ивановны, но не нашел никого похожего. Степан долго бился над закадровым текстом, а потом от него отказался. Только синхроны, прямая речь, которая чередуется с крупными планам работающих рук, средними планами – мастер на своем рабочем месте, проходами – мастер идет по улице, и по выражению его лица почему-то становится ясно, что сейчас он обдумывает проблему, связанную с нынешней работой. Синхроны – параллельная запись изображения и звука – были очень дороги. Мастера не артисты с заученным текстом, они привыкли работать, а не вещать. Пока их разговоришь, настроишь на нужную волну, создашь настроение и вызовешь нужный тебе спокойно-доверительный монолог, в отвал уходят километры пленки. Очередной перерасход сметы, скандал на студии, угроза выговора, отстранения от картины, санкции, разносы, слюна, летящая изо рта разгневанного начальства. Удар принимала Тамара Николаевна, Степан прятался за ее спиной и работал.

Она говорила руководству:

– Мы выпускаем два десятка картин в год. Среди них есть очень достойные. Но можем мы, в конце концов, расщедриться на один шедевр?

«Ага, шедевр, как же! – шептались за ее спиной. – Муж снимает,

потому и шедевр».

Тамара Николаевна рисковала репутацией и карьерой, тяжело ей, матери-одиночке, доставшейся.

Когда шел монтаж, Степан спал по три часа в сутки, потом вовсе перестал уходить со студии. Жена приносила ему чистое белье и еду.

Фильм имел большой успех, получил несколько наград на международных фестивалях документальных фильмов. Степана пригласили на Высшие режиссерские курсы. Это был трамплин в большой кинематограф.

Вместо Москвы Степан уехал в Новосибирск ставить «Трамвай “Желание”» Теннесси Уильямса. Уехал как удрал – вечером сказал, огорошил, чемодан собрал, утром на вокзал отправился.

Еще и трусливо попросил жену:

– Ты моим сама скажи, ладно?

– После того как ты Урал переедешь или можно до того?

– Сама сообрази, ты у меня умница. Я тебя обожаю!

Тамара Николаевна пришла к Камышиным без звонка, чего раньше не случалось. И никогда прежде у нее не было растерянного, опрокинутого лица.

Со спины Тамару Николаевну можно было принять за девочку-подростка. Повернется – нет, не девочка, женщина средних лет, с лицом тонкой лепки, со взглядом строгим, внимательным, оценивающим. Такие женщины бывают цепки, честлюбивы, дотошны, вьедливы. Они прекрасные работники и справедливые руководители, с ними хорошо, если ты сам не халтурщик. Но почему-то не оставляет подозрение, что когда-то давно эта женщина, вероятно будучи наивной девчонкой, пережила большую личную трагедию, провалилась в пропасть, содрала кожу. Нашла в себе силы выбраться, отрастить новую кожу-броню.

Тамара Николаевна рассказывала о неожиданном поступке Степана. Марфа и Камышин переживали не столько из-за сына, его очередной выкрутас как раз вполне ожидаем, сколько из-за Тамары Николаевны, брошенки. Они могли высказать сочувствие, только ругая сына.

Марфа обзывала его аспидом, которого с ума своротило.

Александр Павлович встал, принялся расхаживать вдоль стола:

– Человек с завышенными амбициями смешон и презираем. Но человек с отсутствием амбиций! Когда перед тобой блестящие перспективы! И никто не говорит, что успех тебе преподнесут на блюдецке с голубой каемочкой. Семь потов сойдет, труд, труд и труд! Но ведь

дьявольски интересный. Работать можно на разных уровнях перспектив и возможностей. Например, станочник и мастер, мастер и инженер, инженер и директор завода, директор завода и министр. Может... – остановился Камышин, сел на стул. – Может, Степка трус?

– Не, – покачала головой Марфа. – Степка не трус. Просто натура такая, сами знаете, от кого. Шило в заднице, а в голове сквозняк.

Пока Камышин переваривал собственную характеристику, заговорила Тамара Николаевна:

– Ваш сын уникальный человек. Настоящий творец и абсолютно независимая натура. Его внутренний мир, творческий, сумасшедший, живет по собственным законам, и в этом мире нет места крысиным бегам за звание заслуженного деятеля, народного артиста, лауреата, орденосца. Ему плевать на пост, который он занимает, на кресло, в которое взгромоздился. Степан абсолютно самодостаточный человек с бешеным талантом. Хороших, достойных, презирающих карьерные гонки людей много. Среди творческих людей – подчеркиваю – много. По моим наблюдениям, в Ленинграде гораздо больше, чем в Москве. Но это сочетание: талант без амбиций... Я с вами согласна, Александр Павлович, человек без амбиций зачастую безволен. Но Степан не просто исключение из правил. Он – над всеми правилами и исключениями. Я говорю не как влюбленная женщина, жена, собственница. Как мыслящий человек. Я поднимаюсь над бытом, суетой, я забываю свои принципы. Я летаю, верю в немыслимое, невозможное, какое-то божественное, ради чего, оказывается – то, только и есть смысл жить. Меня Степан научил летать.

У Марфы было такое чувство, словно ей в вены мед загоняют и вдобавок медом сердце поливают. Ведь как к сыну ее младшенькому все относились? Балагур, паяц-пересмешник. Гуляка, многоженец – кобель. А тут он в словах Тамары Николаевны... Марфа плакала от умиления, только слезы вовнутрь текли, меда не растворяя. Ей хотелось слушать и слушать Тамару Николаевну. Интуитивно желая продлить удовольствие, подстегнуть невестку, заставить ее противоречить, хвалить Степана, Марфа сказала:

– Сибирь большая, наматается теперь по долям и весям.

Тамару Николаевну не требовалось подстегивать. Ей было приятно говорить о муже, тем более что слушатели – самые благодарные.

– Может показаться, что Степан с его метаниями, неспособностью усидеть на одном месте – летун без царя в голове. Это было бы справедливо, если бы все, что он создал, было бездарно. Но каждая его работа – шедевр. Я была в командировке в Тюмени, видела его спектакли,

мы тогда не познакомились. Меня трудно поразить, удивить, я человек весьма сдержанных эмоций, меня за спиной называют Лыдина Снеговна. Я посмотрела три спектакля и растаяла, была потрясена, раздавлена и одновременно переживала взрыв чувств, мыслей, идей. Даже испугана – побоялась знакомиться с режиссером, хотя мне предлагали. Вдруг он окажется мерзкой личностью и очарование пропадет. Через два года мы случайно встретились на нашей студии... Когда хотят похвалить человека, говорят, что он не ищет легких путей. Но почему, собственно, для реализации своих идей надо лезть в гору или вгрызаться в нее? Когда можно пойти более простым путем? Да, Степан, исчерпав возможности одного места, заскучав, подхватывает чемодан и уезжает в другое место. И там он снова будет искрить, всех подпалит, они загорятся и выдадут новый шедевр. У Степана зверская интуиция. Она не от ума, а от чувств. Он точно знает, вернее, безошибочно чувствует, что ему нужно. Это свойство свободного талантливого художника.

Камышин, растроганный, красный, попытался продемонстрировать строгость:

– Без руля и ветрил наш Степка!

– Обрубить ему ветрила, – улыбнулась Тамара Николаевна, – было бы жестоко, да и вряд ли возможно. А рулем ему буду я. Как-никак он мне муж и отец моему сыну. Увольняюсь с работы и еду к Степану. Теперь, наверное, меня будут звать не Лыдиной Снеговной, а Декабристкой. Впрочем, меня никогда не волновали сплетни.

Она правильно истолковала одинаковое выражение лиц Марфы Семеновны и Александра Павловича: радость, растерянность и откровенная жалость.

– Надо торопиться, – покивала, хитро подмигнув, Тамара Николаевна. – Пока он не женился на очередной актерке.

– Может, Руслана пока нам оставите? – предложила Марфа. – Мы на дачу скоро переезжаем. Там ему не будет скучно, там не только малышки Соня, Таня, Маня. Илюша будет, из Москвы Вероника, Костя и Володя приедут.

– Как вы управляетесь со всеми?

– Они самоорганизуются, – сказал Камышин. – Тамара Николаевна, вам будет проще обосноваться на новом месте, а мы за мальчиком присмотрим.

– Я хотела его в пионерлагерь отправить на лето, но туда берут только школьников...

– У нас на даче почти то же самое, только питание получше.

- Все свои, – уговаривала Марфа. – И Руслан-то ведь свой теперь.
- Спасибо! У вас удивительная семья!

Степан более не женился и детей на стороне не заводил, хотя из города в город переезжал. Про Тамару Николаевну злые языки говорили, что она держит мужа в ежовых рукавицах. Злые языки плохо знали натуру Степана. Его даже связав колючей проволокой не удержишь, если он захочет сбежать. Тамара Николаевна любила его и преклонялась перед его талантом. Пожертвовала собственной карьерой, работала в отделах культуры обкомов партии, оберегала Степана от цензурных и прочих проблем. Она была из тех редкой мудрости женщин, которые как горькую пилюлю принимают данность: муж не способен существовать без влюбленностей, которые дарят ему вдохновение и творческий азарт. Можно проглотить пилюлю, перетерпеть и через некоторое время получить мужа обратно. Не физически. Физически он никуда не уходит, живет с тобой в одной квартире. Вернуть духовную связь с ним. Можно не терпеть и потерять навсегда единственного любимого. Выбор тяжелый, но выбор есть. Между гордостью и нелегким счастьем.

Интрижки Степана, даже не будучи тайными, не становились причиной драм, трагедий, конфликтов. Тамара Николаевна умела с ледяным презрением отшить доброхотов, и желающие «открыть ей глаза» перевелись.

Степан боготворил жену. Он говорил, что восхищается ее умом, красотой, достоинством, мудростью. Говорил своим пассиям, заранее отменяя далеко идущие намерения. Говорил в определенной стадии подпития на любом застолье. И тогда Тамара Николаевна улыбалась. За годы жизни со Степаном у нее появилась особая улыбка, в которой были любовь и ревность, обожествление и непролитые слезы, усталость и третье дыхание: «Если Степан Петрович заговорил о моих неземных качествах, то это верный признак закругляться».

Клад

Когда в 1955 году одна за другой родились три внучки: Танюшка у Клары и Виталия, Маня у Егора и Дарагуль, Соня у Степана и Лиды, – Камышин шутливо грозил пальцем жене:

– Не иначе как ты вымолила или наворожила. Молодох наших точно прорвало. «Урождаальный» выдался год.

Ни он, ни Марфа не могли предположить, что им придется воспитывать девочек. «Придется» нехорошее слово, подневольностью отдает. Выпадет счастье – так точнее.

Кажется, еще вчера в детской стояли визг и крик из-за неподделанных игрушек (карандашей, ручек, альбомов, ленточек, гольфов). Или вдруг затишье, а внучки, оказывается, играют в беременные и стащили с кухни стеклянные банки, которые засунули себе под платья. Затишье было недолгим – «беременные» передрались из-за того, кому первой рожать. Банки разбились, Сонятаняманя чудом не поранились. Были поставлены в углы, и каждая вопила: «Мне в туалет надо!» А потом хором скандировали: «Нам в туалет! Нам в туалет!»

– Терпите, варначки! – кипятилась Марфа. – Нечего здесь митинг разводить! Всем вдруг понадобилось! Как драться, так не обсикались!

И тут наступал дружный рев. Дедушка Саша знал, что плач притворный, но долго не выдерживал:

– Я осужденных выведу по очереди оправиться? А, Бама? Тьфу ты, Марфа?

Внучки ее звали Бама – сокращенно от «бабушка Марфа». Первой Татьянка, которую Марфа с трех месяцев воспитывала, так в два годика назвала – не выговаривала длинного обращения. Маня и Соня потом подхватили.

Дедушка Саша много работал, дома бывал редко, внушек обожал, чем они пользовались.

Провожая «осужденных» в туалет, тихо наставлял:

– Попроси прощения у Бамы! Она же добрая, сама знаешь.

Актерская дочь Соня уже в пять лет просила прощения театрально:

– Я искренне раскаиваюсь! Мне очень жаль!

За ее спиной поддакивали Таня и Маня.

Когда Соня после очередного наказания выдала, что ее сердце рвется на части из-за доставленного огорчения любимой Баме, Таня сказала, что у

нее рвутся все органы, а Маня добавила, что у нее, кажется, начала лопаться кожа, до Марфы дошло, что все их покаяния – чистый театр. И она снова отправила внучек по углам.

Марфа боялась избаловать девочек. Она ведь не настоящая мать, хоть и фактическая, потому двойной спрос.

– Ты ведь Елену на руках носила! – говорил Камышин про свою первую жену. – Елена была архиизбалованной, в запредельной, непереносимой степени. А ты ее оберегала!

– Где им, внученькам, найти такую жалостливую, как я? Домработницы перевелись. А девчонку избаловать – бабе судьбу исковеркать.

Камышин изменил тактику: после похода из угла в туалет внучкам предлагалось не просто попросить прощения у Бамы, а что-то пообещать в виде искупления. Помыть посуду, пол, окна, отутюжить белье, участвовать в изготовлении пирогов, в разливании по тарелкам студня, консервировании овощей. У внучек были школа, уроки игры на фортепиано, английский дополнительно, спортивные секции. Когда они в счет свободного времени шли на кухню помогать Марфе, у нее резко поднималось настроение. Опасалась, как бы внучки не выросли с иностранным языком, да безрукие, теста замесить не умеют.

Вот только недавно образовывались, как говорил Александр Павлович, фракции.

Он приходил с работы и спрашивал:

– Опять Соня с Маней против Тани, за которой все мальчики бегают?

Бывало и Таня с Маней против Сони, которая первой губы красила, а всем досталось. Также Соня с Таней против Мани – круглой отличницы. Запретила им списывать у нее домашнее задание, мол, ваши оценки нечестные, а сами вы станете отстающими. Зачем им, скажите, корпеть над примерами и упражнениями, делать ошибки, когда можно у Мани списать?

Вечное треньканье пианино – Настя занималась с девочками два раза в неделю. У Мани были абсолютный слух и потрясающая усидчивость, Соня так-сяк играла, Тане медведь на ухо наступил. Когда она делала домашнее задание по музыке, хотелось топором порубить фортепиано.

Их болезни, травмы, неразделенные роковые влюбленности и разделенные, но ненужные... Однако соревнование не отменяется: сколько по общему счету мальчишек тебе портфель от школы до дома носили?

Их коллекции фотографий артистов, из-за которых Таня у соседки заняла деньги, Маня продала новенькую шапку с шарфиком, а Соня попросту «взяла на время» из семейной шкапулки с наличностью. После

шумного наказания Бамой: «Никакие ваши обещания отработать мне не нужны, переселенки!» – дедушка Саша посоветовал объединить коллекции и выступать единым фронтом.

Это было обалденно! «Обалденным» было все выдающееся: черный школьный фартук с оборками на лямках, сшитый из подкладочного шелка, по мнению дедушки Саши, фартук напоминал одежду дореволюционного похоронного служащего. «Обалденно» пели Муслим Магомаев, Майя Кристалинская и ВИА «Веселые ребята». Картины в Эрмитаже и Русском музее, куда их водили дядя Митя и тетя Настя, «тоже обалденные».

Объединённая коллекция фотографий артистов сразу вывела их в лидеры среди одноклассниц. И потом, зачем им три Смоктуновского, Тихонова и Румянцевой? Можно сменять на Ларионову, Извицкую и «обалденного» Ланового.

Вот еще недавно... случалось. Девочки – без матерей. Никто мать не заменит, как ни тужься. У их одноклассниц есть мамы, у кого-то и папы. Другие девочки могут сказать: «Вон моя мама идет... Моя мама достала перламутровую помаду... Моя мама поет как Зыкина... Мама. Мама. Мама...»

После наказания у внучек вдруг истерики, приступы коллективного рева: «Хочу к маме! Где моя мама?»

Бама уходила в их с дедушкой спальню, называемую кабинетом, куда внукам ни ногой. Бама хлопала дверью, им в голову не приходило, что она страдает.

Дедушка Саша откладывал газету и хмуро спрашивал:

– К мамам? Прекрасно! Таня – выносить горшки за Эдюльчиком. Маня – к новой жене Егора, мы пока с ней не знакомы, но мачеха есть мачеха. Соня – в Саратов или в Самару? Неважно, где-то твоя мать на подмостках выступает и будет счастлива принять неуправляемого подростка. На какие числа заказываю билеты, барышни? Молчите?

Барышни давали задний ход – при всей любви к приключениям разлучиться друг с другом и остаться без Бамы – не обалденно. И тянулись просить прощения у Бамы. На которую правом собственности обладали, хотя и приходилось его защищать от всяких приезжих двоюродных.

Бама сидела на краешке кровати и тихо покачивалась. Как будто землетрясение или атомная бомба упала. Что они такого сделали? Подумаешь, про мам заголосили. У Мани вообще нет мамы, давно умерла. У Тани мама иногда приезжает и командует ими, точно служанками. Соня маму не помнит, но папа у нее мировой. Может до икоты рассмешить. Только ведь они видят, что Сонин папа быстро от них устает, наровит

улизнуть. А Бама никогда от них не устает, потому что они для бабушки как руки или ноги. Разве может человек устать от своих конечностей?

Робко зайдя с позволения дедушки в запретную комнату, они молча лезли на Марфу, как мартышки на любимое дерево. Соня и Таня с двух сторон за шею обнимали. Манечка на коленях пристраивалась, обхватив талию бабушки, прижималась к теплему животу.

Бабушка ничего не говорит, только тяжело вздыхает, они тоже помалкивают.

Потом бабушка шумно выдохнет и скажет что-нибудь про жизнь, которая нелегкая, но трудной ее грех назвать. Или пословицу вспомнит: «Высохло море, а все луже не чета». Про что это? Бабушка объяснять не хочет. Маня потом догадается: высохшее море – это мамы, а лужа – это Бама. Совершенно неправильная пословица!

Иногда какая-нибудь из девочек не выдерживала печального молчания и, будто подсказывая бабушке, что пора их прощать, подражая ее интонациям, простанывала:

– Охо-хошеньки!

Две других не могли остаться в стороне. И, опять-таки карикатурно копируя взрослый голос, перебивали одна другую:

– Как жизнь сложилась, не переиграешь, не театр.

– А и то посмотреть, сытые да одетые...

Все хохочут...

– Были б несчастными сиротками, дык не ржали бы...

– Чисто кобылы...

– Дразнитесь, пародистки? – спрашивала Бама уже строго, печали, грусти и обиды как не бывало.

Поэтому можно позволить себе по очереди, пулеметно, выдать весь арсенал ее ругательств:

– Переселенки.

– Охламонки.

– Варначки.

– Кандальницы.

– Язви нас!

– Вот я вас сейчас ремнем по мягкому месту! – грозит бабушка.

Она их пальцем никогда не тронула, только пугает. Но изображать страх ужасно приятно. Они с визгом несутся из комнаты под защиту дедушки. Он сидит в кресле, прислушиваясь к тому, что происходит в кабинете, успевает надеть очки и спрятаться за газетой. Но не тут-то было – налетела саранча, якобы спасаясь от гнева бабушки.

На дедушку тоже можно залезать, кувыркаться с его плечей. Но так, как дядя Митя, Илюша, Манин, Танин и Сонин папы, дедушка не может, у него старые кости, которые могут сломаться.

С папами и дядями, с братом очень весело: одна садится на правую ногу, обхватив под коленкой, вторая – на левую. Самая быстрая и ловкая, как правило, Соня – уже сидит на шее. Иго-го-го! Поскакали!

В противовес девочкам, что гордились своими мамами, Сонятаняманя на три голоса хвастались, что брат Илюша, который спортивный комментатор, подарил им три велосипеда, тетя Настя сказала, что юбки солнце-клеш вышли из моды, и купила им гофре, тетя Марьяна привезла из Москвы настоящие золотые сережки, и Бама согласилась проткнуть им уши, папа Мани из самой Арктики привез шкуру белого медведя, а Танин папа сделал им огромный кукольный домик, полкомнаты занял, а дедушка Саша – вообще! – дает им по рублю каждую неделю! Проколоть уши Бама разрешила через пять лет, когда им четырнадцать исполнится, медвежья шкура дико залиняла, и бабушка выкинула ее на помойку, рубль у дедушки они выманили лишь один раз. Но все это не важно, важно, что им завидуют.

Дедушка – самый главный в семье, его все слушаются. Бама всех любит, их – особо, а дедушка у нее как царь. Поэтому так здорово бывает вывести дедушку из его обычного царского состояния. Например, испугать или рассмешить. Еще лучше: сначала испугать, а потом рассмешить.

– Тетя Оля, которая продает газировку, – докладывает дедушке Таня, – матерится как сапожник.

– Что-о-о? – Дедушка срывает с носа очки.

Повысив голос, он запрещает им на веки вечные приближаться к «этой тете Оле». Больше никаких «дай по четыре копейки, дедушка!» Не кланчить! Он не уступит, он – скала. Пусть пьют компот, не хватало, чтобы его внучки нахватались бранных слов! Ленинград после войны захлестнуло приезжими плебеями, которые урны в глаза не видели. Мусорят, харкают на панель, в транспорте ведут себя как последняя скотина... то есть он хотел сказать, что женщинам места не уступают и не помогают сойти с подножки трамвая.

Тетя Оля управляет фаэтоном – громадной тележкой с тентом. Сверху на фаэтане карусель стеклянных цилиндров с краниками внизу. В цилиндрах сиропа – яблочный, грушевый, клубничный, малиновый. Без сиропа, чистая газировка из большого крана – одна копейка. Сироп на выбор наливается в граненый стакан, потом уже доливается шипучая газировка – четыре копейки. Стаканы моются в миске с дырочками,

утопленной в поверхность фаэтона. Стакан перевернуть, в миску опустить, нажать на донышко, и маленький фонтанчик струек бьет из дырочек. Вкуснее газировки ничего нет. Если денег поднакопить, то можно купить два сиропа, например, яблочный и малиновый – семь копеек.

– Ой-й-й! За что? – заламывает руки Соня.

Ей всегда достается самая трудная роль. Но ведь она театральная дочь.

Дедушке ее актерство прекрасно известно, и он доверяет только Мане, которая никогда не врет, за что бывает сестрами бита.

– Маня?! – гаркает дедушка.

– Мы сами не видели, – честно признается Маня. – Парень на мотоцикле врезался в тетю Олю, то есть не в нее, а в фаэтон...

– Который опрокинулся вдребезги, – перебивает Таня.

– Сироп по панели ручьями тек, – подхватывает Соня, – кровавыми струями.

– Баллоны с газом чуть не взорвались. – Мане удастся вклиниться. – А кто такие плебеи?

Дедушка заметно успокаивается, рукой останавливает Таню и Соню, которым не терпится донести подробности.

– Говорит Маня! Про плебеев прочтешь в энциклопедии. Далее!

– По словам воочевидцев, тетя Оля ругалась как сапожник.

– Кто такие... – удивляется дедушка. – А! Очевидцы.

– А мы им сказали, – выпаливает Таня, – что они нашу бабушку не слышали.

Александр Павлович застывает на несколько секунд, таращится на внушек, которые были оскорблены тем, что кто-то перещеголял их бабушку. Потом начинает хохотать. В кругу семьи его самое бранное ругательство – «холера», у бабушки Марфы – «переселенец».

И уже вечером, в постели, засыпая, Камышин вдруг сознает, что нарушил заповедь жены – не давать внушкам деньги, больше четырех копеек на газировку. Марфа почему-то считала, что наличность способна испортить ребенка хуже спиртного и табака. Крестьянская натура! Сонятаняманя выманили у него рубль. Газировки, мол, теперь долго не будет, а в магазине ситро в бутылках стоит двадцать четыре копейки, двенадцать можно, конечно, вернуть, сдав бутылку. Но бутылки сдает Бама. Двадцать четыре на три – семьдесят две копейки. От рубля остается двадцать восемь копеек – на двести пятьдесят грамм халвы. Что, дедушке жаль халвы для внушек? И ведь подсчеты ему озвучивала честнейшая Маня!

Они были очень разными, и внешне, и по складу характеров. В то же время, несмотря на «фракции», драки и бойкоты, существовали как единый организм.

Таню увезли в очередной раз родители, Соня и Маня хандрят, ноют, плохо кушают и ночью спят в одной постели. Таню вернули – ура! Дым коромыслом. Маня зимой попала в больницу с воспалением легких. Таня и Соня сбегают с уроков, выписывают круги под окнами больницы по сугробам, пока сами не сваливаются... к сожалению, не с пневмонией, а с какими-то вульгарными бронхитом и ангиной. Соня подвернулась под руку бабушке, которая от плиты к столу несла горячий куриный суп. Соне обварило ногу – красиво и больно. Россыпь волдырей, как созвездие. Теперь Соня якобы навеки обезображена. Как драматично! В знак солидарности две дурочки плеснули себе из кипящего чайника на ляжки.

Не только дедушка с бабушкой, все взрослые задумывались про это единство противоположностей. Воспитываются стариками, хотя многочисленная родня готова нагрянуть по первому зову. Их балуют, но не материально. Попробуй при Марфе лишнюю, с ее точки зрения, кофточку подарить! В шкаф спрячет, на нитье внушек в лучшем случае расщедрится обещанием: «Дам на праздник Восьмого марта надеть». А попробуй им по гривеннику в ладошку вложить? Разврат насаждаете! И та же самая Марфа с ее установкой «чтоб внушки не хуже других выглядели» невольно наряжает их «чуть лучше» – как бы люди не подумали, что сиротки нуждаются.

Что-то девочек спланивало. Родство или отсутствие нормальных родителей? Любовь бабушки с дедушкой в отсутствие родительской любви? Необходимость гордо заявить: «Да, у меня нет мамы, которая придет на родительское собрание! Зато нас на зимние каникулы повезут в Москву. На Кремлевскую елку!»? Состязание друг с другом дома и выступление единым фронтом за его порогом?

Это было неправильно – их детство. Но одновременно исключительно, как выразился однажды Илюша, тренировочно. Тренировки он считал основным условием здорового организма. Тренировки тела и психики.

К четырнадцати годам внушки вошли в пору, когда их женская стать определилась. Впрочем, ничего нового, то же было и в семь лет, если выстроить по росту. Татьяна самая высокая. Про таких в Сибири говорили «дрынношшепина». Соседки и приятельницы наперебой говорили Марфе, до чего хороша ее Татьяна.

Марфа отмахивалась с плохо скрытой гордостью:

– Уж ее на улицах хватают, модельщицей на Невский в «Дом мод» зовут. Не знаю. Четырнадцать всего, а все восемнадцать дашь. Глаз да глаз, дык ведь и сама строгая, вольностей не допускает, хочет, как бабушка и другие женские предки ее, врачом стать.

Соня пониже ростом, Тане до уха. Умеет томно, плавно, как в песне, «... смотришь искоса, низко голову наклоня», так глянуть, так стрельнуть глазом, потупиться стыдливо, что купишься на лету, как миленький. Эта ее поволока безотказно действует на людей, которые не слышали, как Соня вопит, когда ее тушь для ресниц пропала. Она вовсе не хрупкая ранимая принцесса, однако и не ядовитая змея-актерка, что кусает из-за непонятного ей самой удовольствия.

Манечка – маленькая изящная статуэтка, будто бы из хрупкого, светящегося фарфора: тронь, урони – разобьется. На самом деле Манечка – из титана, прочного нержавеющей металла. И наверное, ей более всех повезло: что росла рядом с Танюшкой – красивой и безвольной, с Соней – прохиндейкой и тоже безвольной. Приходилось тратить себя. Тратить как дарить и избавляться от громадного, взваленного на нее природой груза душевности, ответственности, честности, исполнительности, логики, рациональности. Не будь рядом сестер, этот дар раздавил бы ее, как убил в свое время ее мать. Марфа была убеждена, что Дарагуль умерла потому, что была святой – не для этого света.

Марфина власть стала слабеть, когда внушки учились в седьмом классе, к девятому почти сошла на нет. Финалом была война, Марфой проигранная. Война за мини-юбки. Ничто не могло побороть срамного желания внучек ходить с едва прикрытыми задницами; ни бабушкина ярость, ругань, ни ее ужас (даже продажные девки так не оголяются!), и даже ее печаль, отчаяние на грани болезни не тронули Сонютанюманю. Самым обидным было, что Марфа вела войну в одиночестве. Никто не поддержал! Камышин говорил, что внушки – те же фигуристки. Когда показывали соревнования по фигурному катанию, вся страна прилипала к телевизорам. А у фигуристок костюмы – известно, юбки слегка попу прикрывают, а во время тройных акселей и вовсе не прикрывают.

Марфа смирилась. Это была старость. Раньше думала, что старость – это немота, бессилие, забывчивость, сонливость днем и бессонница ночью. Дык не только! На горло наступить своему трезвому, на тяжком труде добытому опыту – тоже старость.

Внушки были модницами. При советах и поощрении тети Насти крутились у зеркала, наряжались-перенаряжались, комбинировали детали гардероба. На Татьянке любая вещь сидит отлично, поэтому много нарядов

не требуется, считают Соня и Маня. «Нечестно, – возмущается Татьянка, – я не виновата, что вы недоростки!» В старших классах они уже не дрались, то есть отчаянно не лупили друг друга. Но потасовки устраивали, носились по квартире. Марфа раньше думала, что так ведут себя только мальчишки, но не девушки почти на выданье. Девушкам положено скромно сидеть, шить-вышивать себе приданое.

Таня и Маня терпеть не могли рукоделия, а Соня обожала. Научилась кроить и шить, сестры у нее были на подхвате, на неквалифицированной работе, вроде обметывания швов. Модели нарядов из отечественного и иностранного кино. Добыть ткань – проблема из проблем. Случались потрясающие удачи: грязно-розового цвета тик для наперников в известном магазине тканей на Большом проспекте прекрасно подходит для брючных костюмов в стиле героинь из французского кино, где главную роль играет обалденно симпатичный дурнушка Бельмондо.

Одежду девочкам из Германии привозит и Клара. К концу службы Виталика им повезло, а правильное сказать, их наградили за годы пребывания в Заполярье службой в ГДР. При всех своих недостатках Клара никогда не была жадной. Последнего она бы не отдала, но с предпоследним расставалась легко. Клара одевала в импортное не только собственную дочь, но и Маню с Соней, получая при этом удовольствие королевы, которая одаривает своих фрейлин.

* * *

В 1972 году, когда девочки окончили школу, Камышину исполнилось восемьдесят шесть лет, Марфе – семьдесят пять. Он говорил о себе – мумифицировался. Рассудок его был ясен, хотя, конечно, нападали приступы нравоучительства и углубленного анализа внешней и внутренней политики – в беседах с детьми, которые были уже предпенсионного возраста, и с внуками, которые вежливо терпели дедушкины монологи. Марфа по-прежнему работала от зари до зари, дома и на даче. Квасила капусту в бочке, которая стояла между дверями черного хода, солила грибы в эмалированных ведрах, зимой за окном кухни, выходящим во двор, висели гроздья холщовых мешочков с пельменями. И всегда у Марфы в кладовке был солидный запас муки, круп, макарон, подсолнечного масла, соли, сахара, консервов.

«У нас как на подводной лодке для автономного плавания в течение года», – закатывали глаза внуки, но над запасливостью Бамы никогда не

насмехались.

Они знали, что в Блокаду умерли первая жена дедушки Саши и первый муж бабушки Марфы. Илюшу-младенца, тетю Настю и дядю Степана, тогда мальчишку, Бама спасла именно благодаря своей запасливости. Ни бабушка, ни тетя Настя, ни отец Сони, ни дедушка не любили рассказывать о Блокаде.

В шестидесятые каждый год Девятого мая внуки с дедушкой и бабушкой ездили на Морской проспект. В двадцать втором корпусе, в длинном коридоре накрывался большой стол. За него садились бывшие соседи, еще тут живущие и, как они, отселившиеся. Праздновали Победу: ели, пили, пели песни, танцевали под баян и под пластинки и... плакали, когда у кого-нибудь вырывалось: «А помните...» – про кого-то умершего от голода или про то, как коридор и лестницы в первую, самую страшную блокадную зиму были покрыты полуметровыми наледями – от помойных и отхожих ведер, что выплескивали за дверь квартиры, выносить сил не было. Когда Сонин папа был в Ленинграде и участвовал в этом застолье, то оно приобретало повышенный градус веселья. Тетеньки за столом хохотали, любовно смотрели на него и мотали головами: «Ох, Степка! Оторва! Каким был, таким остался! Как шило в заднице сидело, так и не выскочило!»

Но девочкам запомнилось, как Сонин папа, однажды говоря тост про искусство, которое еще должно осмыслить, переварить в художественные образы то ужасное и героическое время, вдруг закашлялся, подавился слезами:

– Это невозможно переварить, забыть, никакой образ не способен приблизиться. За Победу! – просипел он сорвавшимся голосом.

Тетя Настя не ездила с ними на Морской. То есть когда-то давно, когда они были еще маленькими, смутно помнили, что ездила. Запомнилось, потому что у сидевшей за столом тети Насти лицо было непривычное: без игривой доброй улыбки, некрасивое, дряблое, беспомощное и дрожащее, как будто ей плакать хочется, но нельзя. Когда возвращались домой, шли к трамвайной остановке, Бама сказала тете Насте:

– Не ездь больше на Морской. Нечего сердце рвать, когда у людей праздник.

«Сердце рвать» – на них произвело впечатление, потом ночью обсуждали, как сильно у тети Насти порвалось сердце и скоро ли срастется. Позже они узнали, что Девятого мая тетя Настя с Илюшей и дядей Митей ездят на Пискаревское кладбище – гигантскую могилу безымянных жертв Блокады. Никаких особых ритуалов, рассказывал Илюша, никаких слов,

воспоминаний, слез, долгих хождений. У мамы в руках две гвоздики. Молча положит их, несколько минут постоят – и обратно домой.

Дедушка Саша Девятого мая, по выражению Бамы, «брал лишнего на грудь», то есть выпивал сверх меры. Когда такое изредка случалось в иные дни, дедушка становился сверхдобреньким, веселым и слегка нелепым. В День Победы, напротив, в нем клокотало, рвалось наружу передуманное, глубоко спрятанное, выстраданное. Он говорил за праздничным столом и бил кулаком так, что подпрыгивали тарелки. Его речи касались мировой политики и, по большому счету, были далеки от сознания слушателей. Вопросами, которыми задавался дедушка, никто из бывших соседей не интересовался и уж тем более не мог на них ответить.

– Взять в осаду город и умертвить полтора миллиона человек! И не говорите мне про шестьсот-восемьсот тысяч! – Удар по столу, женщины хватаются за бутылки, чтобы те не упали. – В первые месяцы войны в Ленинград хлынули тысячи беженцев, по самым скромным подсчетам – до трехсот тысяч. Женщины, дети, старики, без прописки, без работы, без карточек. Они от голода погибли первыми. Далее. Почему мы не считаем тех, кто умер от дистрофии, когда началась эвакуация по Дороге жизни? Эшелонами вывозили блокадников едва живых, а с поездов на станциях выносили трупы. Тысячи трупов! Вагоны мертвецов! Люди, которые выносили, с ума сходили. Мальчишек и девчонок из ремесленных училищ перестали привлекать, потому что они зверели, бежали записываться в добровольцы, а когда им давали отлуп, сбегали на фронт. Сопливые голодные подростки понимали, что это – сознательное истребление народа, хоть и не знали слова геноцид. А Организация Объединенных Наций не понимает? А мировая общественность не понимает? Истребление турками армян в 1915 году – геноцид. Еврейский холокост – геноцид. А погибшие от голода в Ленинграде – это не геноцид? Нет такого определения в мировой политике про Блокаду Ленинграда. А должно быть! – Новый удар кулаком по столу. – Обязательно быть! Мировая историческая память – это вам не фунт изюма. Это зарубка на черепе последующих поколений. У них в учебниках, – тыкал дедушка пальцем во внучек и других детей, сидящих за столом, – должно быть четко и ясно, черным по белому написано: «Ленинградская блокада – акт фашистского геноцида». Я вам со всей ответственностью говорю: осенью сорок первого года немцы могли прорваться в город, серьезные бои шли только под Синявином. Я разговаривал тогда с военными. Почему фашисты не взяли город? Почему так долго длилась блокада? Ответ очевиден. Гитлер понимал, что вести бои в огромном городе – завязнуть. Окружить его кольцом блокады – как

создать гигантский концлагерь, где заключенныедохнут сами собой, без печей крематориев. Это геноцид в чистом виде. Гитлер не отдавал приказа взять Ленинград. Помяните мое слово. Возможно, когда-нибудь немцы откроют все архивы и вы убедитесь. Это очевидно. Доказывать очевидное надо только в математике. Логика войны по прошествии времени проста.

– Но мы же их потом погнали, – подал голос кто-то из мужчин.

Бама уже давно тихонько подергивала дедушку за полу пиджака: не надо нервничать, как бы опять давление не подскочило.

Дедушка Саша помотал головой, нервно рассмеялся, как человек, который в детском саду вздумал рассказывать о квадратных уравнениях.

– Еще и как погнали, – согласился он. – Союзнички, американцы с англичанами, не ожидали. Да что там! Никто в мире не ожидал, что мы раскачаемся, запрежем и так фашистов погоним – пятки засверкают, искры посыплются, костями своими нашу поруганную землю удобрят. Другое дело, что, затормозив, свою выгоду победителей снять мы не сумели. Но это родовое пятно всех русских воинских побед, начиная с захвата Константинополя Вещим Олегом. Брали Париж, трижды Берлин... Марфа, что ты меня дергаешь! Дай договорить! На чем я остановился? Бывшие союзнички и весь капиталистический мир нас испугались и вынудили, вместо того чтобы улучшать жизненный уровень советского народа, тратиться на вооружение... Марфа?

– В сторону вас сносит, Александр Павлович. Пора уж тост сказать. За что выпьем?

Дедушка встал. Он был хмелен и слегка шатался. Но начальственный взгляд, которым обвел присутствующих, приструнил тех, кто позволял себе междусобойные разговоры во время его предыдущих речей.

– Мы выпьем за память. Не мою, Марфы, наших детей и даже не за память присутствующих здесь наших внуков и прочей детворы. Если вот их внуки, – дедушка, как уже было, указательным пальцем, как стволом пистолета, в каждого ребенка тыкнул, – если их внуки забудут про Блокаду, то пусть будут прокляты!

Повисло молчание.

– Тогда не чокаясь? – робко спросила какая-то женщина.

– Ой! Уж выпьем! – Бама рывком дернула мужа за руку, и он рухнул на стул. – Выпьем, чтоб помнили честные, а бесчестных Бог рассудит!

Дедушка Саша часто высказывал крамольные мысли, идущие вразрез с внутренней и внешней политикой СССР и линией партии.

– Вы удачно прятали свои воззрения в тридцатые годы, – качал

головой дядя Митя, – вас бы посадили лет на двадцать.

– Хочешь сказать, что я тогда трусил, а на старости лет осмелел? Вот и соглашусь! Жить хотелось, а теперь уж мало осталось. Вы меня слушайте, слушайте! Вы такого в газетах не прочитаете, да и не на всякой кухне, где интеллигенция шепчется, услышите.

– Наш домашний диссидент, – ухмылялся дядя Степа.

– Э-э-э, нет! – водил в воздухе указательным пальцем дедушка. – Диссиденты советские как течные сучки: смотрят вожаденно на Запад и задницами крутят. Хвосты подняли и готовы...

– Александр Павлович! – не выдерживала Бама. – Тут дети.

– Если б не дети, я выразился бы конкретнее.

Дедушка говорил, что развал сельского хозяйства как начался в семнадцатом году, так до сих пор продолжается. Страна теряет продовольственную безопасность. Огромная страна с плодородными почвами! До революции русского зерна боялись, мы могли пол земного шара завалить своим дешевым хлебом, а теперь его покупаем на валюту.

– Вы не читаете экономических журналов! – кипятился дедушка. – Не разбираетесь в ежегодных сводках! Там все черным по белому написано, надо только на цифры посмотреть.

Ни дети, ни внуки, действительно, подобными изданиями не интересовались, хотя следили за новинками отечественной и зарубежной прозы в толстых литературных журналах.

Дедушка Саша говорил, что Россия, Украина и Белоруссия кормят тринадцать других республик СССР. Он сыпал цифрами ВВП каждой из республик и ВВП на душу населения. За дедушку радовались – такая память в преклонные годы. И не понимали, почему он так нервничает. Поделить на всех – справедливо, мы же одна страна. И нет разницы: строим заводы, фабрики в Рязани, Орле, в Полтаве или в Самарканде, Душанбе, Кутаиси, Риге.

– Остолопы! – краснел и трясся по-стариковски беспомощно дедушка. – Русский, славянские народы обкрадывают! Предприятия – это рабочие места, прибыль, повышение уровня жизни.

– И то сказать, – перебивала бабушка Марфа, улавливающая только самую суть речей мужа, ничего не понимавшая в его «ВВП на душу населения», боявшаяся его очередного гипертонического криза и желавшая, чтобы он охолонул слегка. – С соседями надо жить, конечно, мирно. Помогать по мере сил, а правильнее сказать – помогать в самую трудную минуту. Потому что доброта и щедрость без крайней нужды, да еще частые, бывают унижительны. На словах-то перед вами рассыплются в

благодарностях, точно нищие на паперти, а в душе затаят. В Сибири испокон веков так было: лишенцев не забудь, кандальникам с этапа хлеба вынеси, а домохозяйство каждая семья должна сама выправлять. Работать, жилы рвать и не оглядываться на добрых людей. Тогда им и честь общества, и самоуважение.

– Вот! – потрясал пальцем в воздухе дедушка Саша. Когда ему не хватало аргументов или захлестывали эмоции, он отчаянно жестикулировал или бил кулаком по столу. – Глас народа! Трезвый и здравый.

– Этот глас, – задумчиво произносил дядя Вася, – сильно отдает великорусским или славянским, если хотите, шовинизмом.

– Мы единая общность. – Маня не выдерживала и встревала в разговор взрослых, что в общем-то запрещалось. – Русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки... в СССР более сотни национальностей – мы новая историческая единая общность – СОВЕТСКИЙ НАРОД! – Последние слова она произносила гордо и пафосно.

– Видите? – Дедушкин палец теперь тыкал в Маню. – Им с пеленок, с детского сада внушают антинаучную ересь. Нельзя создать народ, этнос, нацию на бумаге! Это сродни опытам параноика Лысенко, угробившего нашу генетику, по «воспитанию кукурузы в условиях Крайнего Севера». Переход от феодализма к социализму, минуя прочие стадии, – это я про азиатские республики СССР – бред сивой кобылы. Утописты стоят в сторонке и нервно грызут пальцы. В Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии как были байство, кланы, родоплеменные отношения, так и остались, только ушли в подполье, приспособились, закамуфлировались, присосались к Москве. Марфа! Что там про собаку?

– Как ни вертись собака, а хвост позади.

– Вот именно! Дружба народов – это прекрасно! Цивилизованно, прогрессивно и способствует мирному разрешению конфликтов. Но не будьте вы слепыми котятками!

Пройдет много лет. Таня, Маня и Соня станут бабушками. Советский Союз распадется, и пророчества дедушки Саши, которые они в детстве считали старческим кликушеством, сбудутся. Но даже дедушка Саша с его утомительной мизантропией не мог предсказать, что Россия и Украина станут врагами. И еще Сонетанемане откроется бесполезная мудрость стариков. Ты говоришь: «Дважды два – четыре. Пятью пять – двадцать пять», – а тебе не верят и смотрят на тебя с любовной снисходительностью. Потому что каждому человеку надо самому научиться считать на палочках,

потом складывать числа, потом понять принцип умножения и деления, зазубрить таблицу умножения.

У дедушки Саши в последние годы жизни политкорректность отсутствовала начисто. Он презирал прибалтов, даже ненавидел.

Сонютанюманю тетя Настя и дядя Митя на своей машине неоднократно возили в Эстонию, Литву и Латвию. Это было обалденно! Настоящая Европа!

– Во втором эшелоне осады Ленинграда, – утверждал дедушка Саша, – стояли подразделения латышей и эстонцев. Они расстреливали тех, кто пытался самостоятельно вырваться из блокадного города. Им, фашистским прислужникам, холопам, лизоблюдам, даже вручали грамоты за блокаду Ленинграда. Прячут сейчас, наверное, эти грамоты. Ждут своего часа. Выродившиеся потомки великих предков – вино, превратившееся в уксус. Они еще на нас плеснут кислотой, помяните мое слово.

Таня серьезно опасалась, что дедушка, которому, только спичку поднеси, вспыхивает, по любому поводу несет антисоветчину, плохо кончит.

– Он же и в очереди в магазине политпросвещение устраивает, – говорила она бабушке. – Он таксиста, который нас к дому привез, полчаса терзал опасностями Третьей мировой войны. Деда в тюрьму, конечно, не посадят, но на Пряжку отвезти могут.

На набережной реки Пряжки находилась психиатрическая лечебница. Выражение: «По нему Пряжка плачет» – было понятно каждому ленинградцу.

– Дык что я могу? – всплескивала руками бабушка. – Неугомонный! Раньше-то на заводе кипел, а теперь пенсионер. И все сокрушается. Да не по мелочи, а в политическом масштабе.

– С соседом из сорок пятой квартиры нехорошая история вышла, – скривилась Маня.

Сосед рассказал дедушке анекдот. Украинец поливает цветы маслом. «Остап! Ты чего творишь? Масло для квитков вредное!» – «Для квитков, може, и вредное, а для пулемета полезное».

Дедушка юмора не оценил:

– Ваша фамилия, кажется, Ляшко? Судя по лицу, подобные анекдоты греют вам сердце!

Далее дедушка выдал горячую и страстную речь про зверства и бесчинства бандеровцев на Западной Украине.

Сосед Ляшко теперь ни с кем из их семьи не здоровается.

– Еще меня упрекали, что инородцев не люблю, – говорила Бама. – Я-то тихо да понарошку, а Александр Павлович – шумно и с фактами. Вот дождется, что напишут на него в органы.

– Писать – это идея, – сказала Соня.

– Отличная идея, – согласилась Маня.

– Надо подготовиться, – поняла с полуслова сестер Таня.

Внучки давно выросли и давно не забирались на него, сидящего в кресле, «как мартышки на баобаб», – давно дедушка так притворно не бурчал, устраивая под одной рукой Таню, под второй – Маню, а Соня, конечно, захватывала его плечи, пластаясь на спинке кресла.

– Не дам на газировку! – сказал дедушка. – Сначала дневники покажите.

Танясоняманя, не репетируя, а только обозначив главную идею, умели говорить по очереди пулеметно, подхватывая фразы друг друга, несясь на одной волне, обескураживая и приводя в полнейшее замешательство объект словесной атаки. «Объектом» чаще всего были молодые люди, юноши, которых девушки ради спортивного интереса лишали почвы под ногами. Дедушка – иная статья. Но метод-то универсален. А идея вообще благородная – не допустить, чтобы любимого дедушку увезли на Пряжку.

Александр Павлович не успевал следить, кто из внучек говорит, ответов от него не требовалось, на него сыпался град писклявых девичьих стенаний.

– Нам не нужно денег.

– Это пошло, когда идет речь о вечных ценностях.

– Мы способны заблуждаться...

– Но мы не поступимся ценностями...

– Которые нам привили ты и Бама.

– Наверное, пора отдавать должное.

– Но, возможно, мы к этому не готовы.

– Как сложно понять других людей...

– Если ты не понял себя самого.

– Остается только один ориентир...

– Маяк, якорь, столб...

– Нравственная основа порядочности.

– Чести, совести...

– Благородства.

– Того по-настоящему ценного, что и есть смысл...

Дедушка не выдержал, решительно стянул Соню, которая отдала

ему плечи, вытащил Таню и Маню из-под мышек. Внучки на корточках усьелись у его колен.

– Вы думаете, я старый дурак? Не надо со мной в ваши игры играть! Тут, – потыкал дедушка в пол, – театров, благодаря Степке, предостаточно было. И я вам не сопливый вьюноша, вступающий в жизнь. Чего вам надо? Чего вы хотите? Честно. Откровенно. Я задаю вопрос, мне на него отвечают. Таня! В чем ваше желание?

– Чтобы ты писал.

– Кому? – невольно растерялся дедушка. – Соня?

– Нам и нашим потомкам. У нас ведь тоже будут дети... наверное, когда-то.

– Маня, что они несут?

На Маню всегда сваливалось самое ответственное, неприятное и сложное. Считалось, что она никогда не лукавит.

– Мы хотим, мы просим тебя писать, – проговорила Маня, вытянув шею, будто подчеркивая свою искренность.

– Кому? – снова спросил дедушка.

– Не кому, а о чем, – нетерпеливо уточнила Таня.

– С самого начала, – подхватила Соня, – с твоего детства в этой... Тверской? Саратовской?.. губернии. Про богомольную бабушку и твою маму, про братьев и сестер, про нравы...

– И возможности разночинцев, кухаркиных детей.

– Про заводы, на которых ты работал.

– Про то, как полюбил бабушку Марфу.

– Про Блокаду правду.

Они говорили и складывали в стопку на его коленях чистые общие тетради в коленкоровом переплете. Три пары глаз смотрели на него снизу вверх с надеждой и верой. В этот момент дедушка забыл, что внучки умеют ловко притворяться. Потому что их порыв соответствовал его чаяниям, его слабой и потому болезненной уверенности в способности быть полезным.

– Книга, мемуары? – разволновался дедушка. И задал самый нелепый из вопросов: – Как ее назвать?

– Пережитое.

– Вся правда.

– Как это было.

– Без прикрас.

– Воспоминания и размышления, – сказала Таня.

Дедушке явно понравилось название, и он погладил Таню по голове. Соня и Маня мгновенно заревновали.

– Дедушка, вот тут на первой странице, – распахнула перед ним тетрадь Соня, – напиши: посвящается моим внукам...

– И их потомкам, – добавила Маня.

Мемуары вытеснили устную антисоветскую крамолу дедушки. Он теперь, когда не писал, постоянно пребывал в обдумывании следующих глав. Погрузившись в прошлое, заново переживал давние события, вспоминал свои настроения и мысли, во многом ошибочные, как показала жизнь, но дорогие сердцу, а слово «размышления» в названии мемуаров позволяло ему критиковать себя с той степенью снисходительной беспощадности, с которой старики ругают себя молодых.

Он будет писать честно, излагать факты без прикрас, потому что это будет исповедь, а на исповеди не врут. Когда выйдут мемуары Жукова «Воспоминания и размышления», Камышин не станет менять название. Каждый имеет право на личные воспоминания и размышления, будь он маршал или рядовой.

При жизни Камышина его тетрадок никто не читал. Он хотел закончить и уж потом отдать на суд.

Не успеет закончить, умрет. Тихо, ночью, привалившись к плечу Марфы.

Она проснется от того, что исчезло тепло мужа – ее оберег, ее защита, ее постриг и смысл жизни.

Не успев спросонья испугаться, впервые назовет его по имени:

– Александр Павлович, вы что энта? Александр... Саша! Сашенька!

И потом на поминках будет твердить:

– Уж как просил меня! Как просил по имени его величать. А я! Дурная баба! Только холодного правильно назвала.

Про тетрадки попросту забыли, очень переживали за Марфу, враз постаревшую, обессиленную. Ей было за восемьдесят, когда умер девяносточетырехлетний муж. До последних дней он сохранял ясность ума, говорил, что благодаря жене встретит свое столетие, а без Марфы откинул бы коньки сорок лет назад. Преувеличивал, они прожили в браке тридцать три года.

Марфа умерла, не болея, от тоски по мужу и от того, что иссякли силы, не могла уже быть полезной, нянчить правнуков. «От бесполезности преставлюсь», – всегда говорила. Так и случилось спустя два года после смерти Камышина.

После смерти бабушки Марфы тетради с мемуарами начнут путешествие по ленинградским квартирам. Семья будет становиться все больше, квартиры начнут дробиться, многометровые размениваться на меньшие по площади, приобретаться в кооперативах или предоставляться государством. И будет переезжать сундучок бабушки Марфы, пока на долгие годы не осядет на даче, на чердаке.

В 2005 году сундук, забравшись на чердак, обнаружит Наташа Медведева, внучка Ильи, праправнучка Марфы, студентка исторического факультета уже не Ленинградского, а, по несчастной смене имен великого города, Петербургского университета, захлебнется от восторга исследователя, который нашел клад.

Стопки писем, перевязанные бечевкой, в том числе военные треугольники. Шкатулка с младенческими волосиками с примотанными крестиками и записочками: «Крестился Р. Б. Степан», «Крестился Р. Б. Дмитрий»... Пожелтевшие довоенные грамоты: вверху листа профили Ленина и Сталина, обрамленные красными знаменами. Большинство грамот Дмитрия Медведева, прадеда Наташи, – по всем спортивным дисциплинам и за первые места в художественных конкурсах ленинградских школ. (Надо же! Они проводили соревнования юных живописцев!) У Степана Медведева грамот (послевоенных) значительно меньше и все – за победу в конкурсе литературных чтецов (межшкольных, районных, областных, республиканских, всесоюзных). И самое ценное – рукописные мемуары Александра Павловича Камышина: «Воспоминания и размышления». На первой странице в стародавней общей тетради: «Посвящается моим внукам и всем потомкам». Собственно и ей?

Наташа, конечно, слышала про Камышина (отца прабабушки Насти), у легендарной Марфы даже сидела на коленях, чего, конечно, не запомнила. Ей было два или три годика, когда Марфа умерла. Наташа однажды подслушала разговор взрослых, мама рассказывала, как Марфа приготовилась к смерти. У нее на полке в шкафу имелся пакет с приклеенной бумажкой: «Мое смертное». Внутри пакета – деньги, белье, платье и завещание на листочке из ученической тетрадки в линейку: «Что в гроб постелить и что на меня надеть. Только в трусах не похороните!!!» Три восклицательных знака. Чем ей трусы не угодили, никто так и не понял.

Была еще, старики вспоминали, какая-то совсем пра-пра-пра-пра Анфиса, из Сибири, откуда их род, отменное здоровье и долгожительство. Про Анфису старики говорили, что былинная личность, но подробностей не знали.

Наташа прочитала мемуары Камышина и пришла к Насте. Ее и внук, и правнуки звали по имени: «Я вам не бабушка! У меня имя есть!» Ей было восемьдесят три года. К каждому дачному сезону Настя покупала новую шляпку, никогда не забывала повесить на шею бусы и накрасить губы.

– Настя! Оказывается, Марфа родила Митяя, твоего мужа, от свекра! – сообщила Наташа.

– Что за бред!

– А дедушку Степана от самого Камышина!

– Бред в квадрате.

– Он так пишет. Типа, что это секрет, а он, типа, как на исповеди, чистая правда.

– «Типа» – это кто?

– Вводное слово.

– Не оскорбляй память Марфы! Она была праведницей, каких поискать. Хотя мужа...

– Убила в Блокаду! Камышин об этом рассказывает.

– Только благодаря ей Илюша, я, Степка остались живы! Возможно, папа немного... присочинил, выдал желаемое за действительное. Наталья! Запомни, что праведных грешниц не бывает! Либо грешница, либо праведница.

– Ну да! А Марфа и эта сибирская Анфиса – исключения, которые, типа, только подтверждают правило. Все нормально было с головой у твоего отца. Там знаешь какие свидетельства эпох? Мне на две курсовые и на диплом хватит. А то возьму и книгу, роман, по источнику напишу!

– Сначала, типа, напиши, а потом, типа, говори.

* * *

К окончанию школы только Соня не определилась с вузом. Таня бредила медициной, как увлекательные романы читала «Справочник фельдшера» или «Внутренние болезни». В детстве на вопрос: «Во что поиграем?» – Маня и Соня дружно вопили: «Только не в больницу!» Потому что им отчаянно надоело укладывать кукол и плюшевые игрушки в импровизированные кровати, делать им уколы, ставить горчичники и банки, давать лекарства, вставив в уши пластмассовый фонендоскоп, прикладывая его к животам игрушек, пытаясь что-то услышать. Там была мертвая тишина. А Таня с умным видом рассуждала: «Это не одностороннее, а двустороннее воспаление легких». В пять лет она едва не

лишилась скальпа, который пытались сорвать с ее головы сестры за то, что Таня «прооперировала» их кукол, якобы страдающих аппендицитом. В двенадцать лет, когда по даче соседский мальчишка, ко всеобщему ужасу, был уличен в том, что вспарывает лягушек, только Таня не возмущалась и даже отчасти оправдывала живодера: «Ведь это интересно посмотреть, как устроен организм».

Врач, конечно, хорошая профессия – почетная и так далее. Но всю жизнь иметь дело с больными – кашляющими, поносящими, кричащими от боли? Жуть!

– Это жуть интересно, – говорила Таня. – Человеческий организм – совершенное творение. Когда в нем что-то ломается, а ты чинишь, то приближаешься к могуществу Создателя.

– Бога, что ли? – усмехалась Соня.

– Природы, недоросль. И потом желание лечить – это как зуд...

– Неизлечимый? – хмыкала Маня. – Настоящий зуд – это математика.

Маня называла математику царицей наук, прикладная власть которой захватит в ближайшем будущем всю планету. В старших классах школы Маня с ее математическими факультативами и кружками далеко оторвалась от сестер, так-сяк тянувших алгебру и геометрию методом списывания у Мани. Соня и Таня, конечно, признавали, что Маня очень-очень-очень умная. Но ее увлечение труднейшей из наук скучное до зевоты.

Соню, не отличавшуюся ни умом Мани, ни красотой Тани, вечно метало и мотало, затягивало в истории, подчас анекдотические. И с выбором вуза так произошло.

То она хотела идти в Текстильный институт, ласково называемый ленинградцами «Тряпочка» (но там было слишком много девиц), то ей взбренило поступать в Горный (одни мальчишки и поступить легко) – она перебирала питерские вузы, как шулер летние ярмарки, на которых облапошит наивных купцов. Наконец Соне пришло в голову «очевидное»: ее родители – люди театра, значит, и она должна стать артисткой. Соня нацепила маску загадочности и посматривала на одноклассников, с их примитивными желаниями поступить в обычные вузы, свысока.

При случае могла устало вернуть:

– Моя семья как люди театра...

– Ага, – сбивала пафос Маня, – бабушка у нас народная артистка, прима на пенсии.

– А дедушка? – подхватывала Таня. – В каком амплуа на сцене блистал? Герой-любовник или резонер-моралист?

– Вы скучные примитивные обыватели! Медицина, математика! Как

это далеко от подлинного искусства! – закатывала глаза Соня.

Ей было понятно, что не выдержит колоссальный конкурс в театральный институт. Если поступать на общих основаниях.

Соня позвонила папе:

– Приезжай, пожалуйста! Ты и Тамара Николаевна мне сейчас очень нужны!

– Что случилось?

– Я не могу говорить об этом по телефону. Папочка, приезжай! Я без тебя погибну!

– Ты... беременна? – У Степана вырвался самый жуткий из родительских страхов.

– Папочка, – оставила Соня вопрос без ответа и расплакалась, – ты же мне отец, отец...

– Дай трубку бабушке!

– Нет, она не поможет, только ты! – давилась слезами Соня. – Прости, я не могу больше говорить, – и положила трубку.

Степан купился. Тамара Николаевна с невероятным трудом, из обкомовской брони, достала билеты на ближайший рейс в Ленинград.

На Степана навалилась тяжесть отцовского долга, который он исполнял из рук вон плохо, за что теперь расплачивается Соня. Всю дорогу он твердил, перевирая, Грибоедовское: «Что за ответственность, Создатель, быть взрослой дочери отцом». Степан так накрутил себя, что как на пожар подгонял водителя такси, везшего их из аэропорта на Петроградскую. Вбежал на третий этаж, давил на кнопку звонка, не убирая палец, смел с пути открывшую дверь Таню, влетел в гостиную. Где мирно обедали дедушка с бабушкой и внучки.

– Дочь! – распахнул объятия Степан.

– Папочка! – бросилась ему на грудь Соня.

За спиной Степана маячила Тамара Николаевна. Таня протиснулась и заняла свое место за столом, присоединившись к группе ошарашенных зрителей.

– Какой срок? – обнимая дочь, целуя в макушку, спрашивал Степан.

– Три месяца.

Соня имела в виду, что до экзаменов осталось всего лишь три месяца.

– Кто он? Я его – в клочья! Сейчас же, за шкуру притащу сюда, он будет ползать перед тобой на коленях, умолять выйти за него замуж. Или все-таки аборт? Тамара Николаевна найдет хорошего врача. Портить себе жизнь...

– Волны бились *а борт* корабля, – хихикнула Маня, до которой первой

дошла комедийность ситуации. – Все в порядке, – ответила она дедушке, который дергал ее за руку: что происходит? – Нормальный сумасшедший дом. Бабушка, дядя Степа думает, что Соня на сносях, в подоле принесет.

– Как же! Завтра и родит, – несколько не испугалась бабушка. – А этот, чумной! Влетел, не разувши, не раздевши...

Как всегда в минуты волнения, у бабушки проклевывался сибирский говор.

Давящиеся от смеха внучки подхватили:

– Не поздоровавши...

– Не поклонивши...

– Как говорится, – хохотнул дедушка, – наши внуки отомстят нашим детям.

Пока публика обменивалась репликами, отец и дочь прояснили недоразумение. У них вообще было две краски общения: пылкая любовь или клокочущая ссора.

– Мы неслись сюда! На коленях билеты вымаливали! – негодовал отец. – У меня премьера вот-вот, у Тамары ответственная работа! А ты не беременная!

– Извини! У меня вообще много недостатков!

Когда стараниями бабушки гости поздоровались как следует, сняли верхнюю одежду, переобулись в домашние тапки, вымыли руки и уселись за стол, казалось, наступил мир. Однако не тут-то было.

Выпив рюмку материнской настойки из графинчика, прихлебывая ею же сваренные щи, Степан сказал дочери:

– Из тебя не выйдет настоящей актрисы! Кривляние и жеманничанье – это не талант. Будешь прозябать на «Кушать подано», с задворков сцены смотреть в спину главным героиням. Судьба хоть и типичная, но бездарная, печальная, пустоцветная. Тебе это надо?

– А что мне надо? – с вызовом, обидевшись, спросила Соня.

– Ты должна сама решить, – пожал плечами отец.

– Не всем везет к семнадцати годам понять свою профессиональную расположенность, а кому-то его предназначение открывается ближе к пенсии, – подала голос мудрая мачеха Тамара Николаевна.

Она частенько становилась на линию огня между отцом и дочерью.

– Надо выбирать занятие, которое тебе нравится. – Степан протянул тарелку матери за добавкой.

Соня на несколько секунд задумалась и нашла только одно занятие, которое ей было по душе:

– Мне нравится шить наряды.

– Ну и шей, – благодушно напутствовал папа.

Степан искренне считал, что не стоит тратить жизнь в угоду карьере, погоне за деньгами; корочки о высшем образовании – никчемные бумажки, ради которых пять лет просиживать штаны – глупость, бесцельная трата золотых лет.

Соня оценивала перспективы совершенно иначе:

– Таня и Маня – в институты? А меня ты хочешь затолкнуть в ПТУ?

– Соня! – хором одернули ее сестры.

Тамара Николаевна удивилась тому, что лица присутствующих, минуту назад веселые и беззаботные, вдруг стали хмурыми и суровыми.

Дело было в бабушкином воспитании. Свою педагогическую задачу она видела в привитии девочкам «правильных правил». Коих было несколько десятков, большинство – крестьянских, дремучих, по причине архаичности отброшенных. Но были и установки, которые так крепко вошли в сознание, что уже казались культурными моральными эталонами, а не бабушкиными внушениями.

Например, за столом, во время еды нельзя ссориться, говорить колкости, выяснять отношения. Культурной женщине запрещается говорить под руку принимающему пищу мужику, портить ему аппетит. Если мужик, пережевывая вместе с котлетами упреки, запустит в бабу тарелку, то он будет совершенно прав.

Тамара Николаевна местного политеса не ведала и недоуменно посмотрела на Марфу, которая была в семье дирижером. Этот руководитель оркестра давно не становился к пюпитру, не брал в руки палочку, но на него оглядывались, проверяя свою игру.

– После чая про институты поговорите, – сказала Марфа. – Соня, иди на кухню, разогрей отцу рыбу с картошкой. И капусты квашеной положи, он любит.

Отец с дочерью заново схлестнулись, когда чайную посуду еще не убрали со стола. Два злых, любящих друг друга человека: отец гневался на дочь за то, что напустила панику, сорвала его с места; дочь оскорбилась наветами и нежеланием отца протолкнуть ее в артистки. Перешло на личности: Соня, по словам отца, всегда была без царя в голове и даже без намек на цесаревича; отец, разорялась Соня, никогда ради нее пальцем не пошевелил и теперь, когда судьба дочери решается, не хочет мизинчиком двинуть.

Тамара Николаевна вышла на передовую:

– Если у Сонечки пока нет четкого представления о своем будущем, то, возможно, следует выбрать перспективную специальность, например

экономическую.

– Бухгалтера? – уточнила Маня.

– С черными нарукавниками? На счетах щелкать? – скривилась Таня.

Соня от возмущения задохнулась.

Тамара Николаевна примирительно подняла руки:

– Тогда некая специальность, предполагающая общекультурное развитие. Главный бухгалтер, кстати, опорная, стрележневая личность любого предприятия и учреждения. Но в бухгалтеры мы не хотим. А, скажем, в искусствоведы?

– Обалдеть! – восхитилась Таня.

– Сонька искусствовед! – захлопнула ладошками рот Маня.

– Попрошу! – вскочила Соня и прошла с гордым видом. – Известный искусствовед Софья Медведева.

– Так уж и известный! – расхохотался отец. – Что ты понимаешь в искусстве?

– Мне пока понимать не положено, я только собираюсь учиться. Представляете, как обалденно звучит: «Ты где учишься?» – «На искусствоведческом». Это не то что Таня – пять лет трупы в морге кромсать. Или Маня – уравнение на уравнении уравнением погоняет. Но Тamarочка Николаевна! – Минуту назад Соня смотрела на мачеху волком, а теперь беспардонно лебезила. – Там, наверное, конкурс, а у меня аттестат будет не очень, и вообще со знаниями...

– Попробуем задействовать связи, – скромно улыбнулась Тамара Николаевна.

Маня поступила легко и честно на матмех Ленинградского университета, Соню протолкнули по блату в Институт культуры. Таня провалилась в медицинский институт, не добрала двух баллов. Это было жутко несправедливо. Потому что Маня пришлась бы ко двору в любой области, где нужен математический выверт мозгов, Соне требовался внешний блеск. И только Таня с пеленок имела мечту, желание и дар лечить людей.

Несправедливость признавала и бабушка Нюраня, говорила по телефону:

– По всей стране дикие конкурсы в медицинские вузы, откуда тогда орды бездарных врачей?

Бабушка Нюраня еще раньше предлагала Татьянке приехать в Курск, поступать в тамошний медицинский, где она обеспечит подстраховку: бревно не пропустят, но и перспективную абитуриентку не срежут.

Но это нелепость! Все так и прут в Ленинград. А Татьяна – в провинцию?

Теперь же о всякой гордости и чванстве придется забыть – надо идти санитаркой в больницу, зарабатывать стаж. За год мытья полов и суден-уток с испражнениями, как справедливо замечала Маня, сестра забудет школьную программу и через год на экзаменах пролетит с визгом. Значит, еще один год с тряпками и ведрами. Потому что стажники, идущие по особому конкурсу, должны отработать не менее двух лет на предприятии. Как и ребята, отслужившие армию. Они поступали в вузы, сдав экзамены только без двоек.

Мане и Соне было искренне жаль сестру, которая сквозь слезы говорила:

– Это как будто я очень-очень долго ждала поезд, сказочный, волшебный, который увезет меня к мечте. Пока он будет ехать, стучать по рельсам, я увижу в окно много увлекательного. И вот этот поезд был, я пыталась влезть в вагон, но меня не пустили, вытолкнули. Грубо, с лязгом захлопнули перед носом дверь. Поезд тронулся, в нем сидят счастливчики, носами прилипли к окнам. А я стою на перроне, мелькают вагоны... И вот уже хвост поезда, и дымок над паровозом...

– Паровозов давно нет, – вытирала под носом слезы-сопли Маня. – Электровазы. Над ними никакого дымка быть не может. Это укатил состав блатных бездарей!

– Надо было со мной на факультет мировой культуры! – хлюпала Соня. – Тамара Николаевна и двоих бы протолкнула. Она моего папу боготворит.

Танин провал выплакали дружно и честно. Но до принятия решений еще оставалась уйма времени – хвостик июля и весь август. Свобода! Хорошо бы рвануть в Прибалтику, или в Гагры, или в Крым. Они трое! Сногсшибательно красивые, модно одетые, с интеллигентным флером ленинградок – это вам не московские девицы, от которых несет мещанством.

Вопрос денег и отпустит ли Бама. Деньги можно выклянчить у дяди Мити, который в теплое время года бесконечно достраивает дачу и вместе с тетей Настей готов предоставить им любой кредит. А также вариант – подвалить к дедушке Саше. На три голоса изобразить, как они измучились на вступительных экзаменах, а Тане особенно требуется отдохновение перед ужасной перспективой идти работать санитаркой в занюханную городскую больницу. Они знали наперед: дедушка буркнет, мол,

подорожала нынче газировка, и выложит деньги. Но только если Бама одобрит.

Их бабушка! Просто кол, к которому они привязаны! На коротком поводке. И Баму нельзя разжалобить, задурить, мороком окутать. У Бамы вековые принципы, установки: что положено девушкам, а что запрещено.

Марфа не собиралась устраивать инспекторских проверок в ленинградской квартире. Подвернулась оказия: соседи на личном автомобиле ехали в город, а у Камышина закончилось лекарство от давления. Плюс еще всякие мелочи, которые купишь только в городе.

Она вошла в свою квартиру (Таня, Соня, Маня как по струнке в коридоре выстроились), потянула носом:

– Табачищем воняет. Опять тут всю ночь гулеванили?

Марфа прошлась по комнатам. Хорошо, что приехала в обед, внучки успели порядок навести, пустые бутылки и пепельницы вынести. Форточки все открыты, пол влажный, только вымытый.

– Бама! Ну что ты рыскаешь, как ищейка?

– Да! У нас были друзья, мы... ужинали, танцевали...

– Среди наших одноклассников тоже есть кто, как Таня, не поступил...

– Мальчикам теперь в армию...

– В отличие от Тани...

– И еще были новые, из абитуриентов, с кем познакомились, искусствоведы...

– Математики... будущие...

– Не морочьте мне голову! – опустилась в кресло Марфа. – Что порушили, разбили, изничтожили?

Соня и Маня с двух сторон ударили Таню в бока: говори!

– Э-э-э... Ваза... хрустальная, сине-белая, из Германии. Мама ее тебе подарила на юбилей...

– Мы просто достали показать.

– Похвастаться.

– Один мальчик нечаянно задел.

– Ваза вдребезги.

– Вообще-то она была пошлой...

– Ну-ну, – не поверила Марфа, – похвастаться, мальчик нечаянно задел.

Дело было нечисто, но Марфе в голову не могло прийти, что ночью в ее квартире во время диких плясок злополучную вазу молодежь станет по

очереди водружать на голову (проверяя равновесие после выпитого), пока у одного мальчика ваза не слетит с макушки, упадет и рассыплется синими белыми кристаллами.

Раздался длинный телефонный звонок. Местные вызовы были короткой пульсации, междугородные звонки тянулись призывно долго.

– Зуб даю, – подскочила к аппарату Соня, – опять этот сумасшедший. Клад! Клад! – загробным голосом прорычала она. – Приезжайте срочно! – Сняла трубку и проговорила тоненько: – Аллё!.. Он, он! – беззвучно шевеля губами, сообщила. – Медведевы? Ах, батенька, конечно, в определенном смысле Медведевы, но в квартире проживают также Камышины... Я вам не морочу голову! Дяденька, не ругайтесь!.. У нас есть нормальные. А вы, простите, давно от психиатра, товарищ Максим Майданцев?

Марфа ахнула, всплеснула руками, подошла к внучке и забрала трубку:

– Кто это?.. Максимка? Майданцев? Я Марфа, помнишь?.. Да, конечно... ну, извини... Это внучки... Нет, Нюранина только одна. Хорошо все у Нюрани, работает. Сам-то как?.. Время кончается, три минуты? Максимка, громче, не шепчи... Кто услышит?.. Царица небесная!.. Поняла, все поняла!.. Приедем... Телеграммой, поняла... А как?.. Разъединили... – Марфа отстранила трубку от уха и показала ее внучкам. – Разъединили, ироды.

Положила трубку на рычажки, подошла к дивану, села, уставилась на противоположную стенку. Молчит и точно в трансе пребывает.

Внучки, как в детстве, примостились к Баме: Таня под одну руку, Соня под другую, Маня, коленки бабушки раздвигая, ужиком скручивается. Что происходит?

– Свершилось! – наконец говорит Бама. – Анфиса Ивановна, ваша воля, вашими молитвами!

– Анфиса Ивановна – это кто? – спросила Соня.

– Кажется, какая-то наша пра-пра из Сибири, – ответила Маня.

– Вроде, моей бабушки Нюрани мама. Так, Бама? – спросила Таня.

– «Кажется» да «вроде», – покачала головой Бама. – Мой грех, корней своих не ведаете. Дык кто бы интересовался! «Куба, любовь моя»!

Это было лет десять назад, семь или пять... Значительные, нервные события у Марфы спрессовались, утрамбовав каждодневные хлопоты. Внучки в третьем или в четвертом классе. Выступление на школьном концерте. Внучки – «барбудос» – кубинские революционеры. Им позарез требуются брюки цвета «хаки» (грязно-рыжий), клетчатые рубахи и, самое главное, коричневые береты, при надевании лихо спущенные на одно ухо.

В таком и только таком виде они должны петь со сцены «Куба, любовь моя». Все жилы из бабушки вытянули, но она им справила-таки наряд «барбудос». Марьяна потом говорила, что в переводе с испанского «барбудос» – значит «бородачи», от «барба» – «борода». Марфа тогда перекрестилась: хоть бороды эти чумовые девки не нацепили.

– Кака Куба, когда ваше происхождение за Уралом? – спросила Бама внучек, которые давно забыли про «барбудос». – Сибирь – любовь моя! Вот какие песни следовало петь! И то в оправдание: в Погорелове ни с кем переписки не поддерживаю. Катя, сестра Параси, уехала аж в Узбекистан, куда ее дети подались, внуков нянчит. Парася – мать Василия и Егорки, моя задушевная любимая сестричка...

– Бама, ты плачешь? Бама, ты никогда не плачешь, – испугалась Соня.

– Бама, мы сейчас с твоей помощью нарисуем генеалогическое дерево и всех своих предков выучим наизусть! – пообещала Маня.

– Бама, выпей валерьянки! – уговаривала Таня. – Хоть раз в жизни!

– Дык разве я плачу? – вытерла щеки бабушка. – А от радости и не зазорно. Значит-ца Анфиса Ивановна... Моя свекровь. Такая женщина! Скольких в жизни встречала, а никто близко не приблизится. Ума – палата. Маня, где там твоя математика, хотя, по сути, Василий да ты – от Анфисы Ивановны гренов получили.

– Генов, – поправила Маня. – Неважно, рассказывай дальше. Тебя свекровь любила?

– Она никого не любила. Но в то же время как бы и всех... Я ее страшно боялась.

– ТЫ? – хором не поверили внучки. – БОЯЛАСЬ?

– До дрожи, – кивнула Бама. – Потом уж никого не боялась, потому что никто сровница с Анфисой Ивановной не мог. Как вам, внученьки, передать ее образ? Не способна я. Да и главное сейчас другое. Время было смутное, год двадцать восьмой или двадцать девятый, раскулачивание, коллективизация. Анфиса Ивановна – хозяйка крепкая, единоличная, как помещица, она бы ни в какие коммуны не пошла под страхом смерти, под проклятия своего любимого сына Степана... Его она любила... да... неистово. Потому и ругались они бешено. Степан тоже... Второго такого настоящего коммуниста, доброго, сильного, справедливого... Да что уж теперь вспоминать. Степан и Парася – родители Васятки, Егора и Аннушки, ныне матери Елены. Анфиса Ивановна в революцию, колчаковщину и прочую смуту добро сохранила, спрятала, уберегла. А потом сумела обратить его в золото и серебро. Во что-то маленьких

размеров, так мы с Парасей понимали. И зарыла клад. Про него все знали, кто в нашем семействе пребывал: свекор Еремей Николаевич, работники Федот и Аким, сыны Анфисы Петр и Степан, мы, их жены, Нюраня, тогда девушка молодая, доктор Василий Кузьмич. Раскулачивать Медведевых лично Данилка Сорока явился – змий, вечные ему муки в аду! Анфиса Ивановна на крыльцо вышла и сказала людям в том смысле, что если они в душе рабы, то с ними как с рабами и обходиться будут. Потом она дом подожгла и сама сгорела. Но клад так и не нашли. И уж мы думали, что и не было никакого клада, насочиняли. А вот теперь! Максим Майданцев, который с Нюраней... – Бама запнулась, посмотрела на внучек как на несмышленишек, которым еще рано про взрослые чувства рассказывать.

– Бама, – лбом в плечо боднула ее Таня, – колись. У бабушки Нюрани с Максимом Майданцевым была любовь?

– Была. Така любовь, что грязными руками и языками – не трожь! От такой любви песни появляются. Чистая, безысходная, взаимная.

– А моя мама случайно...

– Нет! – отрезала Бама. – Твоя мама Клара – от законного мужа Нюрани Емельяна. Радуйся, что сибирская кровь пересилила кровь этого предателя.

– Что же с кладом? – спросила Маня.

– Он раскопался, нашелся? – не терпелось Соне.

– Максим Майданцев случайно раскопал, – кивнула Бама. – Говорит – сундук. Максимке-то Нюраня тогда еще про мамин клад рассказала. Максимка человек порядочный, хочет сундук законным наследникам передать. Стало быть, вам.

Неделю назад, когда выяснилось, что никто из мужчин на юг внучек сопровождать не может, бабушка – «через мой труп» – уперлась. И на хитрый прием, мол, это нужно Тане – сменить обстановку, пережить провал, подготовиться к грядущим испытаниям, – Бама заявила: «Тогда я поеду с вами, коль нестерпимо».

Хорошенькая перспектива! Бабушка, которая терпеть не может путешествий, которая признает единственный маршрут – на дачу, и готовится к весеннему переезду за полгода, упаковывая бесчисленные коробки-сумки-банки-сундуки. Бабушка, у которой на даче выводок своих и чужих внуков, на плите готовится еда для эскадрона гусар летучих и гусар на постое, варится варенье, сушатся грибы, стирается белье, подходит тесто, требуют подвязки помидоры и прополки укроп. Бабушка все бросает и едет с ними на юг! С вечным беспокойством о самочувствии дедушки, с

временно-перманентными тревогами о чьих-то родах, здоровье младенцев и наличии молока у рожениц. Будет сидеть в углу и по часам отмерять их пребывание на пляже или возвращение с дискотеки. Спасибо, не надо!

Та же самая бабушка, любимая невыносимая Бама, легко послала их к черту на кулички. Оплатила билеты на самолет до Омска, дала денег на обратные билеты и еще каждой «на расходы» по пятьдесят рублей. Невиданная щедрость.

Сибирь, конечно, не Гагры и не Юрмала, но есть свои плюсы – остров сокровищ, клад прабабки, прочие экзотические детали, о которых потом станут рассказывать приятелям, привирая самую малость.

В омском аэропорту их встречал Иван Майданцев, недавно вернувшийся из армии, отслуживший срочную службу внук Максима Майданцева. Узнать ленинградских барышень было просто: три девушки в мини-юбках из замшевых клинышков, в легких маечках, на ногах босоножки на платформе. На них оглядываются – им привычно быть в центре внимания, стоят привольно, над чем-то посмеиваются.

– Здравствуйте! Кажется, я за вами? По телеграмме: вылетают Таня, Соня, Маня. Это вы?

– Это мы, – подтвердила Маня.

– Но у вас-то тоже, наверное, имеется имя? – смерила его с головы до ног Соня.

– Иван Майданцев. Пройдемте к машине.

Он был коротко стрижен – фу! Все молодые люди, заслуживающие внимания, носили волосы до плеч. Конечно, не в джинсах. Откуда в этой глухомани фирменные джинсы? Но в пестрой сатиновой рубашке с длинными рукавами и вполне по моде разлапистым воротником, уголки которого спускались на грудь. Бама говорила: «Куда жизнь катится, когда парни, точно девки-переростки, в набивных рубахах, огурцами орнамент?» Бама ничего не понимала в современной моде.

– Позвольте? – Иван закинул на плечо сумку Тани и взял чемоданчики у Мани и Сони.

Он шел первым, девушки за ним. Они оценили рост пейзажника (высокая Таня на каблуках ему до уха), прекрасную фигуру – широкие плечи, тонкую талию, длинные ноги, сильные руки.

Если общаться по отдельности с каждой из сестер, то они производили впечатление скромных, воспитанных, интеллигентных девушек. Стоило им собраться вместе, запускалась цепная реакция, просыпался коллективный чертик, который на три голоса издевательски кокетничал, вгоняя жертв –

молодых людей – в холодный пот. Ни у кого из девушек не было постоянного кавалера. Кавалеры не выдерживали перекрестных атак.

Теперь у чертика было два голоса – Мани и Сони, Таня почему-то помалкивала.

- О! *Иванн*, – манерно, в нос, пропела Маня. – Какое редкое имя.
- Первый Иван, которого мы видим, – подхватила Соня.
- *Ивановичей* пруд пруди...
- Среди старшего поколения.
- В основном пенсионеров.
- А настоящий живой *Иванн* – такая уникальность.
- Сохранилась только в глубине сибирских лесов.
- Как и медведи. Иван, у вас есть медведи?
- Встречаются.

Он держался очень хорошо. Как будто подколки столичных фифнисколько его не трогают. И только легкая застывшая улыбка могла свидетельствовать о внутреннем волнении. Но также и намекать о скрытой насмешке.

Подошли к машине – старенькому военному «газику», который Иван починил своими руками.

– Ретроавто, – оценила Соня. – Антиквариат на колесах, почти не ржавый. Соня, как называется машина без крыши?

- Кабриолет.
- Романтично! Иван, а на медведя вы на этом кабриолете охотитесь?
- Чаще пешком, с рогатиной.

– Вашу девушку зовут Рогатина? – спросила Маня, устраиваясь на заднем сиденье рядом с Таней. – Однако затейливо в Сибири с именами.

Соня заняла место рядом с водителем и продолжила его донимать, развивая тему имен:

– Во все времена мужчины сходили с ума от средств передвижения, сначала живых, то бишь лошадей и прочих коней, потом механических – мотоциклов, автомобилей, паровозов, самолетов. И давали им ласковые имена. Помните Антилопу Гну? Это из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Вы читали?

– Кино смотрел. Мы как *рогатинами* прогоним медведей от села, так идем в клуб кино смотреть.

– Удивительно насыщенная культурная жизнь, – похвалила Маня. – Наверное, комедии предпочитаете?

- Точно. У нас в Сибири жизнь – обхохочешься.
- Завидуем, – притворно вздохнула Маня. – В Ленинграде, увы, не так

весело. Беспокоят превратности бытия, непостижимость чувств.

– Например, любовь, – вступила Соня. – Я не очень вас шокирую, если скажу, что молодая пара целуется всю ночь напролет?

– Не очень. Что-то такое я предполагал.

– Вот они целуются, целуются и прочее. А утром встают, идут в ванную, и если кто-то нечаянно возьмет чужую зубную щетку, то второй страшно злится. Казалось бы, они микробами и бактериями обменялись целиком и полностью. Чего уж из-за щетки ссориться?

Вообще-то пассаж про поцелуи, бактерии и зубные щетки Таня придумала. Но сейчас она по-прежнему сидела молча, глядела в сторону, не участвуя в атаках на Ивана.

– Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой, – сказал он. – Достоевский, «Братья Карамазовы». Не читали?

Крепкий им попался орешек. Сибирской закалки. Бама предупреждала: «Вы там не шибко перья распускайте. Не таким павлинкам в Сибири хвосты выдирали».

Если бы Ивану не приходилось держать удар, если бы Маня и Соня утихомирились и не донимали его язвительным кокетством, если бы он не расхохотался над очередной колкостью, а Соня в этот момент не запищала: «Тут кто-то по моим ногам ползающий кусается!» – Иван не отвлекся бы, смеясь, повернув голову, пытаясь увидеть этого ползающего, невольно не крутанул бы руль.

«Кабриолет» вильнул в придорожную канаву с какой-то радостью, точно конь, которому надоело, что всадник небрежен. «Кабриолет» несколько метров мчался по наклонной. Иван гасил скорость и пытался вывернуть руль. Конь обиделся, шлепнулся на бок, скинул непрошенных седоков. Никто не успел закричать. Девушек выбросило из машины в невысокий подлесок, и они заверещали, уже приземлившись.

Первой заткнулась Таня, вскочила, бросилась к сестрам:

– Живы? Что болит, где болит?

Беглого осмотра хватило, чтобы понять: отделались ушибами и ссадинами. Таня похромала к машине. Иван свалился между рулем и дверцей, признаков жизни не подавал.

Таня присела на корточки.

– Ваня! Ванечка! – тронула его за плечо.

Он дернулся, очнулся, посмотрел на Таню, не узнавая. Бровь Ивана была рассечена, из нее обильно текла кровь, заливая лицо. Выглядело жутко, но взгляд Ивана стал осмысленным:

- Как другие... девочки?
- В порядке. Тебя надо вытащить.

Таня взяла его левую руку, чтобы завести себе за шею. Иван взвыл от боли.

- Не-е-т! Я сам...

Ему было очень больно, он мычал и пытался выползти. Таня впервые видела боль на грани потери сознания, когда человек мертвецки бледнеет и на лице его, точно конденсат, выступают градины пота. Таня уже поняла, что его левую руку трогать нельзя, она травмирована, а правая, кажется, не пострадала, за нее можно тянуть. Подошедшие Маня и Соня помогли вытащить Ивана из машины и положить на землю.

Послеаварийный шок был бы гораздо сильнее, если бы не комары. Ленинградские дачные комары – просто милые робкие насекомые в сравнении с сибирскими птеродактилями. Они, наверное, мгновенно собрались со всей Омской области, чтобы кусать, пить сладкую девичью кровь, с яростью и остервенением впиваться в голые ноги, руки, шею, лицо.

Только Таня не замечала комаров. Таня была и не совсем Таня: не привычная, домашняя, и не та кукла, что несколько минут назад сидела в машине, безмолвно выражая недовольство обычному в общем-то раздраконииванию парня.

Таня сосредоточенно ощупывала Ивана, бормотала себе под нос, спрашивала.

– Главное, чтобы не пострадал позвоночник. Ноги-руки немеют? Есть непривычные ощущения?

– Есть, – ответил Иван. – Меня еще никогда красивая девушка так не мяла.

– Шутки в сторону! – гаркнула Таня. – Ты ноги чувствуешь? Согни медленно сначала правую, потом левую ногу в колене. Отлично! Головой не шевелить! Хотя если она у тебя свободно вертится, поднимается, то это просто замечательно! Идем дальше. Живот. Тут не больно? А так? Разрыв селезенки, ушиб печени... Какие симптомы? Черт его знает... Нет у него никакого разрыва...

- Доктор, я буду жить? – спросил Иван, пытаясь шутить.

У него дьявольски болели левое плечо и грудь. Но хуже боли был стыд: авария по его недосмотру, чудом не покалечил девушек.

Таня легонько нажала на ребра, Иван подавился стоном.

– Все ясно, трещины или переломы ребер, – сама с собой говорила Таня. – Если бы ребро сломалось и проткнуло легкое, изо рта шла бы

кровавая пена. Маня! Вытри ему лицо! Соня, принеси воды, в машине я видела флягу. Что он у вас лежит с кровавой физиономией.

– У нас лежит? – тихо возмутились, но подчинились сестры.

Непривычная Таня сейчас казалась способной командовать взводом штрафбатников, и никто из бандитов не посмел бы пикнуть.

– Таня, у него из брови все течет и течет, – пожаловалась Маня.

– Ерунда, – отмахнулась Таня, которая в прошлой жизни каждый их порез любовно обрабатывала и бинтовала. – Приложи платок, надави. Будет хорошенький фингал... это не смертельно. Переломы ребер – не смертельно...

– Доктор, я буду жить? – повторил вопрос Иван.

– Долго и счастливо, – ответила Таня, – только...

Она уже стояла на ногах и задумчиво смотрела на пациента. Полный вывих левого плеча. Если быстро не вправить, вывих может перейти в привычный, что гарантирует не такую уж счастливую жизнь. Она, конечно, никогда не вправляла вывихов и даже не видела, как это делается, но много читала про эту манипуляцию.

– Будем вправлять, – решила Таня. – Маня, брось ты эту царапину, садись ему на ноги. Соня, навались ему на правую руку. Стоп! Надо снять с него рубаху, иначе мне не видно. Рубаху свернуть, валиком под шею. Заняли позиции!

Таня сбросила босоножки, села на землю рядом с Иваном, аккуратно завела ему свою пятку под мышку и двумя руками взяла его за больную руку.

– Чуть-чуть пощиплет, – предупредила она Ивана.

Не говорить же, что в условиях больницы плечо вправляют с анестезией. Крепкий сибиряк, выдержит. Тем более что вариантов нет. А то, что она окончательно изуродует Ивану руку, сейчас во внимание не принимается.

То ли Иван притерпелся к боли, то ли вид голых девичьих ног, оплетших его, был настолько поразительным, что Иван захлопал глазами. Нарочно не придумаешь: куда ни поверни голову – задранные юбки, раздвинутые ноги, ластовицы трусиков...

А потом ему стало не до чудных картин.

– Все готовы. И-и! Ра-аз! – скомандовала себе Таня.

Дернула и крутанула его руку, свет погас и одновременно распался на тысячи искр.

– Ма-а-ать! – заорал Иван, дернулся, сбросив Соню и Маню.

Следующий кадр после фейерверка перед глазами: Таня в каком-то

папуасском танце. Прыгает на месте, выбрасывает руки вверх:

– Мать, мать, мамочка! У меня получилось! Ура! Ура! Ура! Как я боялась! Мамочки, как я боялась! И у меня получилось! Сейчас опишусь. Мне надо в кусты. Больной! Не шевелиться! Еще повязку наложить. Девочки, что вы валяетесь неживописно вокруг пациента? Если он вздумает шевелиться, разбейте ему вторую бровь. Я – мигом.

И поскакала в кусты.

Для Сони и Мани это была привычная Таня, которую время от времени посещали приступы лихого веселья. Она щипала, щекотала сестер, вынуждая пуститься в догонялки, в забег по квартире, в кружение вокруг стола в гостиной, в борьбу и потасовку с визгами и воплями. Бама говорила: «Некуда инергию девать. По старому времени – замуж созрели, а по нынешнему им еще образование получать».

Таня вернулась из кустиков с вытаращенными глазами:

– Тут такие комары! Вы заметили? Это какие-то сумасшедшие доноры!

– Доноры как раз мы, – уточнила Маня. – А куда они носят нашу кровь? Медведям?

Деловая Таня снова взяла командование, но уже без волевой суровости, которая была, как поняли сестры, подавленной паникой. Травмированный сустав Ивана надо жестко зафиксировать, обездвижить, чтобы ткани и сухожилия могли срастаться без лишних нагрузок. Бинтов у нас нет. Что может послужить повязками? Открывает багаж. Комбинашки сойдут. Режем их на полосы. Чем режим? Маникюрными ножничками. Рвем руками, зубами. Что вы такие бестолковые? Как будто в первый раз новенькие комбинашки кромсаете.

Боль в плече утихала, хотя дышать по-прежнему получалось у Ивана только мелко. Глубоко втянул воздух – в груди тупой удар. Все удары можно перетерпеть, наблюдая, как девушки, отмахиваясь от комаров, рвут свое нежно-воздушное кружевное белье.

– Можно мою рубаху использовать, – подал голос Иван.

– Что ж ты раньше молчал? – спросила Маня. – Изверг!

Таня и Соня подхватили:

– Шоб ты язвило!

– Шоб ты чебурахнулся и не поднялся!

– Родимец тебя расшиби!

– Ветрогон.

– Кандальник.

Девушки обзывали его безгневно. Как если бы играли в игру «Назови деревья». Дуб, осина, сосна, липа...

– Переселенец! – окончательно пригвоздила Таня. – Рубахе своей скажи «Прощай!». Мы ее тоже порежем, ребра твои перебинтуем. Станет чуть легче, но не особо. Будешь пару недель дышать как испуганный суслик. Медленно садишься, начинаем тебя пеленать.

– Откуда вы знаете... можете ругаться по-нашему?

– Ваши комары кусали наших предков, – ответила Таня.

– Как же они соскучились! – хлопнула себя по шее Соня.

– Кстати, вы знаете, кто такой «ветрогон»? – спросил Иван.

– Ой, только сейчас догадалась, – скорчила смешно-извинительную рожицу Таня. – Девочки, ветрами называют кишечные газы. Лекарство, соответственно, ветрогонное. Ваня, за ветрогона извини!

– Пардон!

– Ви а сори!

За все время по дороге не проехало ни одной машины. А тут, как по заказу, остановился грузовик, выскочил водитель:

– Раненые есть?

– Да! – хором ответили девушки.

– Нет! – сказал Иван. – Поможешь машину вытащить?

«Кабриолет» общими усилиями перевернули, а потом на тросе вытащили на дорогу. Мотор завелся с первого оборота – знай нашу военную технику!

Таня настаивала на поездке в больницу или поликлинику, где Ивану сделают рентген. Он говорил, что с ним все в порядке, и рвался за руль, девушки стали стеной: ты не поведешь машину, ты травмирован.

– А кто поведет? – спросил Иван Таню.

– Э-э... Маня! Она отлично знает устройство двигателя внутреннего сгорания.

– Для вождения – это самое главное, – усмехнулся Иван.

– Тогда Соня. Она всегда мечтала водить автомобиль. Скажи! – потребовала Таня.

– Я, конечно... – Соня заглянула под руль. – Там три педали, а у меня только две ноги.

– Видишь, – улыбался Иван, глядя на Таню. – У нее нет третьей ноги.

– Ребята, я поехал, – попрощался водитель грузовика. – Надо успеть в Омск до закрытия базы. Девки боевые, – подмигнул он Ивану, – справитесь. – Тихо добавил: – Практически нагие, ёшкин кот! Ты еще легко отделался.

Иван вел машину с черепашьей скоростью. Стоило ему прибавить газу,

как сидящая рядом Таня и Маня с Соней с заднего сиденья принимались кудахтать: «Тише! Тише!» Причем Таня твердила, что ему тряска вредна, а Маня с Соней боялись, что они еще раз навернутся. Через час вдали показалось село, Таня спросила, есть ли там больница. Фельдшерско-акушерский пункт. «Поворачиваем!» – скомандовала Таня. Она никак не могла ответить себе на вопрос, почему бросилась вправлять Ивану вывих. Через час, два или три его можно было доставить в больницу, отдать в руки профессионалов. А если бы она навредила? Почему она действовала так, словно он тонул и прыгать в воду следовало не раздумывая?

Фельдшерско-акушерский пункт представлял собой большую избу, в теплых сенях которой, сидя на лавках вдоль стен, ждали приема больные. Таня пронеслась мимо них, за здоровую руку волоча Ивана, – распахнула кабинет фельдшера без стука.

Маня и Соня остались в сенях. Полтора десятка человек смотрели на них молча, недоуменно, словно на диких зверей. Нет, если бы сюда забрели звери, сибиряки бы вели себя иначе – не тарасились бы, а как-то действовали. Соня и Маня присели на свободное место. Тесно прижавшись друг к другу, испытывая непривычную робость.

– Мы из Ленинграда, – зачем-то сообщила Маня.

– По тайге ползли? – хмыкнул какой-то мужик.

– И юбки потеряли? – с укором спросила старая бабка.

– Мы попали в автомобильную аварию! – плаксиво шмыгнула носом Соня.

– Девоньки! Дык хоть прикройтесь! – Сидящая напротив женщина сняла с шеи платок, встряхнула, расправляя, и укрыла им колени.

В кабинете Таня с ходу, не здороваясь, тоже заговорила про случившееся на дороге, но почему-то вместо «авария» выскочило слово «катастрофа».

– Автомобильная катастрофа! Ему, – ткнула пальцем в Ивана, – срочно требуется рентген.

На кушетке лежала беременная женщина. Ойкнув, она натянула на огромный голый живот задранный блузку. Фельдшер стоял тут же, с сантиметром в руках – собирался измерять живот.

Фельдшер – пожилой дядька с пышными хохлятскими усами – пользовался большим авторитетом. У него был громовой голос, и он часто, оглушая, кричал на глупых пациентов. Раз орет, значит, право имеет, а право имеет тот, кто знающий.

– Нету рентгена, – просипел фельдшер.

Он растерялся, чего давно с ним не случалось. Было от чего

растеряться. Девка-дрынношшепина, лохматая, грязная, поцарапанная, полуголая, утыканная комариными укусами, что красными ветряными болячками. Парень с заплывшим синячищем глазом. Грудина у него обмотана цветными тряпками, левая рука и плечо забинтованы какими-то странными кружевами.

– Очень плохо, что у вас нет рентгена! – попеняла Таня. – В двадцатом веке?

– Вы врач? – спросил фельдшер.

Таня благоразумно оставила его вопрос без ответа. Не говорить же ему, что она не только не врач, а даже не студентка медвуза, провалившаяся абитуриентка.

– Коллега! – напустила Таня серьезный вид. – Я надеюсь на ваш огромный опыт. Признаться, я впервые вправляла плечо... в полевых, так сказать, условиях. Также, судя по крепитации и болезненным симптомам, я подозреваю переломы ребер. Вы не могли бы осмотреть пациента и сделать заключение?

– Пройдите, – показал фельдшер на дверь в стене. – Там процедурная.

подавляя смех, Иван кашлял, от кашля у него ломило грудь. Поэтому Иван выглядел вполне пострадавшим от «катастрофы».

Фельдшер одобрил действия «коллеги», сделал Ивану гипсовую лангету на ключицу и плечо, широкими бинтами опоясал его грудь.

Подтвердил диагноз:

– Переломы без смещения седьмого и восьмого ребёр.

– Хорошо бы ему лед приложить, – сказала Таня.

– Дык где ж его взять?

– Коллега, – протянула Таня руку фельдшеру для прощания, – вы работаете в невероятно сложных условиях! Ни рентгена, ни льда. Спасибо вам огромное!

– Подушка! – ответил польщенный фельдшер.

– В каком смысле? – не поняла Таня.

– Кашлять больно, так наши мужики подушку к груди прижимают.

Выйдя из фельдшерско-акушерского пункта, Иван выглядел вполне прилично – как сбежавший из отделения травматологии алкоголик. Последнее уточнение – из-за багряно-фиолетового отека на пол-лица.

– Что такое крепитация? – спросил он Таню.

– Характерный хруст при переломах костей.

Иван решительно взял командование на себя:

– Если мы будем тащиться до Погорелова как мураши, то есть муравьи, приедем под утро. Проселочные дороги, к вашу сведению, не освещаются, возможность катастрофы увеличивается. После заката комары жалят пуще. Из леса выходят медведи и прочие волки. – Он подавил смешок, потому что испуганные девушки приняли его слова за чистую монету. – Посему: слушаться меня, не кудахтать. И молиться Богу. Тут все крещеные?

– Да!

Когда девушки говорили хором, он несколько раз слышал, звучало странно и щекотно.

– Моя мама была неустановленного вероисповедания, – сочла нужным признаться Маня.

– Ничего, – благодушно кивнул ей Ваня. – У нас тут много нехристей.

– Но мы можем как-то, в какой-то степени, каким-то образом тебе помочь? – спросила Таня.

– Можете. Рассказывайте про новости культуры. Давненько я не был в театрах и музеях.

Таня, Маня и Соня больше часа, безо всякого ерничанья, старательно рассказывали о премьерах в ленинградских театрах и выставках в музеях.

Иван Майданцев

В настоящем театре Иван ни разу не был. Его знакомство с этим видом искусства ограничивалось выступлениями заезжих трупп на сцене сельского клуба. В музее он побывал один раз, когда их, учащихся шестого класса, повезли в Омск. Музей – это скука смертная. От последующих экскурсий он увиливал.

Про Ивана учителя говорили: «Способный, но ленится». Учился через пень-колоду, с «троечки» на «двоечку», подналег – «четверочки» замелькали в табеле.

Он с детства обладал внутренним упорством-знанием: что ему желается, а что, хоть кол на голове теши, – ертачится, не приемлет. Только затопал в девять месяцев, а уже кусался и вопил, когда его не пускали в самостоятельные передвижения. Только в два года заговорил, как бабушке Акулине выдал: «Ты зулба!» Журбой у них называли сварливых теток. У отца с матерью Иван был единственным ребенком, у бабки с дедом – любимым внуком. Но о том, что в нем души не чают, Иван мог только догадываться. Его строжили. В Сибири капризных детей называют уросливые. Из уросливой девки, если не строжить, вырастет плохая хозяйка. Из уросливого мальчишки – не хозяин, не труженик, а сплошное наказание.

Надо помогать по хозяйству и учиться в школе. Помогать – ладно, он же не нюхлый слабак. Однако назначать ему ежедневную работу следовало утром и «по пунктам». Этих «пунктов» могло быть хоть десяток – вычистить хлев, пригнать гусей, наколоть дров, наносить в дом, починить заплот, закидать сено... Дополнительные «пункты» – извините! Следовало утром говорить. Дай родным волю, будут с утра до вечера: подай, принеси, сделай. Времени на самое приятное: бег до спазмов в нутре летом, катушки – ледяные горки – мастерить зимой, прочие игры с пацанами... Времени не останется!

В школе была мука. Каждый урок – сорок пять минут каторги. Сидеть тихо, слушать, отвечать. Он чувствовал себя запеленатым невидимыми путами. Под ними все чесалось: уши, руки, ноги. Майданцев, что ты вертишься? Майданцев, повтори вопрос! Майданцев, почему ты под партой? Какая мышь убежала? Ты принес в школу мышь?! Ты опять сорвал урок! Дневник на стол! Двойка в четверти за поведение!

Родных поведение Ивана расстраивало, а его школьные успехи, оценки, никого, кроме деда Максима, не волновали.

Отец – колхозный бригадир, работал с утра до вечера, круглогодично. Уставал так, что руки вибрировали, когда вечером за стол садился ужинать. Мама – доярка, в пять утра уже надо быть на ферме, последняя дойка в восемь вечера. Свое хозяйство: корова, овцы, куры, двадцать соток картофеля и огорода с зеленью – все на маме. Бабка Акулина, свекровь, тихую добрую маму гнобила, но исподтишка, в отсутствие отца и деда, сыпала упреками и бранью. Мама плакала и никогда не жаловалась.

В четырнадцать лет Иван заявил бабке:

– Еще раз маму обидишь – я тебе... тебе...

Он не мог придумать, что сделает своей толстой, злой, вечно больной бабке. Она поняла по его лицу: что-то сделает с ней нехорошее. Испугалась. Мама беззвучно заплакала: вырос защитник. Хотя от злой свекрухи ни за какими защитниками невестке не укрыться.

Иван не смог бы сформулировать словами, предложениями, вслух, но всегда чувствовал: бабушка Акулина хочет, чтобы он был неудачливым, проблемным. Как ее дети от первого, до деда Максима, брака. Тех детей рассеяло по СССР. Может, и было у них все в порядке, только вестей о себе не подавали. От деда Максима дети справные: сын-бригадир – опорная личность в колхозе, дочь в Иркутске, преподает в институте. Кандидат наук, и муж ее тоже кандидат. Две внучки хорошо учатся и в обычной школе, и в музыкальной.

– Кандидаты! – оттопырив влажную губу, брюзжала бабка Акулина. – А когда членами станут? Я кандидатом в члены партии была два месяца, а потом меня скоропостижно в историческом моменте в 1938 году в члены КПСС приняли!

КПСС тогда не было, партия называлась ВКП(б). Однако никто Акулину не поправлял. Ее не задевай, когда вскочила на одного из своих коньков: какая я была великолепная председательница колхоза и какая я теперь больная.

Она баловала Ивана: подсовывала ему лучшие куски, лакомства, покупала ему в сельпо дорогие подарки вроде коньков или финских лыж. Но оставался осадок: она это делает не для него, а для себя.

Дед Максим – совершенно иная статья. Дед и бабка, в отличие от беспросветно работающих отца и матери, проводили с ним много времени. Бабка давила жалобами и слюнявыми нежностями, дед большей частью молчал, но часто оказывался к месту и ко времени, когда с Иваном что-то происходило.

Его наказывали. Справедливо, заслуженно, если уж по-честному говорить. Отец несколько раз жестоко выпорол – спустя десять лет Иван не мог вспомнить, за что. Бабка Акулина с причитаниями гонялась за ним с прутом по двору – убежать от колченогой бабки проще простого. Дед Максим заехал ему по башке дважды – отпечаталось на всю жизнь.

Первый раз, когда задразнил конопатую девчонку. Она, «рябина» таких называли, просто напрашивалась на дразнилки. Рыжая-рыжая, рыжая бесстыжая.

Дед Максим заехал ему нешуточно, недозированно, без скидок на малолетство. У деда Максима была сила: хоть и сухой пень с виду, а работает конюхом, ретивых жеребцов за узды держит.

– Сопля! – обругал его дед.

И это было вовсе не про кровавую жижу, которая вытекала из носа Ивана. Это было презрение к мужику, который возвыситься захотел, обидев случайно забредшую на конюшню девчонку.

Второй раз дед Максим ему врезал, когда Иван вел к поилке коня. Иван торопился: в клуб привезли новую комедию «Оперция “Ы”». Не выгулял молодого, потного после работ коня, бестолкового в своем желании напиться. Если бы конь напился не остыв, сдох бы или остался бы навечно калекой.

Иван после дедовой оплеухи влетел в кучу конского навоза, которую сам же последние три часа набрасывал.

– Про себя в последнюю очередь думай, – сказал дед Максим. – Как точно в первую.

Иван понял, хотя в словах деда не было никакой логики.

Если ты хочешь сохранить гордость и самоуважение, то надо заботиться о других.

К четырнадцати годам (когда посмел бабке Акулине угрожать) школа уже перестала казаться Ивану застенком. Уши-руки-ноги не чесались, происходящее за окном не казалось стократ интереснее мучений с «напишем предложение», «открыли учебник, пример номер семнадцать». Пребывание на уроках безо всяких мышей, принесенных в карманах, без «кола по поведению!» переносилось спокойно. Оказывается-то! Придумать себе развлечение. Лепить под партой солдатиков из пластилина или рисовать человечков на полях учебников. У человечка должно быть минимальное изменение положения рук и ног на каждой странице. Потом берешь учебник, корешком от себя, пролистываешь быстро страницы – получается мультик: твой человечек танцует, как дикий папуас Миклухо-Маклая, или сдыхает картинно, как Умиравший лебедь Майи Плисецкой.

Иван собирался после восьмого класса поступать в сельскохозяйственное ПТУ. Родители его выбор одобряли. Из села много молодежи уезжало, единицы оставались, а тракторист всяко в колхозе останется, рядом с ними. У Ивана был другой резон: тракторист – это в армии танкист, привлекательно.

– Ты в танк не поместишься, – сказал дед. – Вымахал, голова из люка торчать будет, не прихлопнется. Туловом быстро рос, а мозгами запаздываешь. Пойдешь в девятый, десятый класс, да станешь учиться без двоек – на охоту возьму.

Дед Максим был завзятым охотником. Но компаний не любил, ходил в тайгу одиночно, даже сына не брал. Дед Максим вообще предпочитал сидеть в сторонке, курить самосад, ни во что не вмешиваться. У него был тяжелый, почему-то усталый, обреченный взгляд: никуда от вас не деться, но вы мне поперек горла.

– Примеры и задачки по алгебре решать и сочинения по литературе писать ты за меня будешь? – обиделся на «запаздывающий мозг» Иван.

– Хотел бы, – вздохнул дед. – Сбросить лет пятьдесят, я б зубами в учебники вгрызсся.

У деда Максима были ордена и медали за Войну и орден Трудового Красного Знамени – за работу в колхозе. А дед, оказывается, считал свою жизнь напрасной.

– Ну? – протянул он Ивану руку. Впервые серьезно, как взрослому, скрепляя договор. – Не сдрейфишь, унучек?

Иван пожал дедову руку.

Десятилетка находилась в соседнем селе, за шесть километров. Попутки не часто попадались. Вне распутицы – плевое дело добежать. Зимой на лыжах. По укатанному снегу на лыжах тоже легко. Только распутица в учебный год пять месяцев из девяти. А зимой с неба валит и валит – по свежеснежью надо лыжню прокладывать. После уроков вышел – занесло лыжню.

Ивану ставили тройки – не за знания, а потому что жалели его, единственного, кто каждый день отмахивал туда-обратно двенадцать километров и на первых уроках дремал, едва не храпел. Кроме того, второгодников отменили, и школа была вынуждена поддерживать «средний балл успеваемости».

Дед свое слово сдержал.

Охота – это маленькая мужская жизнь. В ней азарт такой, что глаза стынут, а жилы веревками натягиваются. И терпение, когда зверя поджидаешь, требуется дьявольское, что там уроки в школе сорок пять

минут – ерунда. Дома сигарку дед изо рта не вынимал, а на охоте ни-ни – зверь учует. Охота – это навыки, секреты, умение читать следы – внимательность, обостренная до трепета, меткость, дед тренировал Ивана, когда не сезон, патронов не жалел. Научил относиться к винтовке и ружью как к третьей руке. Чистить, лелеять, знать повадки. Когда Иван первый раз попал белке в глаз, он испытал головокружительный восторг. Не знал, что такое можно переживать.

Домашних заданий Иван не делал. Уставал, да и матери по хозяйству требовалась помощь. Какие уж тут упражнения по русскому или примеры по математике. Письменные домашние у него не проверяли. По биологии или географии на перемене прочитывал быстро параграф. Память у него была отличная: вызовут к доске – чего-то наморосит на троечку, если без дополнительных вопросов. Дополнительными его не мучили. Проблема была в домашних сочинениях по литературе. Не отвертишься – надо настрочить пять страниц. Иначе – жирная двойка. Из-за Базарова – нового человека («Отцы и дети» Тургенева), из-за судьбы русского народа (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»), из-за прочих произведений, которых он, конечно, не читал. Великая русская литература была каким-то параллельным миром, вредным и требовательным, досужим и нелепым. Но где-то там, в Расее, в столицах значимым. Вроде еды с ножом и вилкой.

У них как-то проживал командированный омский агроном, щупленький, чистенький, в очочках. Попросил у матери «столовый нож». Мама растерялась. Столовый – это какой? Дала ему самый маленький. Агроном резал мелко кусочки мяса, подгребал их на вилку вместе с брусочком жареной картохи – и медленно отправлял в рот. Жевал сосредоточенно. Культурно? Да глупость манерная! Если ты наработался по-мужски, по-настоящему, то не выкаблучиваешься. Пришел домой, помылся, поел (ложкой!) и завалился спать. Потому что завтра снова вкалывать.

С домашними сочинениями по литературе Ивану неожиданно помог дед Максим. Потому что Иван кунял над тетрадкой, засыпал за столом в горнице.

Сочинение – это переписывание учебника. Но не тупое, а по плану. План учительница выводила на доске, ученики переписывали в тетрадь. Три основных пункта римскими цифрами: «I. Вступление. II. Основная часть. III. Заключение». У второй части подпункты арабскими цифрами, раскрытие темы сочинения. Поэтому из учебника надо было передрать хитро: где (I. Вступление) про историческую обстановку, где значение

образа (III. Заключение), а серединную часть тоже из параграфа списать разумно.

Дед Максим надевал очки, раскрывал учебник, вчитывался, диктовал внуку. Иногда ошибочно. Они спорили о том, чего не понимали, тыкая в пункты плана сочинения и в абзацы в учебнике. Дед Максим терял свою привычную отстраненность, а Иван выныривал из дремы, которую на него навевала письменная работа.

Сочинение про образ Андрея Болконского по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». Сочинение важное, потому что учительница намекнула, что на выпускном экзамене-сочинении обязательно будет что-то вроде «Мой любимый литературный герой» или похожее, к чему можно подтянуть сейчас зазубренное сочинение.

Небо Аустерлица. Пункт второй арабскими цифрами основной второй части.

– Тут кратко, размыто. Погоди, не пиши, – водил пальцем по странице учебника дед Максим.

– Неба Андрей Болконский, что ли, не видел? – нетерпеливо ерзал Иван. – Оно всегда.

– Не скажи! Подземные гады его никогда не видят. Гады наземные на него внимания не обращают. Как и все зверье лесное. Птица ввысь взмывает, но лишь секунды небо видит. Человек голову задирает, в надежде на дождь в засуху или в опаске ливня в сенокос. А небо – оно вечное и никогда неповторимое. Оно одинаковое и разное – что над Аустерлицем, что над Москвой, что над Сибирью. Тут смысл! Чтобы небо увидеть, надо, может, чтоб ранило тебя смертельно, чтобы тебе за все простилось, и ты простил, вобрал в себя необъятное, открыл в себе мир, космическую Вселенную – как заново родился, пусть перед гибелью. Толстой – великий писатель. Великое не только в том, что революции затевать. А чтоб небо людям показать.

Проснулась бабка Акулина, застенала. У нее все болит, немеют члены, и вообще она помирает. Это чтобы мама Ивана вскочила, парила ей горячими тряпками распухшие ноги. Маме спать осталось часа три.

– Дописывай сам, – поднялся дед Максим.

Пошел к жене. Иван слышал их бормотание: капризное – бабки, примирительное – деда. Капризное, видно, пересилило примирительное. Дед повысил голос:

– Шо старое вспоминать? Когда это было? Не любил, дык ведь женился. Лягу, лягу, обхвачу, к стенке повернись.

На Ивана с новой силой навалилась дрема, спать хотелось смертельно, зевал так, что скулы выворачивало. Иван написал рассуждения деда о небе, закрыл тетрадь и учебник, отправился на боковую.

Через несколько дней на уроке, когда учительница объявляла оценки за сочинения, Иван ожидал двойки, он ведь не дописал, до пункта «III. Заключение» так и не добрался.

Учительница русского языка и литературы Ольга Петровна была строгой. Она умела держать дисциплину в классе. Умела привить грамотность. Но принудить учеников читать толстенные романы или длинные поэмы было невозможно. Ольга Петровна заставляла писать сочинения – часто, едва ли не каждую неделю. Прекрасно видела, что поголовно передирают: из учебника, когда сочинение по литературному источнику, или прочих книг, даже газет, когда тема вольная. Ольга Петровна считала это полезным. Что-то останется в голове: логика раскрытия темы, умение выражать мысли, какой-то интерес, способный в будущем пробудить желание прочитать книгу. Плюс тренировка грамотности. Учительница к их ошибкам, морфологическим и синтаксическим, относилась прямо-таки со звериной злостью, как к личному вызову. Будто цепной пес, лающий на непрошенных гостей. Математик, к слову сказать, был гораздо благодушнее в отношении ошибок в примерах и задачах.

– Впервые за многие годы, – говорила Ольга Петровна, – в каком-то смысле неожиданно для себя, я поставила отличную оценку за сочинение недописанное и формально заслуживающее двойки. Причина моего отступления от правил – в абзаце, который я сейчас прочитаю...

Иван порозовел, покраснел и запунцовел, пока она читала про небо. Одноклассники решили, что он полыхает от гордости и смущения. А ему было дико стыдно, когда учительница говорила:

– Молодец, Майданцев, поздравляю! Не ожидала.

Что он мог ответить? Только выставить себя на посмешище: это не я придумал, а мой дедушка. Будь он неладен, дед Максим! Бабка не могла раньше проснуться!

Ивану было так гадостно и противно, что решил сам перед собой оправдаться, сам себя наказать и искупить. Спросил у Ольги Петровны, какой из русских писателей самый сложный.

– Безусловно, Достоевский.

Начиная со второго полугодия девятого класса, на летних каникулах, весь десятый класс Иван читал Достоевского. Брал в библиотеке том за томом пыльные, давно никем не трогаемые книжки.

Прятели считали, что он выпендривается. Если назвать зарок – пять страниц Достоевского в день – выпендриванием, то Иван выбрал самый из тягомотных способов оригинальничанья. Библиотекарша смотрела на него с восхищением. Ольга Петровна поглядывала с затаенным интересом.

– Сложно, Ваня? – спрашивала.

– Очень, – признавался он. – Но я люблю, когда трудно.

Лукавил: он любил трудности в физическом труде, в спорте, на охоте, а вовсе не в текстах, через которые надо продираться, когда только злость на собственную тупость отгоняет сон.

– Почему ты взялся за Достоевского?

– Решил.

Не признаваться же, что виноваты Андрей Болконский и дед Максим с их небом.

– Много лет назад, еще до твоего рождения, – неожиданно разоткровенничалась Ольга Петровна, – я была простой деревенской девочкой, у которой после домашних, хозяйственных трудов не оставалось никаких сил на школьные науки или чтение великих произведений. Потом случилось... Собственно, не важно, что произошло у меня тогда или у тебя сейчас. Я стояла в библиотеке, видела стеллажи, полки, стеллажи, полки, книги, книги, книги... И все они мимо меня? Не для меня? Злость взяла. Я стала читать. Это было очень трудно, потому что непонятно, потому что герои разговаривали не как мы, да и разговаривали редко, а между диалогами все какие-то описания и рассуждения. Иван! Нас, сибиряков, только разозли. И редких сибиряков в том, что касается какого-то муторного дела, можно разозлить. Ты обратил внимание, что наши земляки, обладая всеми качествами прекрасных руководителей, редко достигают начальственных позиций и государственных постов? Их честолюбие за границы собственного двора, много – села, не распространяется.

– А рулят?..

– Расейские и прочих республик выскочки, – хитро подмигнула Ольга Петровна.

Если бы Ленин, Маркс или Энгельс подмигнули со своих портретов, Иван меньше бы удивился.

– Даю совет, – продолжила учительница. – Не наказ, а дружеская рекомендация исходя из собственного опыта. Когда каша чтения в моих мозгах превысила объем головы, я стала вести дневники прочитанного. Не конспекты, то есть не краткое содержание. Тетрадка. Каждое новое произведение в середине строчки, как название. Далее с красной строки

заметки о сегодня прочитанном. Неважно какие. Понравившаяся фраза, цитата. Собственное, не в последней инстанции, никому не ведомое мнение. Князь Мышкин похож на нашего приторно-лилейного лабазника Кузьмича. Никто в доброту Кузьмича не верит, все остерегаются. Если все падшие женщины такие, как Соня Мармеладова, то на небе было бы не протолкнуться от святых грешниц.

Ольга Петровна разговаривала с ним как с равным, почти равным, младшим равным. Это было неожиданно, волнительно и приятно. В их школе панибратство отсутствовало, учителя держали дистанцию, смотрели на учеников свысока, Ольга Петровна – с высокого высока, выше директорского. Педагогическая установка.

Мозгомучительное чтение принесло первые выгоды. Ольга Петровна хитро подмигнула Ивану, как нормальная живая немолодая женщина смышленому парню. Глупейшее в своей очевидности открытие: учителя тоже люди. Следовательно: все люди есть только люди, ничто человеческое им не чуждо, к тому, что не чуждо, имеется тропа.

Иван завел тетрадку и привычку записывать несколько строк после сеанса чтения.

Второе открытие: литературное произведение, чтобы оно не было наказанием, требует общения. Наверное, у кого-то – шибко интеллигентных и культурных, в столицах – есть общение словесное на предмет прочитанного. Ивану общаться было не с кем. Только с Достоевским посредством записей в тетрадках. Достоевский кувыркался бы в гробу, прочитай некоторые Ивановы умозаклучения. Но другие записи, напротив, успокоили бы Федора Михайловича, благостно тлевшего с улыбкой миропасителя – он оставил миру святые заветы. Иван, например, был совершенно не согласен с презрительной оценкой Сонечки Мармеладовой, мимоходом высказанной Ольгой Петровной. Для Ивана падшая женщина – та, которую затоптали, вынудили к грехопадению, а чистота внутренняя остается. Праведная грешница. Иван понятия не имел о продажных женщинах, не видел ни одной.

Много позже в Ленинграде, увидев «Сонечек», обзовет себя идиотом. Сродни князю Мышкину из одноименного романа. Льва Николаевича Мышкина и Алешу Карамазова надо перерастить. Но если ими не переболеть в юности, как ветрянкой в детстве, то у тебя не будет иммунитета на многие жизненные испытания.

После школы Иван не поступал ни в институт, ни в техникум. Вовпервых, перспектива снова оказаться за партией отвращала, как протухший

студень, которым бабка Акулина пытается накормить: и не подванивает вовсе, а столько в нем мяса-то! Во-вторых, он попросту не знал, какую специальность выбрать. Это было неловко и стыдно: здоровый парень, а с будущей профессией не определился. Время есть, ему ведь в армию идти.

Два года службы в ВДВ Ивана сломали и вылепили заново. Армия не охота в сибирских лесах, но сходна тем, что выбраковывает слабых, а сильных делает сильнее, умнее, возвращает достоинство.

Сибирского достоинства у Ивана было даже с лишком. За него и поплатился. Шесть месяцев «учебки» – школы младшего комсостава – та же тюрьма, но с повышенной физической нагрузкой.

Дополнительное питание полагалось тем, кто выше метр девяносто. Они почти все такие. Есть не хотелось. Хотелось жрать, вечно и безостановочно. Командовал взводом новобранцев сержант Звэр.

Он так и представился, разгуливая перед строем:

– Я Звэр. Вы, Ихтиандры малосольные, жертвы рваного гондона... Кто ухмыльнулся? Ты, ты и ты! Шаг вперед! Поздравляю с первыми нарядами вне очереди.

Сержант Зверев манерно и презрительно коверкал речь, произносил «е» как «э» только в общении с солдатами, которые были для него «быдлом позорным». Разговаривая с офицерами, сержант вытягивался в струнку и говорил нормально.

Ивана Майданцева Звэр не любил сразу.

Не скрывал, за что:

– Плохо смотришь. Как сволич – свободная личность. Глаз не горит, потому что опилки в твоей голове еще тлеть не начали. Начнут, обещаю.

Наряды вне очереди Иван получал через день. Придирки Звэра были откровенно хамскими, вроде плохо заправленной койки, с которой сержант предварительно сдернул одеяло. Работа в нарядах вне очереди у Ивана была самая унижительная. Драить ночью туалет. Фаянсовая станина с вырезанным в центре отверстием в виде большой замочной скважины была утыкана выступающими кругляшками размером с двухкопеечную монету. Надо было бритвой отчищать каждый кругляшек – «чтоб свэркало, аж пыщало». На сон оставалось не более двух часов. Иван серьезно опасался, что когда-нибудь отключится и клюкнет головой в вонючее отверстие. Хронический недосып и вечный голод. Днем зарядка, пробежка, полоса препятствий, рукопашный бой... Иван сломался, когда замаячила перспектива стать «задротом». Во время кроссов с полной выкладкой слабосильные солдаты отсеивались в хвост колонны – «зад роты». Иван

научился правильному выражению лица и взгляду – есть глазами начальство, таращиться в горячем желании выполнить любой приказ, здесь и сейчас, писая кипятком от счастья. Звэрь добился своего и отстал от Ивана.

Сержант не был садистом, у него должность была садистская. Обедал Звэрь вместе с ними, а не за сержантским столом. На стол ставилось три кастрюли – с первым, с кашей или макаронами, с плавающими в подливке сиротскими кусочками мяса. Звэрь поручал кому-нибудь из бойцов раздавать еду. С себя никто, конечно, не начинал, себе – последнему. Но тот, кто зажил для себя побольше супу или кусок мяса пожирнее, через несколько дней оказывался с бритвочкой в туалете. Иван очень не любил раздавать: в собственной миске оказывалось полпорции супа, а от мяса – редкие волокна в подливке, которой поливалась каша.

Перед окончанием учебки Ивана вызвал командир взвода и предложил остаться в части, воспитывать новобранцев. Как Зверев, который его, Ивана, рекомендует. Иван отказался. Наверное, это правильно – ломать через колено пацанов, делать из них живые машины – сильные, выносливые, нерассуждающие. Только Ивану это занятие претит. После присвоения солдатам сержантских званий, до их отъезда из учебки. Звэрь и прочие «наставники» где-то прятались. Теперь они не были командирами, в званиях сравнились, а кулаки у многих чесались.

В кадровой дивизии ВДВ служба была, конечно, не сахар, но в сравнении с учебкой вполне терпимой. Ивану, на зависть ребятам, писали три девушки из Погорелова. Оля, Света и Катя. С каждой из них на проводах он, изрядно хмельной, танцевал медленные танцы. С кем-то, кажется, даже целовался за амбаром. У него не было настоящей зазнобы, а уходить в армию без ждущей тебя девушки было несолидно. Поэтому Иван пьяно шептал им на ушки: «Писать мне будешь? Пожалуйста, пиши!» Письма девушек в большей степени, чем письма из дома, помогли Ивану в самое трудное время не сойти с ума, не сорваться, не натворить беды. Эти письма были как нити, связывающие его с далекой нормальной жизнью, где нет муштры и приказов, а есть свобода и воля.

Иван прослужил год, когда в часть для организации взвода снайперов-диверсантов приехал майор Александр Кузьмич Попов. Конкурс в элитный взвод был таким, что и не снился столичным вузам – две сотни человек на место. Одни испытания-экзамены были Ивану понятны. На меткость стрельбы, например. Или вот их уложили на поле, где было замаскировано десять целей, дали десять минут, чтобы зрительно эти цели обнаружить. Потом отвели в укрытие, в это время некоторые цели переставили, снова

привели на полосу, за следующие десять минут требовалось обнаружить цели. Испытание считалось пройденным, если боец находил все десять целей и не менее трех из переставленных. Иван обнаружил пять – все переставленные. Проверялись зрительная память и наблюдательность. Но зачем нелепый экзамен в тире? Десантники умеют стрелять стоя, лежа, по-македонски, во сне, спросонья, с закрытыми глазами. Из всех видов оружия. А тут, в тире, дали винтовку с единственным и, как оказалось, учебным патроном. Кузьмич стоит рядом, наблюдает. Выстрелил боец, Кузьмич ну-нукнул, велел следующему выходить на позицию. Кузьмич потом объяснил: есть психологическая реакция на выстрел, врожденная, неисправимая. Человек, зная, что выстрел сопровождается отдачей и громким звуком, непроизвольно готовится к этим ощущениям: моргает, прищуривается, делает компенсаторное движение плеча вперед. Для рядового бойца, будь он хоть десантник, это не имеет большого значения, а снайперу может стоить жизни. Окулист и врач, проверявший слух, отбраковали ребят, которые очков не носили и на плохой слух не жаловались, но каких-то единиц до стопроцентных показателей им не хватило.

На последнем этапе Кузьмич беседовал с каждым из кандидатов лично.

Внешность у Кузьмича была не бравая – полноватый, невысокий, простецкий, форма сидит мешковато. Добрый дяденька завхоз. Таких всегда величают по отчеству – Петрович, Иванович, Кузьмич... Он называл бойцов не уставно, по-штатски – «голуба моя». При том, что разведка донесла: майор прошел Войну, он из тех снайперов, что легенда. Да и судя по орденским планкам, повесь Кузьмич все награды, на груди места не хватило бы, до пупа теснились.

Он спрашивал Ивана про маму и папу, про деда и бабу. Про охоту в Сибири и снова про родных: часто его наказывали, пороли, на горox в угол ставили? В угол у них ставить было не принято. Наказывали, конечно. За что? Не помнит уже конкретно, за строптивость, за что ж еще. И неожиданно Иван рассказал, как дважды ему врезал дед. Правильно сделал.

– Дратся любишь, голуба моя? – спросил Кузьмич.

– Дратся – нет, а бороться люблю.

– А вот если кто-то нарывается, достает тебя, вспыхиваешь? В харю ему, чтобы заткнулся. Кто первым ударил, тот чаще победитель. Кулаки чешутся?

– Бывает, – согласился Иван. – Только дед меня учил: ерепенятся не от силы, а от слабости. А слабого бить непочетно, хотя некоторые другого

языка не понимают. Но гражданка и армия – это разные вещи. Я ведь службу. И если каждому чудиле-командиру скулы вправлять, где окажусь?

– Ага-ага! Чудил много?

– Нет, это я образно.

– Командиры говорят, что ты, голуба моя, выдержанный и спокойный. Это хорошо. А сам как думаешь, в чем твои достоинства и недостатки?

Ни про то, ни про другое Иван никогда не задумывался. Недостатков было, конечно, больше. Он ответил не сразу, выбирая главный:

– Про положительное пусть другие говорят, а из отрицательного – упрямый я.

– Что плохого в упрямстве?

– Самому себе вредит.

– Не понял. Приведи пример.

– Больше двух лет читаю Достоевского. Был перерыв, а сейчас продолжил, взял в библиотеке. Мне остались только «Дневник писателя» и несколько повестей.

– Зачем ты его читаешь? – поразился Кузьмич.

Он, конечно, завхоз, добрый Дедушка Мороз без костюма, но взгляд цепкий, прицельный, истинно снайперский. Будто через твои глаза отыскивает у тебя в мозгу слабую точку, цель на поражение. Однако Достоевский заставил Кузьмича вытаращиться.

– Так решил, – ответил Иван.

– Вроде епитимьи?

– Это какое-то религиозное слово?

– Ага, наказание, на себя возложенное.

– Вроде того, товарищ майор.

Кузьмич если и понял по последнему обращению, что Ивану тема неприятна, то никак не отреагировал.

Допытывался:

– За что себя наказал?

– Я, товарищ майор, свернул голову соседскому петуху. Голосил, спать не давал.

– Ага! Не хочешь говорить, да и ладно. Но вот я, к примеру, если бы решил наказать себя посредством великой русской литературы, то выбрал бы Пушкина. Я помню чудное мгновение, кот на цепи, сказка о золотой рыбке, белка песенки поет да орешки все грызет, а во лбу звезда горит – душевно.

Дале последовал какой-то детский сад, помноженный на клуб веселых и находчивых. Кузьмич протянул листок, на котором вверху было написано:

«Абстрагировать» – и велел из букв слова составить свои слова. У Ивана за пять минут получилось одиннадцать штук.

– Славненько, – похвалил Кузьмич. – Предыдущий голубок только два слова выдавил: «баба» и «аборт». Оно объяснимо: что у солдата в голове, то и на бумаге.

Потом Иван отгадывал хитрые загадки и решал логические задачи, как бы простенькие. Первые он решил неверно, пока не сообразил, что за простеньким кроется ловушка.

Какое все это имело отношение к снайперскому искусству и мастерству? Иван вопроса не задал, но Кузьмич легко прочитал по его лицу.

– Не скажи! Берем вас в армейскую элиту. А тупая элита – это не по-советски.

Иван знал выражение: жизненные вехи. Думал, что это про значимые события в биографии. После года службы под крылом Кузьмича понял: вехи – это люди, которые встретились тебе на жизненном пути и сделали тебя лучше: сильнее, умнее, достойнее. Был дед Максим, учительница Ольга Петровна, сержант Звэр, чтоб ему. Самая крупная вежа – командир Александр Кузьмич Попов. Он, кстати, как и Звэр, пересыпал речь солдатскими присказками. Но у Звэра они пованивали блатным цинизмом: «Еще один гудок с твоего паровоза, и твой зубной состав тронется». А у Кузьмича были абсурдны до смешного. Когда какой-нибудь «голуба моя» оправдывался из-за ошибки, Кузьмич пенял: «Не надо лохматить мои кудри!» У майора была лысина почти на всю голову.

Про себя он говорил:

– Рожден был хватом. Слуга царю, отец солдатам. Из стихотворения Эм Ю Лермонтова «Бородино». «Царю» по-современному переводится как «советской родине».

Дисциплина в взводе держалась не на крике, выволочках, наказании, нарядах, а на страхе быть отчисленным из взвода. И служба была без муштры, шагистики. Не служба, а работа – тяжелая, требующая дьявольской выносливости и наблюдательности, железной выдержки, когда, замаскировавшись, лежишь в «гнезде» несколько часов, и мгновенной реакции, когда противник выдал себя. Но и награда, если не промазал, соответствовала – всплеск ликования в крови. Иван впервые подобный восторг пережил на охоте с дедом в сибирской тайге. К этому нельзя было привыкнуть, каждый раз – как первый.

Иван, все ребята знали, ходил у Кузьмича в любимчиках. Никаких послаблений это за собой не влекло. Напротив, заставляло соответствовать.

Мама плакала, когда в Погорелове получили письмо от командира полка: ваш сын зачислен в Книгу почета части – за победы в соревнованиях снайперов. Родные очень гордились, что Иван побывал за границей, в Чехословакии и в Польше, на учениях Вооруженных сил Организации Варшавского договора.

За два месяца до мобилизации у Ивана состоялся непростой, болезненный разговор с Кузьмичом. Старик видел в нем преемника. Когда-то великолепная, налаженная система подготовки снайперов разваливалась. Кузьмич – последний из могикан. Ему давно пора в отставку. Чудо, что высшее командование согласилось этот взвод организовать. А снайперское искусство, как всякое мастерство, передается из рук в руки, будь ты краснодеревщик, сапожник или хирург. У Ивана десять классов, в военное училище поступит с лету. Два года Кузьмич еще протянет, а потом Иван подхватит. Ему создадут условия! У Кузьмича связи до самого верха, до Генерального штаба!

Иван не мог согласиться, хуже того – не мог честно объяснить свой отказ. Снайпер убивает людей. Врагов, конечно, и в условиях войны. Если завтра война, Ивана призовут, он будет убивать. Но сейчас он не хочет учить убивать. За Войну на счету Кузьмича сто пятьдесят фашистов. Только задокументированных, на самом деле больше. Убитых людей. Не зайцев, лосей, белок, кабанов, медведей, которые суть добыча охотника, а людей.

Иван мотал головой, мямлил, отводил взгляд, говорил, что у него другие планы. Кузьмич обиделся и расстроился. Еще сильнее обиделся бы, скажи ему Иван прямо: «Вы, Александр Кузьмич, в моей жизни века из вех. Но когда я на вас смотрю, я каждый раз думаю: он лишил жизни сто пятьдесят человек».

Это было слюнтяйство, прекраснодушие розовой трепетной барышни, а не старшего сержанта, снайпера-десантника, отличника боевой и политической подготовки. И виноват чертов Достоевский! Его философия вошла в кровь, въелась в мозги, поселилась, как у себя дома.

Вот кто-то с горочки спустился. Иван приехал домой красавец красавцем: лихо сдвинутый на ухо голубой берет, на груди тесно от значков. *Наверно, милый мой идет.* Неожиданно для себя Иван оказался милым девушки Кати. Она ему писала до последнего. Света и Оля по очереди отпали – замуж вышли. Иван в своих письмах, очень кратких, никаких обещаний Кате не давал, в любви не объяснялся, если не принять за оное просьбу выслать фото. Иван боялся Катю не узнать! Он ее смутно

помнил, неловко получилось бы. Катины письма были скучны и жутко безграмотны. Катя у Ольги Петровны не училась, после восьмого класса пошла работать на ферму. Ивану же любимая учительница привила безразличное отношение к грамматическим ошибкам.

Оказалось, что для всего села Иван – Катин жених. Она ему писала, она его ждала, вот и свадьба не за горами. Мать с отцом от его выбора были не в восторге, но смиренно приняли. Не было никакого выбора! Ну, переписывались! Мало ли кто с кем переписывается! У них в части каптёрщик тринадцати девушкам под копирку строчил. Жениться на Кате? Он с ней даже не целовался ни разу! (Или все-таки с ней два года назад за амбаром?)

– Капкан не ставил, а зверь поймался, – усмехался дед Максим.

Ничего смешного. От Кати некуда было деться. На улицу не выйти – она тут как тут. Еще и с претензиями. Я тебя вчера ждала, чего не пришел? В клубе новое кино, ты билеты купи, места займи. В соседнюю Кирсановку ВИА из Омска приезжает, танцы будут, пеши пойдем или договоришься, подбросит кто?

Катя была не дурна собой, но и не привлекательна – как табуретка. Устойчивый полезный предмет мебели. Коренастая, широкая в кости Катя имела и на квадратном лице широкие, сросшиеся на переносице брови. Они казались живыми, растущими. Будут расти-расти, лохматиться, пока не станут как у Брежнева. Катя не пыталась исправить это безобразие с помощью пинцета. Она наивно считала, что это и есть соболиные брови. На Кате уже отложился отпечаток тяжелый крестьянский труд: лицо обветрено, плечи горбятся, руки сильные, кисти грубые, как у мужика. Девичья легкость быстро сходит с сельских баб. Пашут как лошади, а рабочая лошадь должна быть сильной, устойчивой и выносливой.

Иван вернулся из армии в июне. Никто не понял бы, стань он бить баклуши в горячую трудовую пору короткого сибирского лета. Иван днем работал на строительстве нового птичника, а вечером, скрываясь от Кати, возился с ремонтом ГАЗ-69, армейского вездехода, в простонародье – «козлика», списанного и приобретенного бабкой Акулиной у военных топографов, прошлым летом квартировавших в Погорелове. Бабка намекала, что за флягу (двадцать литров) самогона унучеку Ивану машину достала. Бабка хоть и была трынделкой, но помнила, про что открыто говорить, а про что – намеками. В том и другом случае речь шла о ее небывалых заслугах.

Ване удалось достать запасные детали, и это была удача. Катя стала вечерами приходить к ним во двор, а это была огромная неудача. Катя

сидела на лавке, болтала ногами, лузгала кедровые орешки. Иван Катю уже ненавидел. А со стороны казалось мило: жених трудится, невеста молча сидит в сторонке. Он закончил, идет ее провожать, вся деревня видит.

От жалости и чувства вины до ненависти и раздражения путь короткий. Гораздо меньший, чем от приветливого равнодушия, когда, поедая пуд соли, обнаруживаешь, что черпаешь половником, а твой друг – чайной ложкой.

Иван решился на откровенный разговор:

– Катя, ты замечательная девушка. Но я тебя не люблю. Давай расстанемся по-хорошему.

Она не смутилась, не расстроилась, не заплакала, не убежала.

– Я с Зинкой-продавщицей договорилась, рубашку нейлоновую тебе отложит, но надо переплатить два рубля.

– Катя, ты слышала, что я сказал?

– Слышала. Но ты ж честный? Ты меня не опозоришь? Пошли проводишь.

У своей калитки она прижалась к нему тесно, задрала голову, вытянула губы трубочкой – целуй, я вся твоя. Если бы *так* к нему прижалась сельская сумасшедшая бабка Егориха, Иван испытал бы меньшее отвращение. Было бы хоть смешно.

– Извини! – вырвался Иван.

А следующим вечером она снова пришла сидеть на лавочке, лузгать орешки и наблюдать за его работой. Не гнать же ее палкой? Очень подмывало.

Прав дед, это был капкан. Ловушка, медвежья яма. Иван два года мечтал о свободе, а попал в болотное рабство. На глазах у всего честного народа, который считает это рабство справедливым. Иван, здоровый сильный парень, не имел права никому пожаловаться, попросить помощи или совета. Хотя почему никому? Деду Максиму, например.

– стыдно сказать, – говорил Иван, – но я чувствую, что из-за этой дуры под угрозой мои планы. Я мечтал засесть за учебники, за осень и зиму подготовиться в институт. Не хочу жить в селе. Я очень люблю наши места: леса, Иртыш. Но я хочу жить в городе, где в квартирах унитазы и люди не бегают по нужде во двор, в будыли. Ведь у нас, как у многих, даже отхожего места, будки над ямой нет!

Прозвучало глупо, словно он ради фаянсовых горшков в город рвется. Иван хотел растолковать свою мысль, но только пуще запутался.

– Я хочу каблуками модных ботинок стучать по асфальту, подниматься по лестницам, ездить в лифтах, носить рубашку с галстуком... Тыфу ты, все

не то! Театры, музеи... Сдались они мне! Дед! Я видел большие города, чистенькую Европу. Я не желаю, как мать с отцом, как ты, свою жизнь... Ну, прости!

– Нормально. Только я не понял, ты какую специальность выбрал?

– Обычную, инженера, как все, со специализацией только не определился. Но при всех условиях сдавать математику и физику плюс сочинение по литературе. Дед, что мне с Катей делать?

– Драпать. Иного спасенья нет. Либо обженят, либо девку запозоришь. Они же, бабы в основном, считают, что плохая женитьба лучше хорошего холостячества. Стерпится – слюбится. А что жизнь человека, судьба мужика или бабы, в тошноту превращается, во внимание не берется. Так многие женились и замуж выходили. Иван Майданцев не особеннее других.

Через две недели после этого разговора Иван встречал в Омском аэропорту трех ленинградских девушек. Вызывающе одетых, то есть раздетых, с жестами-манерами вычурными. А уж языки у них! Можно вместо бритвы использовать. Если бы не суровые тренировки снайперской выдержки и хладнокровия, Ивану пришлось бы туго. Так ведь и пришлось! И не сдюжил, допустил аварию. Или все-таки причина была в том, что одной из трех девушек была Таня? Он ее увидел, встретился глазами, и сердце перестало подчиняться. Хотя прежде Иван сей орган контролировал отлично: нажимал на спусковой крючок в доли секунды между ударами. Иван не влюбился с первого взгляда, просто сердце задурило.

Клад (Продолжение)

Их ждали, волновались, готовились, сделали большую уборку в избе и во дворе, наготовили еды. Но компания, которая вылезла из «козлика» и вошла в дом, привела в оторопь.

Иван. Глаз подбит, заплыл синячищем, бровь лейкопластырем заклеена. Парень в штанах, но без рубахи, не гол – весь перебинтован. Девушки. Конечно, в селе любят фигурное катание, как и вся страна, прилипают к телевизорам и болеют за наших спортсменов. Но кто ж в костюмах для фигурного катания по улицам ходит? «Фигуристки» были грязны, поцарапаны, утыканные комариными укусами, чесались, как вшивые.

– Таня, Соня, Маня, – представил Иван девушек. – Моя мама Галина Степановна, отец Сергей Максимович, бабушка Акулина и дедушка Максим. – Иван кашлянул, как бы призывая родных выйти из немого ступора, и добавил: – Прошу любить и жаловать.

Поскольку хозяева хранили странное молчание, Сонятаняманя включили свое трехголосое радио. Причем Соня и Маня, уже имевшие опыт общения (в коридоре фельдшерско-акушерского пункта) с местным пиплом, отдувались первыми, Таня подключилась в середине радиопостановки.

- Приятно познакомиться!
- Извините, что мы в таком виде!
- Мы поражены вашей изумительной природой.
- Истинно сибирской.
- Включая комаров.
- Вы не волнуйтесь: у Ивана вывих плеча вправлен и сломалось только два ребра.
- Потому что мы попали в аварию.
- Жить без приключений нам никак нельзя.
- Бама... в смысле бабушка Марфа, передает вам большой привет.
- Также гостинцы, которые в чемодане.
- Можно, мы помоемся? – пропищала Маня, сообразившая, что их выступление вгоняет публику в еще большее недоумение.
- Где-нибудь? – молитвенно сложила руки Соня.
- Ну и девки! – расхохотался дед Максим, тряся плечами и прикуривая папиросу.

На памяти Ивана дед так щедро, просто и открыто никогда не смеялся.
– Конечно! – восторженно воскликнула мама Ивана. – Добро пожаловать!
Пойдемте, касаточки, я вас до бани провожу.

У них безвозвратно стигнули замечательные комбинашки, но имелись халататики – фривольные, Соней сшитые, едва прикрывающие попы.

Галина Степановна, придя их встречать после бани, с сердечной жалостью предложила:

– Давайте я вам принесу нижние рубахи?

– В каком смысле «нижние»? – спросила Маня и заработала тычок от Тани.

– Мы были бы очень признательны, – сказала Таня и лягнула Соню.

– Большое спасибо! – проблеяла Соня. – Вы очень любезны.

Они сидели за столом, ужинали, в обалденных костюмах – как для свиты Ведьмы в исполнении Наталии Варлей из фильма «Вий». Белые балахоны с завязками на шее, подсыхающие волосы распущены – пугайся не хочу. Пугаться у зрителей вряд ли получилось бы, потому что у ведьмочек был завидный аппетит. Кто жадно ест, напугать не способен.

– Очень вкусно! – говорила Таня маме Ивана, менявшей блюда.

– Я думала, бабушку Марфу переплюнуть невозможно, – обглаживала бараньи ребрышки Маня. – Бама оторвалась от корней.

– У меня генетическая склонность к полноте, – с набитым ртом говорила Соня. – Мне необходима диета. Уберите эти шанежки! Куда вы их уносите? Я еще парочку возьму.

Дед Максим курил и смотрел на Таню. Не таясь. Он старый, ему можно таращиться, ему везет. Иван изредка на Таню посматривал, обводя взглядом присутствующих, как бы проверяя диспозицию. Отец давно ушел спать, ему с рассветом на работу. Мама хлопотала, сновала из кути к столу, от стола к кути. Дед Максим на Таню любовался. Бабка Акулина – груда жира с клокочущей злостью – это проблема. Молчит, за весь вечер слова не молвила. Она должна быть в центре внимания, все обязаны слушать про ее болезни и ударные успехи на посту председателя колхоза. Копит гной. Когда выплеснет, испугает, отравит этих смешных девчонок.

– Извините, – Таня повернулась к деду Максиму, – вы на меня *так* смотрите. Почему?

Она спросила без кокетства, с детским недоумением.

– Любуюсь. Очень ты на свою бабушку похожа. На Нюраню.

Между Таней и дедом Максимом сидела бабка Акулина и все прекрасно слышала.

Иван поднялся, обошел стол. У бабки Акулины ноздри напряглись и щеки задергались: сейчас хавло раскроет.

– Бабуль, – обнял ее со спины Иван и наклонился к уху. – Ты ж помнишь? Я тебя давно, мальцом, предупреждал! Не надо сейчас выступлений. Будет завтра и послезавтра. Ийши момент. Я тебя в глубине души очень люблю. Особенно за финские лыжи. А подаришь мне фирменные джинсы? Брюки такие. Они у омской фарцы, у спекулянтов, сто двадцать рублей стоят.

– Скока-скока? – задохнулась бабка Акулина, повернулась и уставилась на Ивана. – У меня пенсия тридцать пять рублей.

– За любовь надо платить, – поцеловал ее в макушку Иван. – Наличными.

Вечер не будет испорчен. У бабки Акулины от возмущения нынешними ценами желчь свернулась.

Девушкам выделили самую большую кровать – семейную, отца и матери, которые перебрались в присенную комнату, еще два дня назад – кладовку, спешно разобрannую. Девушки, конечно, не оценили жертвы. Они понятия не имели, что муж и жена свою постель не уступают никогда, даже архиерею. Дед Максим, распорядившийся, был главнее всех иерархов церкви.

Девушкам было забавно: трое на одной, в общем-то неширокой постели. Маня и Соня уплелись и рухнули.

Таня задержалась:

– Галина Степановна, позвольте, я вам помогу помыть посуду?

– Что ты, милая! Сама управлюсь. Иди отдыхай, ведь умаялась.

– Вы тарелки вытираете или оставляете сушиться? Каким полотенцем вытирать? Мы бабушке никак не можем доказать, что чистые тарелки надо складывать пирамидой, стекать. Так современно. Уже есть, тетя Настя рассказывала, специальные подставки для суши чистой посуды.

– Тетя Настя чья будет?

– Жена дяди Степана, сына бабушки Марфы. У них есть сын Илья – наш кумир в детстве. А нас троих Бама – мы ее так сокращенно зовем, от «бабушка Марфа», – взростила и воспитала вместе с дедушкой Сашей. Он обалденный, очень умный и жуткий диссидент, сейчас мемуары пишет. Куда миски ставить?

– В горке по твоей левой руке полочки, видишь? Бабушка троих девок-сироток поднимала?

– Мы не сиротки в полном смысле слова. Ложки и вилки в этот лоток? Первой была я с трехмесячного возраста...

Галина Степановна пришла в кладовку, где развалился и храпел на перьевом матрасе, брошенном поверх сена, муж.

Перевернула его на бок, откатила к стенке:

– Двиньсь!

– Уже вставать? Вроде тёмно, – бормотал муж.

– Дрыхни, терпивец! – устроилась рядом. – Вот же-шь на судьбу плачемся! Такие мы разнесчастные! Свекруха заела, все жилы вытянула, всю кровушку выпила...

– Не понял, – продираясь сквозь дрему, спросил муж, – ты кому жалуешься?

– Никому, спи! Я сама с собой. Жалуемся, а самые легко устроились. При одном-то сыне-герое, а Бама троих девок подняла. Да каких девок! Татьянка-то! Ох, хороша! Хоть иди и удави собственными руками эту бровастую Катьку!

– Сам удавлю, – бормотал муж, – только дай еще поспать, хоть минутку.

Татьяна с беспробудно спящими, уставшими до чертиков сестрами не церемонилась: перекатила их к стенке, впечатала грудь одной в спину другой. Места осталось достаточно: на спине развалиться, в потолок смотреть и мечтать, сна-то ведь нет даже на горизонте сознания. О чем мечтать?

У него потрясающие плечи, спина, атлетические руки и ноги. И линия позвоночника, если смотреть на него сзади, она смотрела сзади, когда в аэропорту он подхватил их вещи и нес к машине, эта линия: хребет – от мощной шеи до узкого таза – как ствол дуба... Не будем превращаться в фанатичных анатомов! Есть лицо. Его лицо. Глаза. Какого цвета? Глупая, не запомнила. Какая разница? На таком лице можно иметь глаза даже розового цвета. Розового – это слишком, захихикала Таня. Она бодрствует, а Соня с Маней дрыхнут. Не по-сестрински, несправедливо. У них была присказка, когда требовалось что делить: «Как? По-сестрински или справедливо?»

У девчонок ведь чешутся места укусов сибирских комаров-птеродактилей? Соню почешем на руках и на спинке. Маню мы подерем на ногах и на спинке. О! Завозились, зачесались. Отлично! Усилим атаку.

Иван, не спавший, но уже погружавшийся в сон, встрепенулся от девичьего крика. Это был и не крик собственно, и не визг, и не мольбы о помощи, а девичье-женское верещание, смысл которого не ловится, но заставляет мужчину вскочить и безрассудно мчаться на звук.

Они, ленинградские гости, боролись, дрались, кувыркались. Рубахи задирались, демонстрируя соблазнительные участки голого женского тела. На сегодня, на сто лет назад и столько же вперед его, Ивана, мужской лимит платонического созерцания девичьих прелестей был исчерпан.

Иван разозлился и вдруг превратился в сержанта Звэря:

– Бэла команда спать! Кто еще пикнет – закатаю в рубэроид и отправлю в долину прэдков!

Девушки мгновенно затихли, нырнули под одеяло, натянули его до подбородков.

Наутро Ивану было стыдно за грубое ночное командование. А также за то, что туалета у них нет. Пожалуйте во двор, в будыли. Где кучи и воняет. Девушки носов не морщили и никак не выказывали своего городского презрения. Они умывались и чистили зубы у рукомойника. Все трое одновременно – с борьбой за стерженек, регулирующий подачу воды.

– Легким движением бедра, – проговорила Таня.

Слегка изогнувшись в сторону, она резко выпрямилась, толкнула сестер, и они отлетели от рукомойника. Таня завладела стерженьком. Но у Сони был полный рот воды с пастой, и белый фонтан окатил Таню. Пока Таня выясняла отношения с Соней, стерженек оказался в распоряжении Мани.

Иван подсел к деду Максиму, кутившему на скамейке.

– Ты, унучек, как женишься, нарожай девочек. Гляди, какие озорные, чисто козочки. Веселье и благодать сердца рядом с ними. А пахнут-то как! Ты чуешь, как пахнут?

Иван много чего чуял, но обсуждать это с дедом был не намерен. Тем более что дед с приездом ленинградов будто слегка тронулся умом. На морщинистом, вечно хмуром лице поселилась гримаса затаенной радости. Будто он слышал внутреннюю музыку и млел от восхищения. Лицо деда было непривычно к смеху и улыбкам, поэтому гримаса отдавала блаженностью – как у сумасшедшей тетки Егорихи.

– Дед, у тебя с головой все в порядке? – спросил Иван. – Что ты все лыбишься?

– На себя посмотри! Что ты все фертышши, как петух? Иди, гостюшек завтраком корми.

– Вообще-то я не нанимался их обслуживать! – поднялся Иван. – Я подрядился только доставить их в Погорелово.

– У тебя справно получилось, безаварийно.

Иван показал деду кулак и побежал в дом: метать на стол, что мама оставила на завтрак.

– Где козы во дворе, там и козел без зову в гости, – послал ему вслед дед Максим.

Блины. К блинам сметана. Конечно, своя. Это точно не масло, а сметана. Варенья разные. Можно яишню пожарить с десяти яиц. Еще грибы, правда прошлогодние. Новых еще нет. У нас грибами только белые и грузди зовут. Также рыба соленая, огородинка ранняя...

Девушки сказали, что им блинов – за глаза. Ели с аппетитом, не жеманились. На Ивана свои острые язычки не точили. Но и не оставили в покое. Опосредованно мстя ему за ночной перепуг, разговаривая как бы между собой.

– Соня! – сказала Таня. – Помни про свою генетику. Ты уже пятый блин уминаешь.

– Рубэроида не хватит, – подхватила Маня, – закатать тебя и...

– ...отправить в долину прэdkов, – с притворной скорбью продолжила Соня. – Иван, там, в долине, на женскую комплекцию ведь не смотрят? Тогда я еще один блинок.

Эти девушки не просто отличались от сельских – тех, что знал Иван. Ту же Катю взять. Эти девушки были с другой планеты. Где свобода духа абсолютная. Переходящая в задор, кураж и выступление паяцев.

Оказалось, что эти свободные личности, с первого взгляда и с первого общения изнеженные манерные столичные барышни, таковыми не были. После завтрака Маня отправилась мыть посуду, Соня спросила, где веник, и принялась подметать пол. Татьяна подсела к бабке Акулине и завела с ней разговоры про болезни и самочувствие.

– Вы никогда не сдавали кровь на сахар? По многим признакам диабет у вас имеется. Обязательно сдайте! Просто настаивайте!

Мур-мур, мур-мур – о чем-то с бабкой тихо переговаривается.

– Позвольте, я осмотрю ваши ноги? – спрашивает Таня и приседает на пол.

– Не поморгуешь ли? – плавится от удовольствия бабка Акулина.

– В каком смысле? – поднимает голову Таня.

– «Морговать» – это по-сибирски «брезговать», – невольно поясняет Иван.

Ему и противно, и приятно, что Таня с бабкой возится. От бабки воняет – старческим гнилым тленом. Не случайно дед Максим, который с бабкой спит, от запаха инопланетных девушек захмелел.

Мур-мур, мур-мур. У вас определенно повышенное давление. Какие лекарства вам прописывали? Нет лекарств? Травки? Увы, я ничего не понимаю в фитотерапии. Судя по пульсу, сердце функционирует

великолепно. Это самое главное, согласны? Но вы не должны свой подарок природы – хорошее сердце, истинно сибирское, наверное, – вынуждать на пределе работать. Это как... как...

– Загнать коня-кормильца, – опять невольно подсказал Иван, крутившийся рядом.

– Спасибо, верно! – похвалила и поблагодарила Таня. – Я вам напишу на листочке, чего у врачей потребовать, какие анализы и исследования сделать. Только не в местных фельдшерских пунктах. Надо ехать в Омск. Иван вас отвезет. Отвезешь? – посмотрела требовательно и строго Ивану прямо в глаза.

– Унучек, любимый, – взмолилась бабка Акулина. – Отвезь! А я тебе на порты спекулянтские из своих накоплений смертных отстегну.

– Что за торг?

Таня смотрела на него с тем же недоумением, возмущением и подозрением в дебильности, с которым Ольга Петровна взидала на ошибки в диктанте. Разве сложно запомнить, что «раненый» без пояснительных слов пишется с одним «н», а «раненный в ногу» – с двумя?

Иван был готов отвезти бабку хоть на Северный полюс. Главное, что бабка Акулина не собирается брызгать гнойной желчью. На Таню смотрит как на чудо небесное. А кто на Таню иначе смотрит?

Ленинградские гости деликатно не заводили разговор о цели своего приезда. Просто уселись за столом в ряд, сложили руки, точно школьницы за партами.

Дед Максим говорил. Не хвастался, а почему-то оправдывался. Нашел клад и извинялся. Он не привык говорить, во рту сухо, а воды не попросить. Он ведь не приезжий лектор, за трибуной в клубе выступающий, который из графина в стакан наливает, пьет, а все за дерганьем его кадыка наблюдают.

На месте дома Медведевых-Турок никто не строился. Место было не проклятым, но и не святым. Отдаленным и для колхозных нужд не востребуемым. Многие, кто видел чудо-дом, еще живы. Также присутствовавшие при раскулачивании Медведевых. При пожаре, Анфисой, вашей прабабкой, учиненном. Ейном выходе на крыльцо в нарядах, говорят, царских. Тут и приврут, откуда у нас в двадцать девятом году царская одежда? Но слова Анфисины прощальные передавали из уст в уста: «Люди, помните! Где наглость и похабство, там подлость и рабство!»

Далее современное время. Прошлая осень была мокрой. Дожди лили, лили. А морозы пришли детские. Вы не поймете. Земля по весне выпирала.

Там, под землей, была большая сила, она рвалась наружу. Во дворах деревянные пешеходные настилы выдыбило – доски в небо смотрели, что твои противотанковые ежи.

Его, деда Максима, торкнуло. Ну не объяснить, ну взбрендилось, ну дурь нашла, ну с какой-то блажи пошел копать на бывшем туркинском подворье. Как бы хорошей земли для яблоньки. Он с лета берег саженец местной селекции.

На приезжих слушательниц мичуринские забавы деда Максима впечатления не произвели. *И на Марсе будут яблони цвести.* Почему бы им не цвести в Погорелове? Девушки понятия не имели, что здесь не растут яблони, груши и прочая смородина. Их лица стали постно-вежливыми.

– Как вы поняли, где именно копать? – пришла на помощь Таня. – Ведь там, очевидно, немалая площадь.

– Не знаю-ю! – с благодарностью простонал дед Максим. – Бес попутал или ангел направил. Голос Нюрани услышал? Она ж мне про клад рассказывала, хохотала, как вы, девоньки, хохочите. А как лопата в твердь уткнулась, так мне захотелось на колени грохнуться, пальцами разгребать. Заболтался я. Иван, унучек, неси сундук, хватит языком чесать. Кроме Майданцевых, в смысле моей семьи, – заверил он девушек, – никто про обнаруженный клад не ведает.

Это был металлический ящик, крышка которого закрывалась на восьми защипках, проржавевших, но державших крышку мертво. Майданцевы и не подумали открыть ящик без законных наследников. Процесс вскрытияклада: ящик на столе, Иван маленьким топориком сбивает защелки, поддевает крышку. Очень волнительно, азартно, необычно.

Соня, не выдержав напряжения, вдруг завопила:

– Там кости мертвеца!

Девушки заверещали, Иван, чертыхнувшись, выронил топорик, дед Максим, дернувшись, сплюнул:

– Тьфу, напугала!

Костей не было. Сверху лежал скатанный в трубку живописный холст. Развернулся с потрескиванием, по холсту паутина трещин, но изображенную на портрете женщину дед Максим узнал – ваша прабабушка Анфиса Ивановна. Далее – фото в рамке с треснувшим стеклом. Осколки убрали, дед Максим показывал пальцем: сама Анфиса Ивановна, муж ее Еремей Николаевич, Нюраня, Степан и Петр. Далее лежала шкатулка с ювелирными изделиями. В кино, когда распахивают сундук с

драгоценностями, восхитительно – блеск камней, перелив золотых цепочек и оправ. В жизни – ничего подобного. Большой темный клубок из подвесок, серег, браслетов. Трогать противно, словно это все из фашистского концлагеря доставили. Икона в серебряном окладе и еще несколько предметов из того же металла – поднос, столовые приборы, сахарница, соусник, подстаканники. На дне четыре небольших булыжника и два мешочка с грязным песком. Дед Максим сказал: это золото! Исполнилась воля Анфисы Ивановны – забирайте наследство, пользуйтесь.

Девушки посмотрели на него с недоумением: как это «пользуйтесь»? Все клады, пояснила Маня – она специально перед отъездом в библиотеку ходила и законы прочитала, – то есть все зарытое в земле принадлежит государству, нашедший, то есть дед Максим, получит премию в размере четверти стоимости найденного. Однако, если он не возражает, они хотели бы взять портрет и фото, государство, наверное, не обидится. Дед Максим возражал, бурно возмущался: бабка для потомков зарыла, он точно знает: Нюраня рассказывала, что мать много добра продала и клад закопала. Государство тете Анфисе не помогало, а только вредило. И неужто он станет законных наследников частную собственность присваивать?

– В Советском Союзе частной собственности нет, – сказала Маня, – а только личная.

– Какая между ними разница? – спросил Иван.

– Частная собственность – это, например, средства производства, позволяющие одному человеку эксплуатировать другого, наживаться на его труде. В СССР такого быть не может. Личная собственность: вещи, предметы, дом и прочие необходимые для жизни объекты.

– Вот интересно, – заметил Иван, – наши бабы продают от своих коров на рынке молоко, сметану, творог. Наживаются, получают прибыль?

– Они эксплуатируют только себя, – ответила Маня, – ну и коров, конечно.

Соня помалкивала, а Татьяна решительно поддержала сестру Маню. Как бы они с содержимым ящика, уворованным у государства, поступили: продавали бы темным личностям из-под полы слитки и золотой песок? Ходили бы по скупкам, сдавали серебро и украшения? Их бы арестовали и посадили в тюрьму. И пусть Соня не косит жадным взглядом в ящик! Уголовница! Кроме картины и фото – ничего!

Иван превратился в добровольного экскурсовода, несколько травмированного, но благодаря больничному имевшему свободное время, чтобы показать село и окрестности. Девушкам всё было интересно: ферма,

конюшня, птичник, кузня, заготовка сена и танцы в клубе, где они продемонстрировали шейк последней моды. Они купались и рыбачили на Иртыше, совершили попытки проехаться верхом на лошади и научиться циркать – доить корову.

Постоянно повторяющийся вопрос: «Чьи будете?» – стали предвосхищать.

– Здравствуйте, мы будем Медведевы!

– Я Таня, от Нюры внучка.

– Я Соня – дочь Степана, который младший сын Марфы.

– Я Маня – от Егора, который в свою очередь сын Параси!

За подобное представление и вихлявую манеру говорить, когда тебя еще не спросили, они получили общую характеристику – артистки. Пожилые женщины косились на их брюки, женская мода на которые только проникала. Но, как сказал Иван, бабушки еще не видели ваших мини-юбок. Могли бы и отхлестать вожжами. Он говорил с серьезным выражением лица, и девушки ему поверили бы, не рассмейся он в конце. Рассмеялся и тут же получил подушку-думку. По настоянию Тани думку постоянно носили с собой и прозвали «кавкой», потому что по-сибирски «кашлять» – «кавкать». А «язевый лоб» – «дурак». Бама почему-то это выражение не употребляла. Иван решительно отказался ходить по селу с подушкой. Но разве Таню переспоришь? Пожала плечами: они сами будут таскать думку по очереди, по-сестрински или по справедливости, если он, Иван, – язевый лоб.

Дядя Кондрат, участковый, приглашенный принимать клад, почесал затылок и сказал, что он не уполномочен, однако сопровождает клад и деда Максима, как нашедшего клад, в Омск. А также составит опись содержимого ящика, «чтобы не пропало чего-нибудь из госимущества». При этом участковый выразительно посмотрел на Соню, удивительно точно определив в ней человека, легкомысленно относящегося к уголовной ответственности. Поняв, что он собирается описывать каждую вещь, посылать в школу в кабинет физики за весами, чтобы взвешивать золото, девушки попытались улизнуть, но их непустили как свидетельниц. Тогда Маня предложила просто опечатать ящик. Дядя Кондрат обрадовался этой идее больше, чем сами свидетельницы. Он велел принести клея и побольше нарезать белых полосок от полей газет, писал на них: «Не вскрывать! Ответственность по статье...» Номер статьи он не помнил, Маня подсказала: статья 148 Гражданского кодекса РСФСР от 1964 года. Участковый писал медленно, с особым, как казалось, удовольствием

выводил: «Карается лишением свободы от 5 до 15 лет», указывал свою должность и кудряво расписывался. Соня пробурчала, что проще было бы нарисовать черепа с костями.

Когда девушки уехали, Иван обнаружил, что избавился от Кати. Раньше она знала, что Иван у нее на аркане, хоть и на подневольной, но привязи. А теперь вырвался, потому что смотрел насмешливо и свободно: хочешь – люби, броди за мной, хочешь не люби – мне равнобедренно. Катя могла сражаться с его нелюбовью, а против равнодушия была бессильна.

– Да пошел ты! – в сердцах послала Катя Ивана.

– Вот это правильно! – одобрил Иван. – Ты мне от ворот поворот дала. Потому что я... что?

– За юбками бегаешь!

– Точно! Особенно за мини-юбками, от этого бесстыдства у меня слюни до колен. Сдался я тебе, такой паскудник?

Репутация Кати не пострадала, считалось, что она бросила Майданцева, кысой увивавшегося за артистками с подушкой – все село видело.

Осенью Иван приехал в Ленинград. К Камышиным пришел, когда устроился учеником слесаря-сборщика на приборостроительный завод и поступил на подготовительные курсы в Технологический институт. Из деревенской деликатности постеснялся явиться, когда были проблемы. По деревенской недалекости не сообразил, что нужно было сначала позвонить, предупредить, спросить, когда удобно прийти.

На звонок дверь открыла высокая пожилая женщина. Иван сразу понял, что это и есть Бама.

– Ипполит? Из Норильска? – почему-то прошептала Бама.

– Иван Майданцев, – так же тихо ответил он. – Из Погорелова.

– Ах, голубчик! – в полный голос воскликнула Бама, обняла его. – Что ж ты налегке? Пошто чемодан на вокзале оставил? Проходи, касатик!

Месяц назад их посетила Алла из Сыктывкара – дочь Степана от третьего брака. Соня не испытывала недостатка в сестрах, но была не против еще одной, единокровной. Если бы Алла держалась скромнее и убрала с лица самодовольную мину. Не восьмиклассница приехала с классом на экскурсию в Ленинград, а принцесса заморская до них снизошла. Самая младшая за столом, а никому слова не дает вставить, моросит скучные глупости. Сонятаняманя легко бы Аллу осадили и выяснили: данное беспардонство есть смущение провинциалки, желающей показать, что в Тмутаракани жизнь бьет ключом, или дурное воспитание?

Если бы не дедушка с бабушкой, которые выглядели так, словно они эту Аллу много лет назад бросили, в детдом подкинули. И теперь их совесть мучает перед лицом сиротки объявившейся. Сиротка могла бы поблагодарить за деньги, которые ей бабушка с дедушкой регулярно переводят, или поинтересоваться родным папой. Словом, визит внучки-сыктывкарки оставил неприятный осадок. А ведь был еще внук Ипполит в Норильске.

Соня и Маня Ивану обрадовались и с ходу сообщили, что Татьянки дома нет, она на дежурстве в больнице. Могут проводить, это не очень далеко. Им было понятно, что Иван явился не ради их прекрасных глаз, а Таниных. Бама, конечно, быстро не отпустила, накормила и расспросила про деревенских.

Дедушка Саша называл Таню, работавшую санитаркой в больнице, и Ивана, ученика слесаря, «наши пролетарии».

– Маня, там наши пролетарии небось целуются в парадном. Сходи разгони, – говорил он. – Поздно уже.

– Сходи, деточка, – подхватывала Бама. – Ивану-то пеши на Васильевский идти, мосты разведут. А может, уговоришь Ваню подняться, поужинать?

– Не уговорю, сама знаешь. Соня будет возвращаться, Таню прихватит.

– А кто Соню провожает?

– Используя терминологию дедушки, – бормотала Маня, не отрываясь от конспекта лекции, – белая кость. У Соньки в институте с парнями напряжёнка. Сонька шерстит моих однокурсников. Раскрепощает.

– В каком смысле? – настораживается дедушка.

– В духовном, не волнуйтесь. Ага! Поняла! – щелкнула по странице. – Вот в чем была моя ошибка.

– Сонядораскрепощает, – качала головой Бама. – Нарожает незнамо от кого, как ее батюшка. – И тут же, противореча себе, спрашивала Маню: – А что ж ты, касатонька, ни с кем не встречаешься?

– Времени нет. Пока. Но я обязательно, как только, так сразу, не переживайте.

По воскресеньям Иван у них обедал. Он пытался отказываться. Это были семейные обеды, а Иван здесь в каком статусе? Бама сказала: «Ты уж меня не обижай!» Она считала, что Иван на столовской еде голодает.

Меньше десяти человек за стол не садилось, бывало и до двадцати, когда с приезжими. Тепло, дружественно, весело и очень вкусно. Дом, семья, старики, средний возраст, студенты, школьники, карапузы.

Бама жила от воскресенья до воскресенья, то есть планировала, закупала продукты, готовила. Она бы без работы, хлопот, без сознания нужности родным захла.

Вознаграждение дед Максим получил через год – двенадцать тысяч рублей. Предварительно с Марфой по телефону обсудил: деньги он переведет Нюране как самой прямой наследнице. Нюране следовало позвонить или написать. Измучился: писать или звонить? Он так и не простил себе, что сорок с лишним лет назад не бросился в Расею искать любимую. Даже не попытался. Теперь прощения просить глупо. Или следует? На бумаге легче повиниться. Пробовал – не выходит. Слова сухие, казенные, не мастер он письма писать. Значит, по телефону. Заказать разговор в почтовом отделении, приготовить речь.

Когда телефонистка протянула ему трубку: «Курск на проводе», – вылетели все заготовленные слова. Он слушал, как Нюраня повторяет: «Алло! Алло! Не слышно! Омская область? Кто звонит?» Слушал и тихо, онемевши, умирал. Не от страха и робости, а от счастья слышать ее голос, совсем не изменившийся.

– Это Максимка, – наконец выдавил.

– Ты-ы-ы...

И тоже замолчала.

У него три минуты были оплачены. Три минуты молчания, только дыхание друг друга слышали. Потом их разъединили. Домой шел пьяный, без вина хмельной.

Через день принесли телеграмму: Курск вызывает Максима Майданцева на телефонный разговор.

Нюраня, умница, точно и не было его предательства, точно не таила зла и обиды, взяла инициативу:

– Я так была рада тебя услышать! Растерялась совершенно. Ты из-за клада звонил, наверное? Марфа меня предупреждала. Татьяна говорит, что в ящике было три пуда чистого золота.

– Чуток поменьше. Хорошая у тебя внучка. Очень.

– Ты знаешь, что у нее с твоим внуком роман?

– Догадывался.

– Он как? Надежный парень?

– Полностью. Снайпер.

– В каком смысле?

– По армейской специальности и жизненной позиции. Я за Ваню отвечаю, сам воспитывал.

– А я Татьянку только наездами, в письмах, по телефону...

Время разговора закончилось, а Максим так и не сказал самого главного, что деньги перечисляет. Пришлось заказывать новый разговор. Связь с Курском могли дать только через три дня.

Это длилось больше года. Он ходил в отделение связи и разговаривал с Курском. Каждую неделю. Запретил Нюране его вызывать, только сам. Ты же разоришься! Не обеднею! Хотя пришлось продать ружье и винтовку – самое ценное и дорогое. За спиной шептались: дед Максим рехнулся на старости лет. Ему было плевать. Сын Сергей, угрюмый молчун, не выдержал: может, хватит людей потешать? Хватит, да не отпустит. Где дуракам веселье, там ему начхать. Акулина, жена, от ярости даже болеть стала меньше. Теперь ее стенания, упреки и проклятия сыпались на голову мужа-«изменщика». Акулина в общем-то право имела, и если бы тихо горевала, Максим бы, возможно, и ласковее стал с супругой. Но когда Акулины грязные проклятия обрушились на «курскую лахудру, змею подколодную, разлучницу», пригрозил:

– Еще слово худое про нее скажешь – уеду!

– Куды, пень деревенский?

– Туды, к ней.

– Очень ты нужен! Конюх! Ей-то, докторше заглавной!

– Пусть и не нужен. На пороге лягу и до скончания лежать буду. Хоть так, да рядом с ней. Не с тобой! Всё поняла?

Поняла и заткнулась. Присмирела.

Жизнь Максима не то чтобы приобрела смысл, планы, мечты, а наполнилась волнением, трепетом, ожиданием. Любовь вернулась, да никогда и не умирала. Но теперь она была другой, небесной, не как в молодости, без лютой жажды обладания. Какое уж тут обладание. Права Акулина: где Нюраня и где он. Может, Нюраня из милости с ним общается. Ему без гордости. Он бы на паперти поселился в ожидании ласкового слова любимой, протягивал бы к ней руку и молил. Был готов на любые унижения, а их не потребовалось. От него требовалось только платить – по тридцать копеек за минуту, рубль пятьдесят в неделю, больше позволить себе не мог. Пять минут – это мгновение. Но ведь есть еще предвкушение, дорога на почту, ожидание вызова, плакат на стене «Храните деньги в сберегательной кассе». Круглощекая женщина на плакате стала почти родной. Она слушала разговоры Максима, протягивала сберкнижку и бодро улыбалась. В отличие от живой телефонистки, которая смотрела на Максима с бабьей жалостью. Его глупо было жалеть, ему следовало

завидовать. Возвращался домой, переваривал услышанное, знал, что через неделю снова услышит Нюраню. Было так хорошо, что даже курить не хотелось.

Говорила в основном Нюраня. Он вставлял комментарии и задавал уточняющие вопросы. Она часто смеялась, она всегда была смешливой. Максим, я тараторка, да? Вот и нет! Если кому-нибудь из моих коллег или сослуживцев сказать, какие я трели выдаю, не поверят. Я очень строгая! Я за каждую небрежность или ошибку стружку снимаю. У меня подчиненные как буратины выструганы. Веришь? Конечно, верю. А меня-то в селе в старые придурки записали. Не понимаешь? По телефону редко кто звонит, по крайней надобности, а я каждую неделю Курск вызываю. Да не волнуйся! Тебе есть дело до тех, кто чмутит? Сплетничает, я совсем забыла это слово. Я так много забыла! Зато ты другое выучила. Рассказывай дальше.

Нюраня рассказывала про бурление и суматоху, письменнотелефонную, которую наделал Анфисин клад, то есть его остатки, государством выделенные.

Двенадцать тысяч – деньги, конечно, немалые, можно купить два автомобиля «Жигули», если бы те продавались свободно, а не в десятилетней очереди. Но если сумму поделить на всех потомков Анфисы Ивановны, включая «алиментных» детей Степана и близнецов, которыми беременна жена Кости, на холодильник каждому не хватит. А тут еще Марфа учудила: заявила, что ее сыновья Митяй и Степан, а также их дети и внуки наследства принять не имеют права. Потому, видите ли, что «Анфиса Ивановна Митяя отбрасывала». Степан возмущается: «Меня-то она даже не видела! Может, полюбила бы, привязалась и сделала главным наследником. Дело не в деньгах, а в принципе!» Узнав, что двоюродные братья вычеркнуты из списка, Василий написал, что и он ни копейки не возьмет – поди не бедный, без пяти минут академик. Егор предложил отдать деньги плохо финансируемой биологической станции, которая занята спасением черноморских дельфинов. Анфисы Ивановны старания – на дельфинов?! Марфа едва не заработала инфаркт. Уж лучше Аннушке, то есть монахине Елене, на церковь. Вспыхнул эпистолярный бунт, подкрепленный телефонными переговорами. Оплачивать религию – мракобесие и отсталость. Никогда! Илюша выдвинул идею «отгрохать» в Погорелове памятник прабабке, благо имелся ее портрет, а фигуру можно скопировать с Тани. Но представить, что Анфиса Ивановна будет каменным изваянием маячить посреди села? Она ж не Ленин, монументы которого имеются во всех городах, а бюсты – на железнодорожных станциях. Главное, были бы

наследники людьми богатыми, не нуждающимися! Но ведь все жили от стипендии до стипендии, от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Портрет мамы висит в квартире Камышиных. Нюраня этот портрет хорошо помнит, старый, еще до реставрации Митяем. Молодежь говорит: девушка в наряде как из ансамбля народной песни. Взгляд надменный, даже презрительный, губы в чуть заметной усмешке. Подпись на обороте «Царь-девица 1888 г. Сибирь». Как заметил Александр Павлович, жизнь монарших особ нередко заканчивается на эшафоте.

Телефонный роман шестидесятидвухлетней Нюрани и семидесятилетнего Максимки мог бы остаться забавным пенсионерским казусом, если бы не нахлобился другой роман – их внуков.

Таня работала санитаркой сутки через двое. Первый свободный день отсыпалась, вечером бежала на свидание к Ивану. Второй день следовало посвятить подготовке к экзаменам. Посвятить не получалось, потому что дрыхла до полудня, какие-то домашние дела, и вот уже и время мчаться к Ивану. Она бы не поступила в ленинградский мединститут, потому что знаний для экзаменов не накопила, школьные сохранила едва. Работать еще год санитаркой, поступать как стажнице или ехать к бабушке в Курск? Бабушка Нюраня уговорила: не теряй время. Логично, тем более что Ивану тоже поступать. Он решил на вечернее отделение, без отрыва от производства. Потому что не намерен жить на нищую стипендию, считать копейки, чтобы сводить любимую девушку в кафе или в театр. Ленинградские театры, особенно Ленком и БДТ, Иван обожал. За билеты переплачивал спекулянтам бешеные деньги – по пять рублей сверх.

Таня поступила в Курске, не без поддержки бабушки. Ивана легко приняли на вечернее отделение «техноложки» – Технологического института. На некоторые пробелы в знаниях экзаменаторы закрыли глаза. Отслуживший армию десантник-снайпер, кандидат в партию, характеристики комсомольская и с места работы – отличные. Самое поразительное – написал вступительное сочинение без единой ошибки.

У Ивана был отпуск, две недели. Таня приехала из Курска до начала занятий, до сентября – полтора месяца. Бама и Александр Павлович съехали на дачу. Маня и Соня в стройотрядах. Квартира в полном распоряжении.

Сломали Танин диванчик. Сестры вернулись в середине августа, Таня с Иваном перебрались в святая святых – в кабинет дедушки Саши. Громадная дубовая кровать Камышиных расшаталась. Наивная Бама осенью удивлялась: «Шой-то за порча на нашу мебель напала?» Ей в голову

не могло прийти, что ущерб имуществу нанесло безумство первой близости любимой внучки и обожаемого Ивана Майданцева.

Таня уехала в Курск к первому сентября, Иван остался в Ленинграде. Это было непереносимо. Разлука с любимым. Разлука с любимой. Как медленное умирание без кислорода. Вдохнуть чуть кислорода – это написать письмо, получить письмо, позвонить по межгороду.

Хотя, казалось, им некогда было предаваться меланхолии. Иван три раза в неделю вечерами ездил в институт, занятия оканчивались в одиннадцатом часу. До общежития добрался за полночь. В свободные от института вечера подрядился на халтуры. Про театры забыто, все деньги уходят на телефонные разговоры.

Он не подозревал, что дома, в Погорелове, дед Максим продал ружье и винтовку, тоже перешел на режим жесткой экономии и тоже по причине дороговизны межгорода. В отличие от деда Иван сидел в кабинке, пялился не на плакат «Храните деньги в сберегательной кассе», а в деревянную стенку, в которой знал каждый сучок. Телефонистки смотрели на него с завистью: какая любовь! Подсчитывали, сколько он потратил, словно деньгами можно измерять тоску по любимой.

Курский мединститут был одним из лучших. Что предполагало первокурсникам сразу показать: работа врача – это не мед. Также не мед этой профессии научиться. Кто не сдюжил, тот отсеялся. Претенденты имеются. Условно зачисленные абитуриенты. Ты вылетишь – скатертью дорога! На твое место еще трое подметки рвут.

Тане не продохнуть. Глаза, натруженные чтением, вечно красные, мозг отказывается вмещать знания. Но при этом сердце ноет, хлюпает и кукуется. Где мой Иван? Почему его нет рядом? Что он сейчас делает? Почему не обнимает меня? Почему не ласкает? А вдруг разлюбил? Уже три дня не звонил, а письмо вчерашнее было написано неделю назад. Катастрофа! Всё пропало, жизнь загублена, хоть в петлю! Как ты, бабушка, этого не понимаешь? Что значит успокоиться? Чего-кого жаление? Твоя мама, которая с портрета, так говорила? Себяжаление? Вы отсталые люди! Вы ничего не понимаете! Я просто сейчас умру. Звонок! Твоя связь? С Погорелово, с дедом Максимом? Да, помню я, помню, что никому рассказывать не следует! Всего пять минут. Ухожу на кухню. А если сейчас Иван позвонит? Он подождет. Конечно. Вы целый век ждали, бедненькие. Старые и бедненькие. Вы ничего в любви не понимаете! Ухожу, ухожу, не яростись!

Таня сорвалась бы из Курска, бросила институт, уехала в Ленинград. К

Ивану. Если бы не бабушка Нюраня, которая говорила, что дальше в учебе будет не легче, но выносливее – мышцы нарастут, и уже нагрузки станут даже в удовольствие, как у спортсменов. Ты себя, внученька, почувствуй, силы свои. Есть силы – держись. Нет сил – сбегай. Как к дезертирам относятся, сама знаешь. Кроме того, ты обязательно на Ивана взвалишь ответственность за свой поступок. И когда-нибудь, пусть очень не скоро, под горячую руку, упрекнешь его.

На зимние студенческие каникулы Иван взял отпуск за свой счет и примчался в Курск. Нюраня заблаговременно, в оплачиваемый отпуск, уехала в дом отдыха.

Дети сломали кушетку, на которой спала внучка. Изголовье и изножье кушетки рухнули, откинувшись на пол, как конечности лошади, не выдержавшей нагрузки.

– Мы не виноваты, что мебель делают для малорослых! – оправдывалась Таня.

– Я почию, – говорил Иван. – Только надо клей столярный и посадить на шипы, а не на болты. Хорошо бы шипы твердой древесины, вроде дуба.

На Ивана Нюране было больно смотреть. Больно, потому что не оторваться. Неудобно, неприлично, стыдно. Точно молодой Максимка. Но ведь и по телефону она разговаривала не с деревенским стариком, а со своим юным любимым. Которому сто лет в обед.

– Почини, коль вызвался.

Нюраня села в кресло перед телевизором, сложила руки на груди. Затылком безошибочно уловила разговор детей.

Тебе же на вокзал! У тебя билет! Где тут у вас магазины строительные? И лесобаза?

Иван кушетку восстановил. На поезд опоздал. Успеет ли добраться на перекладных до Ленинграда? Опоздает на работу, и денег, судя по тому, как отводил глаза, у него не густо.

– Бабушка Нюраня! Я тебя жутко люблю, почти как Баму! Объясни мне! Зачем ты вынудила Ивана ремонтировать чертову кушетку? Ты меня слышишь? Я к тебе обращаюсь!

– Затем, что настоящий мужик должен отвечать за все! За все! – повторила громче. – За сломанную кушетку и мир во всем мире. Так мама учила.

– Опять Анфиса с портрета? Как его раскопали и повесили, в семье начался сибирский террор. Что по телеку показывают? «Следствие ведут ЗнаТоКи»? Обожаю этот телефильм, – шмыгнула носом Таня.

Она быстро теряла энергию бунта против бабушки, сдавалась на

милость и лебезила, как бы в шутку падала на колени и складывала молитвенно руки. Приемчики из арсенала Сони. Таня не испытывала страха или робости перед бабушкой. Просто бабушка была натурой столь мощной, что когда злилась и молчала, казалось, что в доме темнеет и все живое: Таня и цветы в горшках – вянут. Когда бабушка была в добром настроении, зелень на подоконниках цвела и благоухала, а Таня от души могла ныть и стенать, как ей плохо без Ивана.

По закону, Таня могла перевестись в ленинградский медвуз только после третьего курса. Но в законе была лазейка: по семейным обстоятельствам срок перевода мог быть сокращен. «Семейные обстоятельства» – это выйти замуж и воссоединиться с мужем. Свадьба Тани и Ивана? Конечно и незамедлительно! Эти два в общем-то разумных человека совсем ополоумели. Таня хочет бросить институт, вернуться в Ленинград, снова пойти санитаркой в больницу, поступать заново через год. Лишь бы находиться рядом с Иваном. Он, в свою очередь, ее жертв не приемлет. Это он всё бросает – работу, институт – и едет в Курск. Что, он там не устроится на какое-нибудь предприятие, не поступит в технический вуз? А то, что он за два года добился высшего разряда, что на него молятся кандидаты и доктора наук их научно-производственного, жутко секретного предприятия, можно закрыть глаза.

Их женитьба – это еще и разрешение проблемы с «кладовыми» деньгами. Таня – прямая наследница Анфисы, прямее не придумаешь. Иван имел законное право на вознаграждение как внук Максима, без которого этот клад пролежал бы в земле еще незнамо сколько лет и неизвестно, был бы когда-нибудь обнаружен, хуже того – отрыт совершенно посторонними людьми.

Двенадцать тысяч рублей – это взнос на кооперативную квартиру. Подарок небес. То есть надменной бабки Анфисы с портрета. Без этого подарка молодым пришлось бы ждать собственной квартиры лет пятнадцать.

Максим приехал в Ленинград загодя, раньше сына и снохи – родителей Ивана. Жена Акулина не могла отправиться в далекую поездку по причине плохого здоровья и ко всеобщему облегчению. Максим с Нюраней договорились встретиться загодя, за несколько дней до свадьбы, но Максим от «загодя» загодя приехал. Внука Ивана попросил, распорядился: приодень меня.

Костюм, выбранный в Гостином Дворе Иваном, две рубашки, майки,

ботинки Максим покупал на свои – остатки «оружейных» денег. Внук, охламон, скалясь, сказал, что надо бы и бельишко обновить, не ровен час, а ты в замызганном. Следовало ему в лоб двинуть, но сдержался, измученный примерками. Бери мне трусы, Иван, раз пошла такая пьянка. Мои сбережения кончились, потраться, унучек, на дедово исподнее.

Таня отвела деда Максима в парикмахерскую, где ему шевелюру подровняли, а от кудлатой бороды почти ничего не оставили – так, лицо прикрыть. Сидел простынкой завернутый, а мастер ножницами вокруг него щелкал и приговаривал: ах, какой волос, ах, какой волной, ах цвет перец с солью. Вышел сам не свой, да еще в ботинках – разнашивал. Он всю жизнь в сапогах проходил. Теперь ступал с опаской, выходило – чинно, как купец.

В то же самое время Нюраня пыталась сделать себя краше. Покупала платья, блузки, юбки – судорожно у спекулянтов хватала. Приходила домой, надевала, крутилась перед зеркалом. Тихий ужас. Как жаль, что нет внучки Татьянки, уехала в Питер к свадьбе готовиться. Как хорошо, что нет Татьянки, внукам вредно видеть сумасшествие бабушек. Волнение дошло до того, что впервые в жизни решила отрезать волосы и закудрявить химическую завивку. Так ходят все современные женщины, а она вечно с косой, уложенной кренделем на затылке. Как старорежимная гимназическая мымра! Опомнилась на пороге парикмахерской. Свадьба пройдет, а про меня станут думать, что я, Анна Еремеевна Пирогова, на старости лет впала в климактерическую истерию. И это будет правдой. Не дождетесь!

У Ивана голова шла кругом. Что там кругом! Олимпийскими кольцами, наслаивающимися друг на друга. Он договорился с комендантшей общежития, тем еще цербером, вдруг оказавшейся мировой теткой. Родня жениха не может жить на территории невесты – мама, его тихая скромная мама, стояла намертво. В гостиницы не попасть, да родители в гостинице совсем бы стушевались. У дяди Мити и Насти в квартире отчаянное перенаселение москвичами. Есть еще вариант остановиться у друзей Камышиных, но он не лучше гостиницы. У чужих-то людей! Комендантша выделила комнату – для его деда, отца и матери. Родителям тоже требовалось «приодеться». У нас, Ванечка, чуть накоплено, но, не обессудь, на подарки венчальные не хватит. Ему не нужно родительских денег! Он сам зарабатывает! На свадьбе, по списку, будут только свои. «Ванечка, только кто по роду наши», – говорила Бама. Плюс друзья Тани и его собственные. «Своих» и друзей набралось девяносто семь человек. Найти ресторан, утвердить меню и музыкальное

сопровождение. Ресторан для Бама – большое унижение. Ванечка, не принять людей на своей территории! Но ни квартира на Петроградской, ни дача сотню человек не вместят. Наконец Бама выбрала ресторан на Большом проспекте Петроградской стороны. Потому что соседка, авторитетная женщина, сказала, что там повар как из бывших. Если ему котлеты не понравились, может весь противень в помойку выбросить. Баму и Александра Павловича надо в ресторан сводить и познакомить с поваром. Чтобы Бама лично убедилась, а повар уяснил, что Камышин не последний человек в Питере, заслуженный пенсионер, пишущий мемуары, как маршал Жуков. Надо купить спиртное и фруктовые напитки, спасибо директору ресторана, пошел на сделку: нашего спиртного (с громадной наценкой!) двадцать процентов, остальное везите в ящиках к заднему входу. Заказать автобусы, чтобы гости присутствовали на регистрации во Дворце бракосочетания на набережной Красного флота! Все? Это безумие! Это будет второй штурм Зимнего дворца, который по набережной в пятистах метрах. Знакомство с прибывшими из Германии будущими тестем и тещей. Виталий Алексеевич очень приятный человек. Но Танина родная мама! Она точно ее родная мама? Клара Емельянова привезла пять батончиков финского сервелата для свадебного стола, как бы их в ресторане не украли. Только уgomонили Баму, которая хотела «моей капустки квашеной, грибочков, наливочек...» притащить в ресторан. Гости голодные, что ли? Объядаться придут? Они придут засвидетельствовать факт того, что Иван и Таня могут теперь законно кровати ломать. Не скажи, Ванечка, нервничает Бама, свадьба – это самый лучший пир. А пир – это когда больше, чем можно съесть.

Либо мир сошел с ума, либо у Ивана плохо с головой. Таня – в общей компании с миром. У Тани истерика. Мама привезла ужасное платье! Какое-то гипюровое мещанство! А фата? Эти пошлые немецкие цветочки! Все отвратительно, я буду на собственной свадьбе выглядеть как засидевшаяся в девках бюргерша! Соня, Маня, на помощь! Они тут как тут, без Таниных сестер он бы стух еще неделю назад. У Сони есть идея, как платье там подрезать, тут надставить, подчеркнуть талию атласной лентой. Фата как символ невинности тебе, Танька, вообще не положена. Ладно, молчим. Пойдем наряд переделывать. Таня хочет не простое обручальное кольцо, а с алмазной гранью. То есть? Иван, спокойно! Мы с тобой! Едем по ювелирным! Нашли кольцо, какое Таня хотела. Ивану купили самое простое и самое тонкое, он вообще не из тех мужиков, что перстни носят. Девочки, надо обмыть покупку! Ему хотелось выпить и расслабиться.

В баре гостиницы «Советская» они успели выпить по пятьдесят

граммов коньяка, к пирожным и кофе еще не притрагивались. Иван вдруг стал рассказывать, как во время Войны майор Александр Кузьмич Попов, тогда мальчишка шестнадцатилетний, сражался в составе взвода снайперов-гастролеров. Они приезжали на передовую перед наступлением, осматривались. Выбирали высокую точку – горушку, сопку. С нее солдаты запускали бочку, начиненную камнями и мелкими железками. Бочка звенела и тарыхтела отчаянно. Фашисты невольно поднимали головы, высовывались из окопов. Тут их снайперы и подсекали. Иван хотел подвести к тому, что снайперы работают не только в одиночку, но и парами, и командами. Он, Иван, не задумываясь, пошел бы на передовую с Маней и Соней, которые лихо умеют «запускать бочку». Иван не успел договорить. В бар нагрянула милиция – облава, ловят фарцовщиков. Иван вспыхивает: они не фарца, и он через пять дней женится! Ивану обещают пятнадцать суток свадебного пира в камере. Маня выходит вперед, таращит глаза и заламывает руки. Товарищи милиционеры! Всё честно! Соня лезет Ивану в карман и вытаскивает доказательства. Вот кольца, вот талоны на покупку дефицитных продуктов и вещей в Салоне для новобрачных, вот приглашение на регистрацию. Вы же сами, наверное, нервничали в преддверии столь важного события. Женихи, сами знаете, – крутят Соня и Маня пальчиками у виска. Их отпускают.

* * *

Максим думал: «Она увидит меня и скривится. Она запомнила меня молодым парнем. А сейчас я старый деревенский пентюх. Я ей скажу, мол, годы не пощадили».

Нюрания настраивала себя: «Я готова! Совершенно готова к его реакции! Уезжала из Сибири задорной восемнадцатилетней девушкой, а сейчас я престарелая мымра. Он, конечно, постарается не показать виду, как шокирован. Надо будет сказать что-нибудь смешное. Сколько лет, сколько зим. Очень смешно!»

Он ничего не сказал, и она ничего не сказала. Стояли в гостиной у Марфы и смотрели друг на друга. Окружение: предметы, люди – куда-то пропали, и звук исчез.

Максим был очень красив. Не юношески смазлив, а хорош той благородной, матерой и одновременно выдержанно-спокойной красотой, что достается редким мужчинам в старости. Он не был похож на крестьянина, он выглядел как профессор, ведущий инженер – словом,

человек, добившийся больших успехов в трудах интеллигентных, но не чуравшийся физической работы в удовольствие – руки, кисти натруженные. «Ему на шею, наверное, вешаются девицы – ровесницы внука», – ревниво подумала Нюраня. Женщины четко улавливают таких мужчин – надежных и благородных.

Нюраня не изменилась. То есть изменилась, конечно. Стала еще красивее. Как прежде высокая, не ссутулившаяся, стройная, поправилась совсем немного, налилась. Королева, которая сняла царские одежды и переделалась в домашнее.

– Что застыли, онемели? – спрашивала Марфа. – Поздоровайтесь что ли, обнимитесь.

Подчиняясь ее команде, Максим и Нюраня приблизились, обнялись.

Это было как вернуться домой, в теплое гнездо – единственное на земле, принявшее тебя, согревшее, и выбираться из него не хочется за все сокровища мира.

– Святые угодники! – волновалась Марфа. – Опять закаменели. Увидит кто, неправильно подумают. Отлипните друг от дружки, горемычные!

– Мы пойдем на улицу, – сказала Нюраня, – погуляем.

– Идите, идите, – напутствовала Марфа, – охолоните.

До свадьбы оставалось три дня. Они гуляли. Максим приезжал утром, забирал Нюраню, вечером возвращал, отправлялся с внуком в общежитие. Летний Ленинград был очень красив. И словно не сам по себе, а для них персонально. Реки, мосты, дворцы, улицы, переулки, парки и скверы – для их встречи были выстроены специальные декорации, огромный город. Они шли куда глаза глядят, не знали, где находятся, только к вечеру спрашивали у прохожих, как добраться на Петроградку. Избегали людных мест, проголодавшись, в кафе не заходили, покупали в магазине молоко, ацидофилин, хлеб, сыр и колбасу. «Вам нарезать или кусочком?» – спрашивали продавцы. Нарезать. Находили лавочку, стелили газету, отламывая куски хлеба, клали на них кружочки колбасы и пластинки сыра. Про молоко в картонных пирамидках, Максим сказал, что это и не молоко вовсе. Но ему понравился ацидофилин – в бутылках с крышками из плотной фольги. «Ацидофилин» похоже на «пенициллин». Лекарство, что ли, Нюраня? Сеченов считал некоторые кисломолочные продукты лучшим лекарством. Ты Сеченова знала? Не довелось, он умер до революции. Она подшучивала над его «необразованностью». Он посмеивался, что забыла сибирские названия. Губник – это пирог с грибами, а на березе – чага! Обедать в сквере на лавочке было очень вкусно. Было приятно молчать и говорить. Всё время было приятно. Идти под руку. Останавливаться,

показывать пальцем на дом, под крышей которого затейливая лепнина. Зачем? Кто увидит? Разве только такие, как они, празднo гуляющие? У кого есть время голову задирать? Но ведь они увидели, значит, не напрасно архитектор мудрил. Как небо над Аустерлицем. Где-где? Толстого надо читать!

Прохожие, вероятно, воспринимали их пожилой парой, сохранившей теплоту чувств и трогательную заботу друг о друге. Таких пар, фланирующих по улицам в ежедневной пенсионерской прогулке, в Ленинграде было немало. Нюраня и Максим никого не замечали. Они были для города, а он был для них. Они говорили обо всем и не о чем, отрывочно, эпизодами, пересказывая свою жизнь. Никакого напряжения из-за разницы их положений. Нюраня над ним посмеивается, он над ней подшучивает. В родном гнезде не бывает соревнования честолюбий.

Максим не мог избежать разговора о своем предательстве. Ты ждала, что я брошусь за тобой? Конечно, ждала, – честно ответила Нюраня. Ты правильно сделал, что не бросился. Вернее, брат мой Степан молодец, что не отпустил тебя. Где б ты меня искал? Россия большая. Ты бы просто сгинул. Все устроилось хорошо. Ты женился, наплодил замечательных детей, они – прекрасных внуков. Ты тоже замуж вышла. Я тебе расскажу, как замуж вышла... Вот какая картина: ты, Нюраня, хоть ради цели и достигнула ея, я ж... По зову плоти. Сама знаешь, как есть ты доктор и твой Сеченов, небось, говорил. Кисломолочные продукты от зова парней не спасают. Мозги и чувства присутствуют, но зов сильнее. А потом не выберешься, когда баба на сносях.

Нюраня не имела права строить планов на будущее, но все-таки не удержалась.

– Максимка, нам *так* хорошо вместе. Переезжай ко мне. Уйду на пенсию, будем доживать вместе. Неужто мы не заслужили?

Он не вскинулся радостно, не ответил быстро, не возликовал.

У него давно в прошлом мужские долги-обязанности: поднять детей, содержать домохозяйство, сражаться на войне за Отчизну. Он пенсионер и свое оттрубил. Он уже в нескольких шагах от могилы, никому и ничего не должен. За одним исключением.

Максим проскрипел сквозь зубы:

– Я не могу. Жена. Акулина. Больная. Это будет подлость. Снова. Еще одна.

– Что ты нахмурился? – Нюране было стыдно, что завела этот разговор. – Из любой ситуации есть выход. Твою жену мы прикончим, отравим.

– Что-о-о? – споткнулся на ровном месте Максим, застыл, уставился на Нюраню.

– А что такого? Я, между прочим, медик и в ядах разбираюсь. Дам тебе порошок, подсыплешь в еду. Только надо в блюдо с маскирующим вкусом, кислое. Щи из квашеной капусты, например.

Максим смотрел на нее с оторопью. И лицо у него было глупое, испуганное, совсем как сорок с лишним лет назад, когда она изводила любимого своими фантазиями.

– Да шучу я! – рассмеялась Нюраня.

Он помотал головой, притянул ее к себе:

– Как была пересмешицей, так и осталась.

– Это только с тобой.

Они обнимались редко и часто не целовались. Не потому, что уже распрощались со страстями. А потому, что в целомудренной близости – идти под руку, сидеть, соприкасаясь плечами, – была огромная прелесть. И похожая на чувства в молодости – едва руками коснулись, уже сознание теряешь. И непохожая – не острая, а широкая, тихая, плавная. Не чудачества сердца, а тихое и спокойное его, сердца, блаженство.

И в том, что не знали своего будущего – оставшегося короткого жизненного пути вместе или порознь, – тоже была прелесть. Ожидания и надежды. При необязательном исполнении. Это только кажется, что молодость живет мечтами. Самые вкусные мечты – в старости.

* * *

Фотограф на свадьбе – персоне докучливо руководящая. Он и во Дворце бракосочетания сновал, выстраивал их, и во время поездки по городу, к местам традиционного фотографирования ленинградских новобрачных – у Медного всадника, на Стрелке Васильевского острова. Но без фотографа никак. Жених и невеста взволнованы до крайности. Они ничего не запомнят, а фото потом им расскажут, как все было. Таня с Иваном и не поняли толком, о чем просил фотограф, снимавший их со всех ракурсов. Мол, они потрясающая пара, дайте мне несколько минут, для витрины нашего фотоателье я вас крупно напечатаю. В другой ситуации они не стали бы позировать для рекламы, но теперь, безвольные, отдавшиеся на милость Соне и Мане – распорядительницам, подчинялись покорно, как рабы. Эти «рабы» были настолько прекрасны, что венчающиеся царские особы им в подметки не годились. По общему

мнению гостей... никогда не бывавших на королевских свадьбах.

Отзвучали первые тосты. Мужчины сняли пиджаки и ослабили галстуки. Только жених потеет при полном параде. Его свидетель, по-старому дружка, плеснул Ивану водки в фужер, подкрасил клюквенным морсом – расслабься, вроде бы розовое шампанское, пей! Танины дружки, Маня и Соня, с завистью смотрят на дальний край стола, где сидит молодежь и периодически взрывы смеха раздаются. Марфа перестала волноваться, что еды не хватит, закуски холодные не доели, а еще закуска горячая – грибы в сметане под названием «жюльен». Потом основное горячее – эскалопы с гарниром. Главный повар ресторана торт свадебный ей персонально показал. Произведение искусства! «По эскизу вашего сына Дмитрия». Кабы не эпилепсия, Митяй бы Репина затмил. Да и то, Бога гневить! Митяй не пьет, дом-дачу отстроил, постоянно совершенствуется. Уж от его совершенствований спасу нет: месяц в баню не ходят, потому что там какая-то хитрая подача горячей воды налаживается. Митяй в хлопотах своих очень похож на родного отца, свекра Еремея Николаевича. Который также все улучшал и улучшал дом в Погорелове, но больше для красоты, а не для практичности. Порода дает знать.

Марфа обводила взглядом гостей.

Василий поправляет на носу очки и что-то через стол втолковывает сидящему напротив Егору. Тот кривится и отводит глаза. Вот ведь казалось всегда: Василий младшим братом не интересуется, решай свои проблемы сам, если ты мужик. А с возрастом сокровенное, подспудное вылезло: что интересуется и переживает. Хотя чего уж теперь, когда одному пятьдесят в следующем году стукнет, а другому сорок пять. Однако Василий братку постоянно критикует и советы дает. Может, Васю совесть мучает, за суровое воспитание? Поди разберись. У Егора есть женщина Ирина с врожденно больным сыном. «Аутизм» болезнь называется. Марфа бы в жизнь не запомнила, если бы внук Илюша, глядя матчи по телевизору, не вопил: «Аут! Аут! Судья, козел, аут не заметил!» За «козла» Марфа внука ругала и грозила телевизор выключить. Про сестру Вася и Егор не забывают, переписываются. Аннушка, мать Елена, прислала поздравление, на отдельном листочке, говорят, какая-то молитва. Аннушка-Елена спрашивает, не хотят ли молодые венчаться? Вот еще! – общий отказ. Мол, они не цыгане. Которые дремучие и все в церкви брак закрепляют. Марфа тогда сказала, что никогда бы не подумала, что только цыгане теперича перед Богом будут узами соединяться.

Митяй занимается разговорами отца Ивана, а Настя – его маму. Родители

Ивана по-деревенски смущены и по-сибирски сохраняют достоинство. Митяй отпустил бороду и не стрижет волосы, что твой битлз. Настя моложава, выглядит как дочь Митяя и сестра собственного сына Илюши, у которого замечательная жена Оксана, родившая Марфе ненаглядного правнука Димку. Ох, глаз да глаз, оголец, не усмотришь, а он уж напраказничал. Вот и сейчас носится вокруг стола, верховодит в компании детворы. Внуки и внучки Василия и Марьяны Димку слушаются точно главного атамана. Димка Настю не бабушкой, а по имени зовет. Что кажется недопустимым. А вспомнить Елену Григорьевну Камышину, мать Насти и первую жену Александра Павловича? Благодаря Елене Григорьевне брак Насти и Митяя только, может, и состоялся. Она тогда сказала, пусть внук меня зовет по имени, без всяких бабушек.

Через Василия передалось свойство Турков – рожать близнецов. Только теперь детки не умирают во младенчестве, что счастье. Над Васей братья посмеиваются: запустил расширенное воспроизводство. Вася, подвыпивши конечно, показывает язык: давите зависть.

За свадебным столом две беременные женщины на больших сроках: Вероника, дочь Василия и Марьяны, а также на сносях Катина внучка Оля, которая с мужем в Питере проживает. Катя, что сейчас в Узбекистане, – сестра Параси, матери Василия, Егора и Аннушки. Оля им двоюродная сестра. Беременные – хорошая примета? Была ли у них в Сибири такая примета? Марфа не помнит. По-человечески рассудить, обязано иметься подобное предзнаменье для плодovitости молодых. Александр Павлович как-то сказал, что если нет удобной приметы, то ее надо придумать. Потому что в приметы верят все: летчики, моряки, космонавты и даже министры разных отраслей. Александр Павлович важно смотрится. Старшие дети называют его патриархом. Высший церковный чин – такое отношение к ее мужу. Не в насмешку ли? Да и пусть. Главное, что давление у него сегодня с утра не скакало. Нюране спасибо: подарила прибор для измерения давления.

Нюраня и Максимка – вот пара на загляденье, предназначенная свыше. Будто Иван и Татьяна, жених и невеста, ради которых собрались, которых на свадебном пиру чествуют. Только через много-много лет. Развела судьба Нюраню и Максимку, на всю жизнь развела. Дык хоть сейчас увиделись. Всё гуляли Нюраня и Максимка по Ленинграду. Чего выгуляли? Сами разберутся, не маленькие, внуков женят. Лица-то у них хорошие, успокоенные. То ли точка в отношениях, то ли многоточие. Так Александр Павлович говорит: точка или многоточие, покажет будущее.

Клара еще больше растолстела и мужа раскормила что борова. Был

Виталик тростинка, а теперь гигантская груша, ремня под выкатившимся брюхом не видно. Однако взгляд, выражение глаз остались прежними – извинительными, по-старопетербургски достойными и вежливыми. Марфа знает это выражение, со стояния в блокадных очередях помнит. Клара хоть и чумовая баба, но вносит в обыденную жизнь искрометность. Вот и сейчас люди к ней головы повернули, прислушиваются заинтересованно.

Эдик и Руслан. Сын Клары и сын Тамары Николаевны. О чем-то переговариваются. Тому уж лет десять, как на даче подружились. Два пацаненка-дошкольника: один толстый, другой тонкий, один прожорлив и ненасытен, в другого ложку супа не вольешь. И оба не включенные в общие затеи детворы, будто напуганные чем-то, ждущие наказания или насмешки. Марфа возьми и скажи Эдюлечке: «Ночью станет тревожно, ты в мою постелю прибегни». Хотя никогда ни сыновьям, ни внучкам не позволяла по ночам шастать. Эдюлечка, а следом и Руслан прибегали, забирались к ней под одеяло, она их под бочок себе устраивала, обнимала. Камышин, который всегда у стеночки спал, однажды обнаружил квартирантов, рассердился. Марфа потом мальчишек на рассвете, когда сама вставала, будила: идите у себя досыпайте, касатики. Брели с закрытыми глазами, как лунатики. Руслан и Эдик два лета к ней прибегали, а на третье уж нет. Выросли.

Степан совсем лысый. В кого только? У них отродясь плешивых не было. Наверное, в камышинскую родню. Степка теперь похож не на Александра Павловича, а на Хрущева. О чем-то живо рассказывает Елене и Вере – женам Володи и Кости. Тамара Николаевна улыбается благосклонно. Привыкла к тому, что муж перед каждой юбкой соловьем разливается. А на мать Степка поглядывает хмуро. Потому что Марфа намедни ему сказала, что хочет перед смертью внука Ипполита увидеть и еще хоть разок внуку Аллу, первое знакомство с которой не заладилось. Степан просьбу матери – в штыки. Что значит «перед смертью»? Поживи еще. Мало тебе внуков и правнуков, их уже, кроме тебя, никто не различает. Как я буду выглядеть, воспылай сейчас страстью этих детей лицезреть? Обыкновенно будешь выглядеть! Как отец-алиментщик.

Много потомства не бывает. Покойный свекор Еремей Николаевич говаривал: «Каково семя, таково и племя». Хорошее у них племя, а все-таки негоже родными разбрасываться. Нет-нет, встреча за встречей, да и приживутся Ипполит и Алла. Они теперь большие, своим умом должны руководствоваться, а не материнским, на Степку справедливо обиженным.

– Марфа! – потрясла ее за плечо Нюряня. – Задумалась? Тебе слово предоставляют, говори тост.

Она встала с рюмкой в руке. Она готовилась, хотела пожелать молодым счастья, терпения, долгих лет...

Но вырвалось совсем другое. Из сердца рвануло заветное, содержащее боль и страх пережитого, надежду и веру в будущее детей:

– Только б не было войны!

Август 2016 – февраль 2017 г